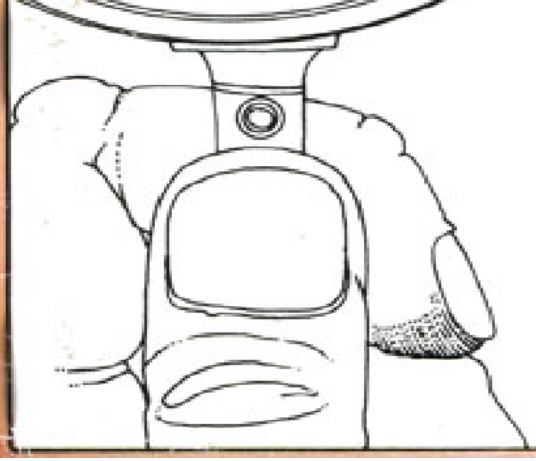
84.3Р
Р24

Станислав Расадин

Новые Шрикключения в Стране Литературных Героев



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сценарии популярной детской радиопередачи, выходившей в 1970-80-е гг.

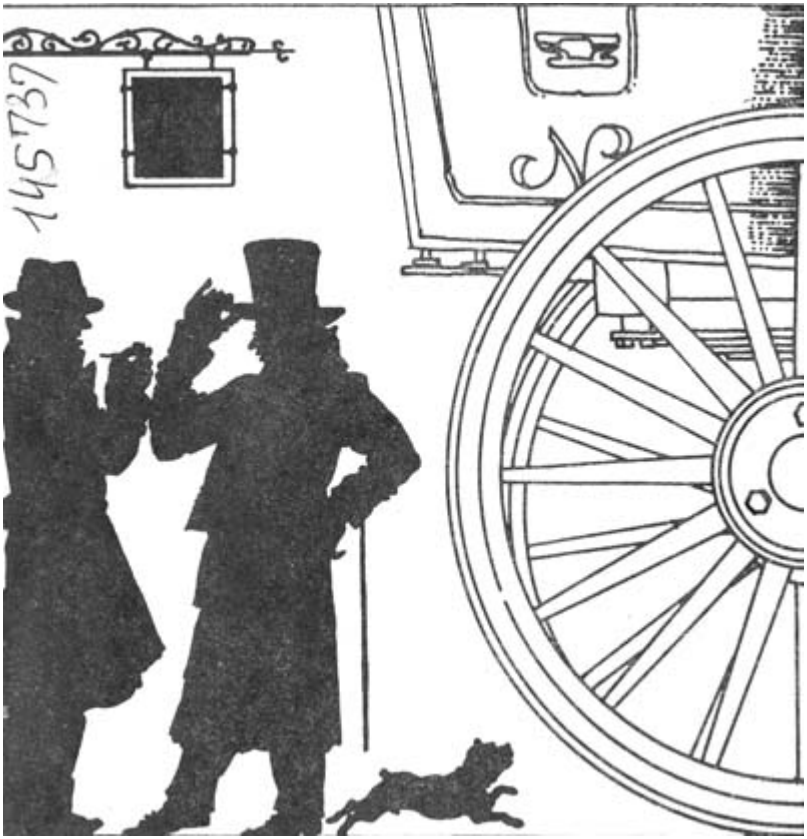
Иллюстрации М.М. Занегина

- Ст. Рассадин.
  - Предисловие первое – для детей
  - Предисловие второе – для взрослых
  - Часть первая. ГЕНА УЧИТСЯ ЧИТАТЬ
    - «ЖЕНИТЬБА» ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЖЕНИТЬБОЙ
    - МЯТЕЖ В ЦАРСТВЕ СТИХОТВОРСТВА
    - ПОЧЕМУ ВОРОНА КАРКНУЛА?
    - В ДЕЛО ВСТУПАЕТ ПОЧТОВЫЙ ДИЛИЖАНС
    - ГЕНА В СТРАНЕ ЧУДЕС
    - КАК ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ПРЕВРАТИЛСЯ В ШАЛТАЯ-БОЛТАЯ
    - ТОЛСТЫЙ ТОНКОГО СПРОСИЛ...
    - ВАША КАРТА БИТА, ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ!
  - Часть вторая. ЖИВЫЕ ГЕРОИ
    - КАК КРАСНАЯ НИТЬ СТАЛА БЕЛЫМ ПЯТНОМ
    - СЧАСТЛИВЦЕВ И НЕСЧАСТЛИВЦЕВ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ
    - ВСЕМ СЛУГАМ ПО СЕРЬГАМ
    - ЛОШАДЕНДУС СВАЛЕНДУС С МОСТЕНДУС
    - КАК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПОМИРИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
    - ЧИЧИКОВ НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ СТИХАМИ
    - КАК БЫТЬ СО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
    - ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ БОСЯКА САТИНА
    - ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОМЕЩИКА НОЗДРЕВА
    - КОГДА БЕССИЛЬНА ШПАГА СИРАНО
  - Часть третья. ТАМ ЧУДЕСА...
    - АДАМ АДАМОВИЧ ВРАЛЬМАН НЕДОВОЛЕН ДЕНИСОМ ИВАНОВИЧЕМ ФОНВИЗИНЫМ
    - МЕДНЫЙ ВСАДНИК ДАЛЕКО ОБГОНЯЕТ ВСАДНИКА БЕЗ ГОЛОВЫ
    - УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ПУСТОГО МЕСТА
    - ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ ГОСПОДИНА МАНИЛОВА
    - КАК «ПИЛИГРИМ» СТАЛ «ЗАБИЯКОЙ»
    - СКАЗКА ПРО ПОЭТА, РЫЦАРЯ И МОНАХА

- Д'АРТАНЬЯН ПРОТИВ НИКОЛАЯ ПЕРВОГО
- НЕ НАДОЕЛ ЛИ ВАМ ЭТОТ ПРОФЕССОР?
- ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ ГЕНА?

Ст. Рассадин.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ



Предисловие первое – для детей

«Москва. Радио. Передача «В Стране Литературных Героев». Или: «Москва. Радио. Архипу Архиповичу и Гене». Так надписывают конверты многие и многие ребята. Может быть, и тот, кто взял сейчас в руки эту книгу, тоже надписывал, – если я не ошибся, то спасибо. Рад новой встрече и продолженному знакомству.

Письма, разумеется, очень разные. Вот, скажем, недавно, всего за несколько дней до того момента, когда я сел писать это предисловие, прислала письмо одна девочка. Правда, она-то указала адрес несколько иначе: «Москва. Радио. Гене – лично». И предложила герою радиопередачи переписываться. Сообщила о себе много интересного: что она любит кино, особенно музыкальные фильмы, танцует в кружке художественной самодеятельности и, между прочим, уже два года занимается каратэ.

В общем, серьезная девочка.

Стыдно признаться, но ей не ответили. Жалко было разочаровывать. Пусть уж думает, раз ей так хочется и нравится, что в Москве на самом деле живет мальчик Гена, который ежемесячно заглядывает на огонек к своему старшему и строгому другу, профессору Архипу Архиповичу, задает ему вопросы, иногда умные, иногда не очень, и они вместе отправляются путешествовать по Стране Литературных Героев, или, как они ее между собой по-домашнему называют, Стране Литературии. А в квартире профессора, как нарочно, стоит микрофон, и всё, что они, мальчик и старик, между собою выясняют, слышит заодно еще множество народу – по радио, которое почему-то (наверное, на всякий пожарный случай) по два раза в месяц оставляет ничем не занятые полчаса.

Одно плохо: теперь эта девочка, наверное, думает, что Гена очень невоспитан, если даже не собрался ответить на письмо. Может быть, зазнался? Может быть, ему девочки со всего Советского Союза пишут – и одна другой лучше? Что говорить, так или иначе, а нехорошо получилось.

Тот, кто откроет эту книгу, уже не будет иметь возможности думать, будто наш Гена существует в действительности, а по правде говоря, и среди радиослушателей большинство этого вовсе никогда не думало. Ну а тот, кто к тому же не имеет привычки выключать радио сразу, как только отзвучит заключительная песенка, кто интересуется именами людей, делавших передачу и участвовавших в ней, тот уже давным-давно знает: роль Гены

исполняет – и прекрасно, по-моему, исполняет! – артистка Татьяна Курьянова. А роль профессора Архипа Архиповича пишется для очень хорошего артиста Бориса Иванова, которого вы так часто видите в кино и по телевидению.

Я сказал: пишется... Что ж, именно и только для него? А не будь этого или других артистов, значит, и писать передачи было бы не для кого? И путешествий никаких не происходило бы?

Нет, конечно. Передача «В Стране Литературных Героев» задумывалась сама по себе – для слушателей, для вас. Артисты пришли в нее и, если так можно выразиться, прижились в ней потом. И все-таки...

Великий Шекспир писал некоторые из ролей своих трагедий и комедий для совершенно определенных актеров театра «Глобус», например, для собственного друга Ричарда Бербеджа. Великий Мольер, который вдобавок был директором своего театра, делал то же самое. И великий Островский, сочиняя свои пьесы, уже заранее видел в той или иной роли артистов из труппы Московского Малого театра, который он очень любил и в котором, как и Мольер, одно время директорствовал. Вот сколько великих примеров для самых что ни на есть невеликих писателей.

У меня, к сожалению, своего театра нет и не будет, но – не сочтите за нахальство – свои актеры есть. Хотя я с ними почти даже и не знаком лично. Когда я пишу ту или иную радиопередачу, где действуют Архип Архипович и Гена, я уже слышу, с какой интонацией произнесут написанную, вернее, еще не написанную фразу Татьяна Курьянова или Борис Иванов. Я угадываю, что им хочется спросить или ответить. Я их подслушиваю.

И как бы серьезно я ни относился к мысли или литературному факту, которые я, автор, хочу сообщить радиослушателю, для меня самого все это еще и игра в театр. Попросту – игра.

Впрочем, в данном-то случае игра как раз и есть серьезное дело.

Прочтите, постаравшись не обидеться, вот эту цитату:

«Для дитяти игра – действительность. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни дитя не более, как дитя... в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями».

Между прочим, как скоро увидите, сказано точь в точь про нашего Гену.

Сказано же давным-давно великим педагогом Ушинским, а что касается вашей предполагаемой обиды, то забеспокоился я потому, что знаю: ребенок (виноват: «зреющий человек») терпеть не может, когда его так и называют – ребенком. Тем более – «дитятей».

И он прав. Он торопится взрослеть, «зреть», так что ему, то есть вам, пока трудно представить, что, повзрослев, вы с нежностью оцените именно то, чего сейчас порою стесняетесь: своей естественной тяги к игре.

Да и не надо – не представляйте. Не цените – пока. Это уж моя обязанность, человека, давненько расставшегося с детским возрастом, оценить игру, понять ее возможности и преимущества. Оценить с той самой стороны, с которой, как говорят, виднее.

Отчасти поэтому и форма для наших радиопутешествий была избрана именно такая, к какой слово «игра» относится самым непосредственным образом. Ведь говорим же: «актер играет», «спектакль сыгран».

Уже много лет назад, когда замысел передачи только возникал, стало ясно: это будут пьесы. Для радио. Почему именно они? Да потому, что в них, в пьесах, всегда что-нибудь происходит, а часто даже и не «что-нибудь», но нечто весьма необычное. Потому, что в них люди любят, ненавидят, надеются, отчаиваются, дружат, спорят, выясняют отношения. В данном случае и в данной книге выясняют свое отношение ко многим вопросам. Например: «Как быть со «Что делать?» Или даже: «Почему ворона каркнула»? И, смею надеяться, выяснить и то и другое стоит, хотя последний вопрос и звучит несколько... ну, скажем, легкомысленно.

Честно признаться, все создатели этой радиопередачи очень хотели бы помочь школе. Учителям литературы. Школьникам. И я особенно радуюсь, когда приходит письмо, в котором сказано: «Спасибо, что помогли подготовиться к экзамену... Помогли разобраться... Помогли понять...» Хотя еще приятнее, когда пишут: «Помогли полюбить». И в то же время, как ни странно, хочется, чтобы вы, если чему-то и учитесь во время путешествий по Стране Литературных Героев, то учились бы не замечая, что учитесь. Вернее, впрочем, сказать: не замечая, что вас учат. Чтобы вы сами ощущали себя участниками поисков, расследований, приключений, выпадающих на долю Гены, которому приходится лицом к лицу сталкиваться с буйным Ноздревым и с доблестным Сирано де Бержераком, со Скотининым из «Недоросля» и с горьковским Сатиным, с Фамусовым и с Тилем Уленшпигелем...

Да что там! Будь они хоть самые знаменитые литературные персонажи, они все-таки только люди, а тут может встретиться Медный всадник. Или даже Рыбный Деликатес из книги Льюиса Кэрролла про Алису.

Впрочем, если вы и заметите, что вас учат, тоже неплохо. Может быть, это значит, что чему-то уже научились? И в нашей помощи больше не нуждаетесь?

Хорошо бы.

Уважающий вас

Станислав Рассадин.

Предисловие второе – для взрослых

Собственно, это не предисловие, а предыстория. Буду справочно суховат.

Радиопередачу «В Стране Литературных Героев» мы задумали в 1969 году; мы – это литературные критики Ст. Рассадин и Б. Сарнов. Долгое время соавторы работали вместе, потом, как оно обычно и случается, соавторство исчерпало себя, и еще более долгое время мы работаем по отдельности и по-разному, хотя передача и продолжает сохранять общие, раз и навсегда заданные ей внешние приметы. Идея, что называется, была подхвачена детской редакцией Всесоюзного радио и с тех пор бесперебойно воплощается в жизнь, то бишь выходит в эфир.

Как и решительно все на радио, это дело коллективное, и отнюдь не простой авторской благодарностью, а в некоем смысле рабочей необходимостью будет назвать имена людей, которым передача обязана в особенности.

Она обдумывалась, обговаривалась и обкатывалась при помощи редактора Марии Краковской; почти все радиопьесы, включенные в эту книгу, прошли через руки редактора Мириам Ашкинезер. Режиссерами были Надежда Киселева и Антонида Ильина. Из актеров больше всех и лучше многих над передачей (или, точней выражая степень их глубинной причастности, следует сказать: в ней?) за годы ее существования работали: во-первых, само собой разумеется, бессменный Гена и почти бессменный Архип Архипович, читай: Татьяна Курьянова и Борис Иванов. Во-вторых, – что вовсе не означает пребывания на вторых ролях, – Ростислав Плятт и Всеволод Ларионов, Вячеслав Невинный и Нина Гуляева, Антонина Дмитриева и Евгений Весник, Сергей Цейц и Алексей Борзунов, Людмила Шапошникова и Борис Толмазов, Ирина Карташова и Ирина Понярская, Леонид Каневский и Авангард Леонтьев, Вячеслав Жолобов и Александр Дик, Лев Дуров и Георгий Менглет...

Многоточие означает мое виноватое бессилие назвать всех.

(Нет, все-таки, не сдержавшись, выйду из деловитой роли, выделюсь из коллектива, ибо хотя радиопередача делается сообща, книгу-то я издаю в одиночестве, и скажу: спасибо. Сердечное и восхищенное.)

Долголетия передачи в пору ее начала ни в коем случае не предвиделось. Когда Мария Исааковна Краковская (ныне, к несчастью, покойная) сказала: «Погодите, когда-нибудь сами услышите в эфире: «В Стране Литературных Героев», путешествие сто двадцать четвертое!» – авторы дружно и вежливо рассмеялись.

Вежливость понадобилась потому, что шутка, казалось, была не из удачных.

Теперь она и вовсе обернулась не шуткой: общее число радиопутешествий перевалило, и основательно, за три сотни, а их самих стало две. Поскольку на радио густо пошли письма ребят, в которых вольно или невольно подсказывались новые темы, новые повороты сюжетов, поскольку Архипу Архиповичу и Гене было уже не управиться с ними в отведенные им полчаса, вынужденно возникла передача, как говорят, дочерняя: «Почтовый Дилижанс в Стране Литературных Героев».

Для новой игры понадобились новые герои-ведущие, и на первый случай ими стали диккенсовские Пиквик и Сэм Уэллер – увы, ненадолго. Сэм-то Уэллер, фигура второстепенная, сохранил свое место на козлах Дилижанса и на будущие времена, Пиквик же оказался, незатейливо выражаясь, недостаточно функционален. Передачу приняли на себя другие англичане: Шерлок Холмс и доктор Уотсон.

Расчет был прост и, как я думаю задним умом, верен: знаменитые персонажи мало того что олицетворяли собой пафос расследования, тут уместной, «выгодной» была даже сама их картонажная бесплотность, не обремененная сугубой реалистической определенностью, национальной или художественной (не Пьер же Безухов, в самом деле, не Швейк, не отец Горио). Литературная условность характеров позволяла, во-первых, относиться к ней (и к ним) с необходимым для дела юмором, не избегая и пародийности, – так, доктор Уотсон, у Конан Дойла несообразительный всего лишь рядом с гениальным сыщиком Холмсом, здесь, конечно, был обречен на то, чтобы чуточку сдвинуться в сторону несомненной недотепистости. Во-вторых же, представлялось возможным с относительной свободой перемещать этих героев из передачи в передачу, из ситуации в ситуацию – правда, всего лишь с относительной, что и сказалось в конце концов. Все чаще литературный материал, ложившийся в основу радиопьесы, противился тому, чтобы им хозяйски распоряжались персонажи, географически и биографически привязанные как-никак к определенной стране и определенной эпохе.

Согласились на том, что Почтовый Дилижанс вместе с усидчивым Сэмом станет по мере насущной надобности переходить из рук в руки: кому сподручнее.

С этим предуведомлением я выступаю затем, чтобы была понятна пестроватая структура второй из передач, ибо и она явлена в книге; сохранены, хотя бы частично, и письма слушателей, – пусть, думалось, пьесы, писавшиеся для радио,

предстанут не слишком олитературенными, пусть сберегут дыхание эфира (в стихах последнее прозвучало бы высокопарно, в прозе же предисловия выглядит вполне терминологически) .

Цель всей этой работы, что говорить, не развлекательная. Завлекательная, коли на то пошло. Завлечь, заманить слушателя-школьника в заповедную для него сферу истории литературы и даже литературоведения – вот первоначальная задача; но, завлекши и заманив, предстоит доказать, что рекламного обмана нету. Что тут куда интереснее, нежели слушатель мог вообразить.

Мастер научно-популярного жанра Борис Житков заметил некогда: бывает «читатель с вопросом». Тот, который знает, чего ищет. Но:

«Совсем другое дело «читатель без вопроса». Его вы вводите в первый раз в новый для него мир. Конечно, у новизны как будто бы много шансов завлечь. Но это новое все же трудно одолевать, и этот труд вы должны читателю сейчас же оплатить. Буквально с первой же строки. Отлично, вы его подманили, заинтриговали парадоксальным заявлением: до-пустим, распахнули настежь двери и крикнули: «А знаете, светом можно слона с ног свалить! Вот сейчас покажу».

Читатель сунется в эти двери, но дальше, и очень скоро при этом, он начинает понимать, что до слона-то дело не скоро дойдет, да если и дойдет, то валить слона не будут, а докажут, что «это вообще можно» и главное – что свет давит. Ну и ладно, скажет читатель, пусть его давит, и никого он не раздавит, не автомобиль».

Названия радиопередач: «Чичиков начинает говорить стихами» или «Медный всадник далеко обгоняет всадника без головы» – это парадоксы, пожалуй, способные заинтриговать и подманить. Но парадокс немедля превратится в жалкую скоморошью ужимку, хуже того, в приказчичье бесстыдное заискивание перед покупателем, ежели не окажется той первой строкой, начиная с которой как раз и нужно нешуточно, неаллегорически «валить слона», то есть обнаруживать нечто любопытное, неожиданное, может быть, и впрямь парадоксальное в литературном произведении, литературной ситуации, литературном феномене.

Обманывать ожидания слушателя «без вопроса» – это даже нерасчетливо. Попросту – глупо. Потому что он сам, простодушно доверчивый, но и готовый без промедления разочароваться, нужен тебе, автору; его непредвзятый взор как раз и способен обнаружить нерядовое, нежданное, непонятное на поле, до

банальнейшей глади затоптанном тысячами истолкователей и популяризаторов. Так, герой одного шукшинского рассказа (об этом есть в моей книге) вдруг единожды вслушался в то, что и сам бессмысленно зазубривал в детстве, в пресловутую «птицу-тройку», и, вслушавшись, озадачился и озадачил окружающих: «Мчится, вдохновенная богом, – а везет шулера! Это что ж выходит?»

Живая неправота такого сомнения, споткнувшегося на вышеупомянутой отполированной глади, – это первоначальный и драгоценный акт читательского сотворчества, к которому мы укоризненно и обнадеженно взываем; то, благодаря чему и сам Гоголь истинно жив. Жив благодаря именно этому и вопреки тем, кто неустанно возглашает ему здравицу, но смотрит-то на классика, как на многоуважаемый шкап, где хранятся знаменитые цитаты.

Такое сомнение, по сути, и есть ничто иное, как доверие, – может быть, не к слову самому по себе, ибо в словах можно извериться, но к смыслу, который со слова надлежит спрашивать...

Короче говоря, подманив слушателя – с вопросом ли, без вопроса, – изволь не откладывая и сполна оплатить кредитованное тебе доверие.

Для всего этого хорошо подходил род драматургии, с его непременной событийностью и конфликтностью. И, думаю, в особенности – радиодраматургии.

Было дело, авторам, уже имевшим на счету не один десяток передач, предлагали перенести их предприятие на телевидение, точнее, и туда тоже. Не изменить радиослушателям, но подключить к ним еще и телезрителей. Тогда ревниво заартачилось радио, а теперь я понимаю, что остаться верными ему и только ему следовало во всех отношениях. Возможно, прежде всего в отношении все того же доверия, за оплату которого столь горячо ратовал Борис Житков.

Мне кажется, именно радио, радиотеатр рождены для создания этой зоны доверия.

Теперь, когда «существует – и ни в зуб ногой» тиранический домашний экран, больше бросаются в глаза (в глаза – не в уши) изначальные, первородные недостатки радио. Его ограниченность. Обделенность. То, что «не видно».

Но, как почти всегда и бывает, ограниченность реваншистски оборачивается преимуществом. Слабость – силой. Во всяком случае, особенностью, которой у других нету.

Сила радио как раз в том, что «не видно». В том, что звук не одет материальной – и, стало быть, слишком определенной,

тяготеющей к однозначности – плотью.

«Настоящий», «плотский» театр, в том числе и телевизионный, может многое, почти все, но чего-то категорически и драматически не может. Не зря его, театра, гении, художники с запредельно устремленной творческой мечтой, порою вдруг начинали тяготиться как бы самой его материальностью, воплощенной во многом, начиная хотя бы с простейшего, с жесткой переборчивости театральной труппы, но отнюдь не кончая этим. И вот Станиславский, ощущая разлад между бестелесным замыслом и конкретным результатом, пусть даже до известной степени совершенным, начинает любить не спектакль, а репетицию, движение к цели, а не ее, достигнутую, – нет, в том-то и дело, что, как оказывалось, не достигнутую в мере, способной удовлетворить взыскующий дух. А Гордон Крэг, отчаиваясь в возможностях актеров, наделенных ростом и весом, олицетворить его фантастические видения, заявляет, что мечтает о театре марионеток. Правда, оговаривается, что готов смириться с живыми актерами, если все они будут совершенны и гениальны, как его мать Эллен Терри, но это еще одна утопия, предложенная взамен первой.

В радиотеатре, в театре звука и только звука, есть та высокая степень условности, которая дает воображению слушателя простор, а умению актера – едва ли не беспредельность. (Скажу не ходя далеко, что, слушая хотя бы и «Страну Литературных Героев», я с изумлением открываю для себя в талантах, допустим, Ларионова или Невинного, хорошо знакомых и чуть ли не изученных по театральным и киноработам, неведомое мне прежде протеическое их свойство, способность многократно и многообразно перевоплощаться в Ноздрева, Митрофана, Аркашку Счастливцева.) То есть условность ведет к безусловности, с какой слушатель – хоть вот и я на пробу – верит в абсолютную реальность творимого в радиотеатре. Дает невидимому ту форму видимости, которую никто не способен оспорить и поставить под сомнение.

Славная девочка, которая написала нашему Гене письмо, предложив дружить, переписываться и для начала обменяться фотографиями, наивно, но несомненно утвердила эту силу радиотеатра. Именно его.

А вообще-то мой панегирик неосязаемому и невидимому звуку можно расценивать и как традиционное воззвание автора к читательской (на сей раз не слушательской) снисхо-дительности. Автор готов нести полную ответственность за то, что он написал и печатает, но все же робко напоминает: писалось-то это прежде всего для радио. Для того, чтобы звучать.

Автор

Часть первая. ГЕНА УЧИТСЯ ЧИТАТЬ

«ЖЕНИТЬБА» ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЖЕНИТЬБОЙ

Квартира профессора Архипа Архиповича. Открывается дверь, и входит Гена – все, как обычно, вот уже на протяжении многих лет и очень многих радиопередач. Вообще, разнообразия тут не ждите – откуда ему взяться? Это потом, и очень скоро, они, сговорившись, отправятся туда или сюда в поисках разнообразных приключений, но для всего этого надо сперва (ничего не поделаешь) самым будничным образом открыть дверь, войти и... Впрочем, надо еще не забыть поздороваться.

Гена. Здрасте, Архип Архипыч! А я уж думал, что опоздал... *(Внезапно осекся.)* Ой, простите, вы заняты?

Профессор. Да нет, Геночка, просто мы увлеклись беседой. Входи, входи. Вот – познакомьтесь!

Гена. Очень приятно. Гена.

Незнакомец (необыкновенно сладким голосом). Мне также – очень, очень приятно! Честь имею представиться: Балтазар Балтазарович Жевакин!

Гена. Кто-кто?

Профессор. Экий ты, право... Тебе же сказали: Жевакин. Ну, помнишь женихов из гоголевской комедии «Женитьба»? Так вот, Балтазар Балтазарович один из них. Тот, что служил на флоте и в

Сицилии побывал...

Жевакин. Точно-с так! Ах, Сицилия, что за страна, право! Вид, я вам доложу, восхитительный! Эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать! И представьте себе, все изъясняются по-французски!

Гена *(насмешливо, что делает честь его познаниям, но, надо признать, не делает чести его воспитанности)*. В Сицилии-то? По-французски?

Жевакин. Все-с решительно! Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу; мы жили там тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски!

Гена *(все так же иронически)*. Да ну? Неужели ни одного?

Жевакин *(воодушевленно)*. Ни одного-с! Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему по-русски: «Дай, братец, хлеба» – не поймет, ей-богу, не поймет, а скажи ему то же самое по-французски – поймет, и побежит, и точно принесет. Вот-с! *(Со вздохом.)* Только давненько это было... Видите на мне мундир?

Гена. Ну, вижу.

Жевакин. Суконце-то английское! Так вот-с, в 1795 году, как раз когда эскадра наша была в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил из него мундир. В 801-м, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом – сукно было совсем новешенькое. В 814-м сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось. В 815-м вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу... постойте, точно ли десять? Ведь на дворе у нас, ежели не ошибаюсь, как раз 1825 год?

Гена. Ну, положим, у нас-то совсем другой... *(Тихо.)* Архип Архипыч, как это он к вам попал? Вы что, своей машиной его сюда вызвали?

Профессор *(тоже тихо)*. Представь себе, нет! Он сам заявился... Не знаю, что, и подумать. Вероятно, моя машина обладает гораздо большими возможностями, чем мы с тобой предполагаем: не только мы можем проникать туда, но и они – оттуда...

Жевакин. Прощения прошу-с, вы, ежели я верно дослышал, изволили говорить про свою машину?

Профессор. Да, про нее. А что, она вам знакома?

Жевакин. Как же-с, помилуйте! Кто ж из нас, из литературных-то героев, про нее не слыхал? Слава богу, не в

глуши живем. Очень наслышаны... Да, признаться, из-за нее-то я к вам и пожаловал.

Профессор. Вот видишь, Гена? Странно, очень странно.

Жевакин. Что ж делать? Нужда заставила. Сколько еще дожидаться, пока вы к нам соберетесь? Я и дерзнул. Ведь это уж, никак, семнадцать раз случилось со мною, и все почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки, – смотришь, и откажут!

Гена. Простите, это вы о чем?

Жевакин. Как об чем? Об деле! Постойте... *(Бормочет.)* То была седьмая... та, что на Песках, двенадцатая... эта четырнадцатая... да, точно-с! Агафья Тихоновна Купердягина – она уж семнадцатая невеста, что мне отказала. Ну, добро был бы нехорош чем, да, кажется, нельзя этого сказать, все слава богу, натура не обидела.

Профессор. Извините и меня, Балтазар Балтазарович, но я тоже никак не могу взять в толк: чего же вы хотите от нас и от нашей машины?

Жевакин *(вкрадчиво)*. А вот я слышал от верного человека, что вы с вашей почтеннейшей машиною можете эдак взять да и переменить у любого, к примеру, сочинения конец. Сочинитель, дескать, себе говорит: пусть у меня будет так-то и так-то, а машина, шельма, ему: нет, пусть все будет по-иному. Верно ли это?

Профессор. Как вам сказать? В общем, да... То есть подобными рискованными экспериментами увлекаюсь больше не я, а вот он, мой юный друг Геннадий, но иногда в самом деле приходится делать нечто подобное.

Жевакин *(радостно)*. Стало быть, не солгали мне? Стало быть, вы и вправду чудеса творите?!

Гена *(он не прочь похвастаться)*. Ну, чудеса не чудеса, а все-таки... Кое-что мы с Архипом Архипычем можем, правда, Архип Архипыч? Вот, хотите: можем в Королевство Плаща и Шпаги махнуть! Прямо сейчас! К мушкетерам, к Сирано де Бержераку, к Ришелье!.. Или в Великое Царство Смеха! Или, наоборот, в Тридевятое царство, хотите? Да хоть и на Необитаемый Остров! Это вам поинтереснее вашей Сицилии!..

Жевакин. Не хочу на Необитаемый Остров! Хочу к Агафье Тихоновне! Только, сделайте милость, перемените вы в этой «Женитьбе» конец!

Гена. Да зачем?

Жевакин *(со страстью)*. Пусть она меня не прогонит! Пусть за меня выйдет! Сами подумайте: ведь уж семнадцатая невеста! Мне, как офицеру, просто срам! *(Застенчиво.)* Да к тому ж... к

тому ж она мне очень, очень приглянулась. Эдакой, право, розанчик!

Профессор. Просто не знаю, что вам сказать...

Жевакин. Ах! Составьте счастие человека! Прикажите за вас бога молить!

Профессор. Гм... Ну, хорошо, я постараюсь... Постараюсь, говорю я вам!.. Допустим даже, что я обещаю... Только вы извините, в настоящую минуту у нас дела...

Жевакин. Понимаю, понимаю! Бегу! Так я буду надеяться!..

Гена. Наконец-то ушел... Вот чудак! Что ему наша машина, электронная сваха, что ли? Архип Архипыч, а зачем вы ему наобещали? На самом-то деле вы же не будете «Женитьбой» заниматься?

Профессор. Ну, во-первых, иначе он бы просто не оставил нас в покое. А во-вторых... Интересно, почему это ты так уверен, что мы не займемся именно «Женитьбой»?

Гена. Ну... По-моему, это просто не очень интересно.

Профессор. Что? Тебе уже Гоголь стал неинтересен? Дожили!

Гена. Нет, вы не подумайте, я Гоголя очень даже уважаю. Он великий писатель, классик и все такое...

Профессор. Уважаешь... И только? Я-то надеялся, что ты его еще и любишь.

Гена. А что? Конечно, люблю. Вот «Мертвые души», например, эх, и здорово Чичиков помещиков облапошивал! А «Ревизор»? Там Хлестаков вообще такого шороху наделал!.. Я уж не говорю – «Тарас Бульба» или «Страшная месть». Я этого колдуна как вспомню, так до сих пор мурашки, честное слово!

Профессор. Ну а «Женитьба» чем тебе не хороша?

Гена. Не то что нехороша, а так...

Профессор. Скучна, может быть?

Гена. Нет, почему? Смешного там как раз много! Да вот хоть этот Жевакин, – умора, правда? *(Передразнивает.)* «Ах, Сицилия, Сицилия... Ах, италианочки, италианочки!..»

Профессор *(гнет свою линию)*. Так в чем же тогда дело?

Гена. Ну, как вам сказать, Архип Архипыч... Вот «Мертвые души» или «Ревизор» – там ведь сколько всего происходит! И приключения всякие, и преступления даже, и обманы, и ошибки... Это я понимаю! А в «Женитьбе» что? Там же и содержания-то почти нету! А сюжета и вообще никакого. *(Решительно.)* Как хотите, а только вы меня не собьете. Я знаю, Гоголь великий писатель, но ведь могут же и у великого писателя неудачи быть? Одно лучше получилось, другое – хуже...

Профессор. Могут, конечно.

Гена. Вот и «Женитьба», ну, признайтесь, ведь не очень она

Гоголю удалась!

Профессор. Да-а... Что ж, оказывается, Балтазар Балтазарович нанес нам визит в самое время. Иначе у нас с тобой этот разговор, глядишь, и не состоялся бы никогда. А поговорить есть о чем, тем более что ты в своем отношении к «Женитьбе» отнюдь не одинок.

Гена. Правда? Что, кто-нибудь из ребят вам то же самое написал?

Профессор. Да не в ребятах дело... Вот послушай-ка, что почти полтора века назад писала о комедии «Женитьба» одна газета: «Ни завязки, ни развязки, ни характеров – и это комедия?»

Гена. Видите! А какая это газета?

Профессор *(безмятежно)*. Это, Геночка, «Северная пчела». Та, которую редактировал враг Пушкина и Гоголя Фаддей Булгарин.

Гена *(обидевшись не на шутку)*. Ну, Архип Архипыч, этого уж я от вас не ожидал! Смеяться смейтесь, но чтоб меня с Булгариным сравнивать!..

Профессор. Да что ты, Гена? Я же не тебя сравниваю, а твою мысль... Впрочем, если угодно, вот тебе другой союзник, человек весьма и весьма достойный, уже не враг Гоголя, но друг его и даже исполнитель в «Ревизоре» роли городничего, а в «Женитьбе» роли Кочкарева. Знаменитый русский актер Иван Иванович Сосницкий...

Гена. И он что, тоже, как я, говорил?

Профессор. Слово в слово! Прочитав «Женитьбу», Сосницкий сказал, что «комедии-то и нет». Потому что «сюжета никакого». И с ним многие были согласны. Считалось даже, что комедия не закончена, потому что в финале нет свадьбы.

Гена. А что, правильно! То есть я там не знаю, что в финале должно быть, свадьба или что другое, но ведь конца-то и в самом деле нет. Сватались-сватались, убеждал Кочкарев Подколесина, убеждал – и вот, пожалуйста, выпрыгнул в окно, и все дела!

Профессор. А ты какого бы финала хотел?

Гена. Я ж говорю: пока не знаю.

Профессор. Ишь ты, значит, только «пока»? Ну, Гена, как говорится, от скромности ты не умрешь.

Гена *(он начинает «заводиться»)*. Да уж будьте покойны, если бы моя воля, я бы...

Профессор. Стоп! Ловлю тебя на слове. Бери себе полную волю, на!

Гена. В каком смысле?

Профессор. В самом прямом. Вот тебе моя машина, на которую так надеется наш гость Балтазар Балтазарович, вот пульт

управления, вот переключатель произвольного изменения сюжета – действуй!

Гена. А что вы думаете, побоюсь?

Профессор. Ты не разговаривай. Ты действуй. Чего ж медлишь?

Гена. Погодите, дайте подумать...

Профессор. Дал бы, да время, дружок, не ждет. У нас же с тобой на все про все полчаса.

Гена. Ладно. Там, на месте, разберемся... Значит, так. Гоголь. «Женитьба». *(Мы слышим щелчок какого-то переключателя.)* Финальная сцена... *(Опять щелчок.)*

И голос Подколесина. Его знаменитый монолог.

Подколесин. Что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал! Ну, какой был мой холостой век? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал – словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Право, как подумаешь, чрез несколько минут – и уже будешь женат! Вдруг вкусишь блаженство, какое бывает только в сказках, которого просто не выразишь!.. *(Пауза.)* Однако ж, что ни говори, а как-то даже делается страшно. На всю жизнь, на весь век связать себя, а уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего – все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь нельзя уйти... А будто и в самом деле нельзя? Как же, натурально, нельзя, там в дверях и везде стоят люди; ну, спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто: что если б в окно? Нет, нельзя, как же, и неприлично, да и высоко... Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. А что если б попробовать, а? Попробовать, что ли? Господи, благослови!.. *(Слышен удар упавшего тела, затем кряхтенье и оханье.)* Ох, однако ж, высоко. Эй! Извозчик!

Извозчик. Подавать, что ли?

Подколесин. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Извозчик. Да гривенник, без лишнего.

Подколесин. Давай! Пошел!

Шум отъезжающих дрожек.

Профессор. Что ж ты, Гена? Пока твоей смелости не видать. Все, как у Гоголя.

Гена. Погодите, сейчас не будет, как у Гоголя!

Увы, он прав, и гораздо больше, чем ему кажется и хочется.

Подколесин. Однако ж что я это делаю? Разве такое достойно порядочного человека? Да и невеста очень мила, правду сказать. Извозчик!

Извозчик. Чего изволите, барин?

Подколесин. Стой! Поворачивай назад!

Извозчик. Как же, барин, приказывали на Канавку!

Подколесин. Нет, давай к Пескам, в Мыльный переулок. К дому Купердягиной!

Снова шум бегущих дрожек.

Профессор. А, решился-таки повернуть по-своему?

Гена. Это что! Сейчас увидите, что будет!

Плач, женские голоса.

Агафья Тихоновна. Где он? Где? Воротить его, воротить Подколесина! Фекла Ивановна, да что ж ты за сваха такая, если жениха воротить не умеешь!

Фекла. Да, поди ты, вороти! Еще если бы в двери выбежал – ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно – уж тут просто мое почтение.

Агафья. Ах! Беда моя! Что ж я теперь, горемычная, делать стану?

Фекла. Ты погоди-ка, не реви. Послушай. Ну, один убежал – беда невелика. Убежал – и пес с ним. А другие-то на что? Да прикажи ты мне, я тебе сейчас любого назад возверну, небось не гордые. Хочешь, Иван Павлыча, хочешь, Никанор Иваныча. А Жевакин-то Балтазар Балтазарыч, как ты ему давеча отказала, так ажник, бедняга, обмер. Так и стоит за дверьми. Желаешь, я его тебе представлю?

Агафья. Ну, давай хоть Жевакина. Не сидеть же еще двадцать семь лет в девках.

Фекла. И ладно! Эй, Балтазар Балтазарыч, а ну-ка иди сюда!.. Вот тебе твоя Агафья Тихоновна, владей. Совет вам да любовь!

Жевакин. Что вы говорите? Сударыня! Смею ли я надеяться?

Фекла. Смеешь, смеешь – ишь, как она на тебя глядит! Такому мужчине да не сметь? Сейчас под венец!

Жевакин. Да, да, под венец! Сударыня, как я счастлив иметь в вас подругу моего сердца! Позвольте мне поцеловать вас!

Агафья *(жеманится)*. Ах, я уж, право, не знаю... Да уж бог с вами, целуйте...

Подколесин *(подчиняясь причудливой фантазии нашего Гены, стремительно врывается)*. Что? Поцеловать? Как вы смеете,

сударь, целовать мою невесту?

Жевакин. Позвольте, однако ж, – как это «вашу»? Агафья Тихоновна сейчас дала мне слово!

Подколесин. Вам сейчас, а мне давеча! Я первый получил ее согласие и прав своих не уступлю!

Жевакин. Но как же так? Сударыня, скажите ему сами!

Агафья. Ах, право, я ничего не знаю. Я слабая женщина. У меня голова кружится. Воды, воды!

Фекла. Это уж точно так. Наша сестра вся как есть слабая.

Жевакин. В таком случае, милостивый государь, пусть наш спор разрешит честный поединок. Как офицер, я не могу допустить, чтобы со мною обращались столь беспардонно.

Подколесин. Извольте, я к вашим услугам! Я, как нарочно, проезжал сейчас мимо оружейной лавки и купил пару пистолетов. Вот они – от самого Лепажа. Будьте любезны выбрать один.

Надо ли говорить, что Архип Архипович, наблюдая эту катавасию, с трудом удерживается от смеха?

Жевакин. Я выбираю этот. К барьеру, милостивый государь!

Подколесин. К барьеру! Стреляться с десяти шагов!

Агафья и Фекла. Ах! Ах! Они убьют друг друга! Ни одного не останется! На помощь!

Выстрел.

Жевакин *(слабым голосом)*. Я умираю... Вы, сударыня, разбили мое сердце, а вы, сударь, прострелили его. Но я прощаю и благословляю вас. Будьте счастливы... Ах!

Подколесин. Умер. Бедняга... Но судьба того хотела. О, моя возлюбленная Агафья! Наконец-то я у ног твоих! С пламенем в груди прошу руки твоей! Если ты не увенчаешь постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. Мы удалимся под сень струй...

Агафья. Ах, я знала, что твой уход от меня лишь минутная превратность судьбы. Я все равно ждала тебя! Я верила тебе! *(Запевает нечто неожиданное даже для Гены.)*

Я ждала и верила,
Сердцу вопреки...

Подколесин *(подхватывает)*.

Мы с тобой два берега

У одной реки!

Профессор *(теперь-то он дал волю своему смеху)*. Ох, Гена, уморил!.. Вот так финал! Вот так сюжет! Прямо испанские страсти какие-то! А бедняга-то Жевакин – немного же он получил от того, что ты выполнил его просьбу!..

Гена *(он слегка смущен и растерян, но храбрится)*. Да, с Жевакиным немножко нескладно получилось. Но зато видели, как я все закрутил!

Профессор. Что-о? И ты еще гордишься этой ахинеей?

Гена *(обиженно ворчит)*. Ахинея... Вы всегда только и знаете, что ругаться. Я же не Гоголь все-таки...

Профессор. О, да!

Гена. А вот если бы сам Гоголь взял да что-нибудь такое придумал, тогда бы вы увидели, как здорово получилось бы!

Профессор *(на этот раз очень серьезно)*. Нет, дружок. Тут бы и Гоголь оказался бессилен. А главное, ему бы такое и в голову не взбрело – именно потому, что он Гоголь... Вот ты все повторяешь: сюжет, сюжет! По-твоему, что же, чем больше событий понапихано в произведение, тем, значит, сюжет лучше?

Гена. А разве не так? Вот «Мертвые души» или «Ревизор»...

Профессор *(не давая ему договорить)*. Дался тебе этот «Ревизор»! Да если на то пошло, на его первом представлении многие были просто поражены, что там нет, как они говорили, «интриги». А журналист Сенковский, писавший под псевдонимом барон Брамбеус...

Гена. А, я помню! Еще Хлестаков хвастается, что это вроде бы он и есть Брамбеус!

Профессор. Совершенно верно. Так вот, он советовал Гоголю для занимательности ввести в комедию еще одну барышню, заставить Хлестакова и в нее влюбиться, чтобы в «Ревизоре» было больше влюбленностей, страстей, приключений...

Гена. Глупость какая!

Профессор. Ага, видишь: глупость! Совершенно с тобой согласен. А навязывать «Женитьбе» совершенно не нужные этой комедии события, по-твоему, умно? Ведь в том-то и сила этого замечательного произведения, что в нем *как бы* ничего не происходит.

Гена. Какая ж тут сила?

Профессор. Мир, изображенный здесь Гоголем, смешон и страшен своей неподвижностью. В нем все еле движется, ползет, засыпает на ходу, как Подколесин, которого тебе вздумалось превратить в этакого гусара. Это сонное царство, царство

духовной пустоты… Помнишь, в каком году происходит действие пьесы?

Гена. У Жевакина вроде получилось, что в 1825-м?.. Архип Архипыч! Это что же, значит, в том самом, когда декабристы восстали?

Профессор. Конечно. И именно к этому я веду. Давай немножко пофантазируем. Я думаю, не будет большой смелостью предположить, что в то время, как Агафья Тихоновна мечтает о женихе, Жевакин в который раз вспоминает о своей Сицилии, а Подколесин прыгает в окошко, – в это самое время на Сенатскую площадь собираются войска восставших… Как ты думаешь: сыграло бы это великое событие хоть самую крошечную роль в жизни персонажей «Женитьбы»? Заняло бы серьезное место в их умах?

Гена. Не знаю… А давайте у них у самих спросим!

Профессор. Отличная мысль!

И вот они вновь в обществе Подколесина, Агафьи Тихоновны, свахи Феклы и Жевакина, который, разумеется, ускользнул из-под неумелой власти Гены и жив-живехонек.

Прошу простить, что потревожил вас. Как сказал один из персонажей, находящийся с вами в некотором родстве, я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. Увы, действительно очень неприятное. Сегодня в Санкт-Петербурге было разгромлено восстание против нового царя…

Подколесин. Разгромлено? И слава богу! Экие, право, наглецы… Однако ж, господа, вы могли и не беспокоить меня ради такого известия: я только-только уснул, да так сладко, и вот – извольте… Степан! Никого больше не пускать!

Фекла. И правда, батюшка, что это ты вздумал людей попусту тревожить? Мы тут с Агафьей Тихоновной как раз порешили приданое проверить: не приведи господи, мыши чего погрызли…

Агафья. Ну, будет тебе! Идем, Фекла Ивановна! Вон еще сколько не пересчитано да не пересмотрено!

Жевакин. Известие, о коем вы сообщили, милостивый государь, весьма и весьма прелюбопытное. Но должен сказать вам, что в мире случается кое-что и поинтереснее. Когда стояли мы с эскадрою в Сицилии, служил у нас мичман по фамилии, представьте себе, просто Дырка. Так вот, сударь мои…

Гена. Да ну их, Архип Архипыч!

Наши герои снова в одиночестве.

Профессор. Лаконично сказано, Гена, но справедливо. Ну их!.. Да, как видишь, сонное царство даже не всколыхнулось. И если угодно, в том-то и гений Гоголя, что он выбрал для комедии «Женитьба» именно такой сюжет. Завершись она счастливой свадьбой, не соверши Подколесин своего нелепейшего прыжка в окно, возникни в жизни героев нечто незаурядное, интересное, романтическое, – разве удалось бы Гоголю так разоблачить эту жизнь?

Гена *(сдаваясь или, вернее сказать, наконец понимая)*. Вообще-то, наверное, нет...

Профессор. Да не «наверное», а совершенно точно. Правила сюжетостроения чрезвычайно многообразны, и сюжет – это не просто череда внешних событий, а раскрытие характеров. Характеры в движении. Сюжет – возможность с наибольшей полнотой понять, что за люди автором изображены и почему они именно такие. Отчего, например, в жизни Подколесиных и Кочкаревых решительно всё, даже столь естественные вещи, как любовь и женитьба, приобретает дикие, нелепые формы? Вот Гоголь и ответил: потому что сама жизнь этих людей ненормальна. Пуста. Вернее, опустошена. Поэтому «Женитьба» с ее таким, казалось бы, нехитрым сюжетом сказала о современной действительности не менее насмешливую и жесткую правду, чем «Ревизор».

Гена *(честно, за что ему надо отдать должное)*. Да, на этот раз вы меня победили.

Профессор. Очень жаль, если так. Я-то хотел тебя убедить...

МЯТЕЖ В ЦАРСТВЕ СТИХОТВОРСТВА

Второе путешествие начинается точно так же, как первое: открывается дверь, входит Гена – и...

Гена. Архип Архипыч, здрасте! *(Но профессор почему-то не откликается.)* Архип Архипыч! Да это же я, Гена!.. *(И снова молчание.)* Чем это вы там так увлеклись?

Профессор. А, Геночка? Извини, зачитался... Представь себе, некий безымянный автор сочинил статью под названием: «Географическое описание о Царстве Стихотворства»...

Гена (очень подозрительно). О чем, о чем? Ну-ка, покажите! Ничего себе! Это что же, он, значит, нам с вами подражать решил? Ведь у нас в Стране Литературии тоже Царство Поэзии есть!

Профессор. Насколько я помню, у нас-то не Царство, а Республика Поэзия.

Гена. Какая разница? Все равно похоже!

Профессор. Вот это верно. И именно сходство меня так заинтересовало. Слушай, что здесь написано: «Царство Стихотворства окружается с северной стороны Океаном Наук и омывается двумя славными реками, из которых одна именуется Рифмою, а другая Рассуждением. На границах сего Царства стоит Подражание, провинция весьма обширная, но бесплодная...»

Гена. А уж это-то ваш безымянный у нас просто спер!

Профессор. Гена, Гена! Выбирай выражения!

Гена. Ну... позаимствовал. Вот хитрюга! У нас Провинция Эпигония есть, а он чуть-чуть переделал – и пожалуйста: Провинция Подражание! Хорош! Это ему еще повезло, что он догадался свое имя скрыть, а то бы я ему показал!

Профессор. Положим, это как раз было бы затруднительно. Ты глянь на журнал, где напечатана эта статья.

Гена. Давайте... Ух, какой зачитанный, того и гляди рассыплется. И название почти стерлось... Что тут написано? «У-е-ди-нен-ный пошехонец»... *(Смеется.)* Вот так названьице! Где ж это такое чудо издали?

Профессор. В Ярославле. Но любопытнее, по-моему, не где, а когда.

Гена. «1786 год»... Ну и ну! Это что же? Двести лет назад?

Профессор. Совершенно верно. Замечательно, правда?

Гена. Чего ж тут замечательного? Совсем наоборот... *(Он очень разочарован.)* А я-то думал... Понимаете, я ведь всем нашим ребятам говорю, что мы с вами это самое Царство Стихотворства, ну, то есть Республику Поэзию, первыми придумали. Как и все остальное. А, оказывается, оно вон уже сколько времени существует. Только называлось по-другому. Выходит, я зря хвастался?

Профессор. Чудак! Нашел чем огорчаться! Да ведь в том-то и дело, что мы с тобой не придумали эту область Страны Литературных Героев. Как не придумали Королевство Плаща и Шпаги, Великое Царство Смеха, Город Чудаков... Мы их открыли – понимаешь разницу?

Гена. Как же это открыли, когда вон двести лет назад уже...

Профессор *(не дослушав его)*. Да, да! То, что там до нас уже кто-то побывал, это еще одно подтверждение, что все эти земли существуют на самом деле. И могло ли быть иначе? Ну, сам подумай, если бы они существовали только в нашем воображении, разве могли бы мы по ним путешествовать?

Гена *(эта простая мысль, как видно, его утешила)*. Вообще-то, да... Я об этом как-то не подумал;

Профессор. То-то и оно! Эх, ты, первооткрыватель, то есть, нет, первопридумыватель! Вот слово – и не выговоришь... Кстати, Гена, а не кажется ли тебе, что наш «Уединенный пошехонец» подал нам добрый совет? Мы ведь давненько не захаживали на территорию Республики Поэзии. Может, махнем?

Гена. А что? Это мысль!

Профессор. Отлично. Только куда именно? Республика-то велика!

Гена. Хорошо бы в какую-нибудь поэму попасть, чтоб подлиннее была и чтоб в ней много чего-нибудь происходило. Лучше – чего-нибудь необыкновенного. Лермонтовский «Демон», например, – чем плохо?

Профессор. Не только неплохо, но просто замечательно... Только знаешь ли... гм... не сложно ли это для тебя будет с непривычки?

Гена. Это почему же с непривычки? Что ж, я стихи, что ли,

читать не умею?

Профессор. Как знать, как знать... Ладно, не обижайся. Отправимся в поэзию Лермонтова, однако сперва все-таки не в «Демона». Начнем для разведки с одного очень известного стихотворения, с такого, которое всякий знает наизусть...

Сказано – сделано. Правда, там, где очутились наши герои, ничто и не напоминает о поэзии. Слышен занудный голос учителя и полусонный шелест класса.

Учитель. Господа! Тише! Еще тише! Постников Иван, потрудитесь не толкать локтем Голикова Алексея! Мозгов Николай, потрудитесь не смотреть в окно! Иванов Павел, если вы и далее будете разговаривать, после классов пойдете в карцер!..

Гена. Мы что, Архип Архипыч, не туда попали? Это же просто обыкновенная старая гимназия!

Профессор. Да. В данном случае та, которую смешно и сердито изобразил писатель Влас Дорошевич, – он был, да будет тебе известно, очень знаменит в начале нашего века. И ты прав: по его мнению, действительно самая обыкновенная. Заурядная.

Гена. Но Лермонтов-то тут при чем?

Профессор. Видишь ли, в этом произведении Дорошевича как раз читают или, вернее, мусолят стихи. Правда, не лермонтовские, но уж эту частность мы с тобой в состоянии исправить.

Учитель. Тише, господа! Мозгов Николай! Что вам было задано на дом?

Мозгов *(у него басистый голос завзятого второгодника)*. Нам... Это... Ну, это... *(Шепотом, который у него плохо получается.)* Подскажи, а то отлуплю!

Учитель. Голиков Алексей! Если вы будете подсказывать Мозгову Николаю, останетесь без обеда! Ну-с! Я слушаю.

Мозгов *(запинается)*. Нам... Это... Нам был задан разбор стиха Мэ. Ю. Лермонтова «Парус»...

Учитель. Так, потрудитесь разобрать, Мозгов Николай! Что хотел сказать поэт стихотворением «Парус»? *(Молчание.)* Ну! Мозгов Николай? Что – хотел – сказать – поэт?

Мозгов. У меня мамаша больна.

Учитель. Что такое?

Мозгов. У меня мамаша больна. Я, Петр Петрович, не знаю, что хотел сказать поэт. Я не мог приготовить.

Учитель. У Мозгова Николая мамаша всегда бывает больна, когда Мозгов Николай не знает урока. У Мозгова Николая очень удобная мамаша. *(Класс подобострастно хихикает.)* В следующий

раз я поставлю Мозгову Николаю единицу. Голиков Алексей! Что хотел сказать поэт стихотворением «Парус»?

Голиков. Не знаю, Петр Петрович. У-у!.. *(Хнычет.)*

Учитель. Голиков Алексей не знает. В таком случае Голиков Николай. *(Молчание.)* Так-с! Голиков Алексей и Голиков Николай никогда ничего не знают. Постников Иван!

Постников *(пискляво)*. У меня, Петр Петрович, нога болит!

Учитель. При чем же тут поэт?

Постников. Я не могу, Петр Петрович, стоять.

Учитель. Отвечайте в таком случае сидя. Ну-с? *(И опять молчание.)* Постников Иван и сидя не знает, что хотел сказать поэт. В таком случае Иванов Павел!

Иванов. Позвольте выйти!

Учитель. Иванов Павел хочет выйти! Иванов Павел выйдет у меня до конца уроков!

Гена *(очень тихо)*. Ну и учитель, правда, Архип Архипыч? Один язык чего стоит. Прямо как будто не по-русски разговаривает.

Профессор *(тоже шепотом)*. Это ты попал в самую точку, Геночка! Влас Михайлович Дорошевич так прямо и написал, что уроки, дескать, в русских гимназиях идут на каком-то индейском языке. Знаешь, как говорили в приключенческих романах какие-нибудь предводители команчей? «Бледнолицый брат мой – собака. Язык бледнолицего брата моего лжет. Я сниму скальп с бледнолицего брата моего!»...

Гена *(смеется, позабыв осторожность)*. И правда похоже!

Учитель. Потрудитесь прекратить смех! Ну? Кто знает, что хотел сказать поэт?

Раздается угодливый и нерешительный голосок типичного зубрилы.

Зубрила. Можно мне, Петр Петрович?

Учитель. Ага! Патрикеев Клавдий знает. Пусть Патрикеев Клавдий объяснит нам, что хотел сказать поэт!

Патрикеев. Он... Поэт... Хотел... Хотел...

Учитель. Почему же Патрикеев Клавдий не говорит, если он знает?

Патрикеев *(струсив)*. В стихотворении «Парус»... В стихотворении «Белеет парус одинокий»... В этом стихотворении поэт, видимо, хотел сказать... что парус... вообще... белеет...

Класс злорадно хихикает: подхалимов и тогда не жаловали.

(Готов расплакаться.) Прикажите им, чтобы они не смеялись! Тут вовсе нечему смеяться!.. *(Старается приободриться.)* Поэт хотел сказать, что парус... вообще белеет в тумане моря голубом... и что он вообще просит бури...

Учитель. Не то! Пусть Патрикеев Клавдий сядет и никогда не вызывается отвечать, когда не знает! *(Класс злорадствует.)* Ну? Никто не знает, что хотел сказать поэт стихотворением «Парус»? Как же так? Ведь это очень просто!.. Ну, хорошо. Слушайте внимательно. *(Начинает, расхаживая по классу, объяснять казенным, унылым, мерным голосом.)* Итак! Изображая в своем бессмертном стихотворении некий парус одинокий, поэт задает вышепоименованному парусу два весьма и весьма существенных вопроса. Из коих первый: «Что ищет он в стране далекой?» А второй... Постников Иван! Какой второй вопрос задает парусу поэт?

Постников *(пищит)*. «Что кинул он в краю родном?», Петр Петрович.

Учитель. Правильно! И на оба эти вопроса сей злополучный парус не в состоянии дать ответа. Ибо вместо того, чтобы...

Патрикеев. Петр Петрович, пожалуйста, помедленнее! Я записывать не успеваю.

Учитель. Надо понимать! Да! Понимать, а не записывать!.. Ибо, говорю я, вместо того, чтобы мирно и добронамеренно блаженствовать в покойной и тихой гавани, означенный парус позволяет себе искать бурю, как будто, как иронически выражается поэт, в бурях есть покой!

Гена. Архип Архипыч, да что ж это он на Лермонтова наговаривает? Честное слово, я не выдержу!

Учитель. Да! А поелику всем и каждому ясно, что в бурях покоя ни в коем случае быть не может, то, таким образом, поэт сурово, но справедливо осуждает данный парус как злонамеренного бездельника, каковой вместо того, чтобы добросовестно трудиться, исполняя обязанности, возложенные на него флотом и адмиралом, коих следует понимать как порядочное общество и самого государя императора, уклоняется от оных и мятежно и безрассудно пускается в плавание, не имеющее никаких положительных целей. Из этого наглядного примера...

Патрикеев *(жалобно)*. Петр Петрович! Я опять не успеваю. Как вы сказали? «Злонамеренного бездельника»?

Учитель. Да! Бездельника! Из этого наглядного примера, говорю я, мы можем сделать не менее наглядный вывод о пользе труда и вреде безделья. Возьмем пример из древнего мира. Знаменитый оратор Демосфен, будучи от природы косноязычен и

обладая физическими недостатками, непрестанным трудом не только избавился от этих недостатков, но и...

Гена. Нет, Архип Архипыч, вы как хотите, а я больше не могу!.. Послушайте! Как вас?.. Петр Петрович! Что ж это вы из Лермонтова какого-то человека в футляре сделали? Да ничего подобного он и не думал говорить!

Учитель. Эт-то что такое? Как попал сюда этот наглый мальчишка? Новопринятый? Тогда почему он не в гимназической форме? Патрикеев Клавдий! Потрудитесь пригласить сюда господина директора!

Профессор. Не надо директора. Сядь, мальчик... Я сейчас все объясню. Видите ли, уважаемый Петр Петрович, мы позволили себе без вашего разрешения проникнуть на урок только потому, что хотим проверить...

Учитель *(его тон меняется до полной неузнаваемости)*. Как-с? Проверить? То есть – проинспектировать?

Профессор. Д-да... Пожалуй, можно сказать и так...

Учитель. Ах! Стало быть, слухи о назначении нового инспектора не ложны? Прошу великодушно простить меня! С этими озорниками, хе-хе, знаете ли, просто голова кругом. Родную матушку не признаешь... Извольте присесть, господин инспектор! Вот сюда-с, здесь покойнее. А вас, молодой человек, я со всей охотой выслушаю. Кажется, вы намеревались изъяснить, что хотел сказать поэт стихотворением «Парус»?

Гена. Вот именно! Намеревался!

Учитель. Прошу-с!

Гена. Ну, ладно. Только, чур, не обижаться. Потому что я с вами, ну, совершенно не согласен!

Среди гимназистов ропот. Подхалимов здесь не любят, но и к выскочкам не милостивы.

Голоса. Тоже – умный нашелся!.. Знает, что хотел сказать поэт! Да этого никто, кроме Петра Петровича, не знает!..

Учитель. Тише, тише, господа! Что о нас подумает господин инспектор? Развивайте вашу мысль, молодой человек!

Гена. А чего ее развивать? Она и так ясная. Лермонтову этот парус очень даже нравится. Он в его образе таких людей показал, которые покоя не любят. Которым буря больше подходит. Которые опасности не боятся!.. Он, если хотите знать, в этом стихотворении выступает не против паруса, а против... против... ну, как сказать? Против мещан тогдашних! Которые тело жирное в утесах прячут... Правда, это из других стихов, но все равно.

Учитель *(с почтительностью)*. Это все?

Гена. Да! Все! А теперь можете мне хоть единицу с минусом ставить. Мне правда дороже!

Учитель. Что вы? Помилуйте! Зачем же единицу? Напротив! Я с величайшей радостью ставлю вам пять... нет, пять с двумя... нет, с тремя плюсами! Вы это вполне, вполне заслужили!.. Ну-с, господа гимназисты? Слышали? Прошу к завтрашнему всех заучить то, что говорил этот молодой человек. Ибо поэт хотел сказать своим стихотворением «Парус», что всем нам надлежит, подобно упомянутому парусу, который столь бестрепетно ищет бури, никоим образом не уклоняться от опасности, дабы наилучшим образом исполнить свой долг, возложенный на нас обществом и государем императором... Нет, лучше запишите. Ибо это скрижаль! Диктую: «Поэт хо-тел ска-зать своим сти-хо-тво-ре-ни-ем...»

Гимназисты *(послушным хором)*. «Поэт хо-тел сказать своим сти-хо-тво-ре-ни-ем...»

И на этом мы с ними прощаемся.

Профессор *(с насмешкой, которую мы с вами, в отличие от Гены, уловили)*. А ты у нас, Геночка, оказывается настоящий мятежник! Не хуже лермонтовского паруса!

Гена *(с напускной скромностью; он так упоен своей победой, что готов быть даже великодушным)*. Да ладно вам, Архип Архипыч! Но вас-то он как испугался! Даже пятерку с перепугу мне поставил! Только все равно ничегошеньки не понял в том, что я ему объяснял. *(Смеется.)*

Профессор. Нет, я думаю, дело тут не в испуге. И понял он тебя преотличнейшим образом. Даже за своего сторонника принял.

Гена. Меня? Да вы что? Какой же я ему сторонник, когда я все наоборот говорил?

Профессор. Ты в этом уверен?

Гена. А то нет! Он ведь – слыхали? – что про парус сказал? Что Лермонтов, мол, его осуждает. Как бездельника. А я говорю: ничего подобного, не осуждает, а сочувствует! А если кого и осуждает, то как раз всяких там мещан, которые в сторонке отсиживаться любят. Что ж, по-вашему, это одно и то же?

Профессор. Да нет, кое-какая разница есть. Но, увы, то главное, в чем ты и этот самый Петр Петрович совпали, куда важнее ваших мелких разногласий. Так что твой мятеж провалился.

Гена *(недоверчиво)*. Вы это что, серьезно?

Профессор. Серьезнее не бывает. Понимаешь, вы оба – оба! –

смотрите на стихи как на нечто написанное только ради того, чтобы примитивно доказать плоскую пропись. Ту или иную – не так уж важно, какую именно. А настоящая поэзия рождается иначе. И в каждом стихотворении выражается вся душа поэта...

Гена *(мстительно, потому что ему очень хочется не сдавать позиций или по крайней мере взять реванш)*. Так уж прямо и вся?

Профессор *(кротко)*. Не лови меня на слове, Гена!.. Пусть не вся – ибо душа великого поэта неисчерпаема, – но в стихах непременно должно быть что-то очень важное для этой души, что-то очень для нее характерное. Как и в стихотворении «Белеет парус одинокий». Ведь в нем, написанном поэтом, которому тогда еще и восемнадцати не исполнилось, уже проявился его чрезвычайно сложный характер. Сказалась едва ли не главная черта...

Гена. Это в таком-то маленьком стихотворении?

Профессор. Представь себе! И больше того: даже не в стихотворении, а всего в двух словах... Да, не удивляйся. В словах: «как будто»... «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Гена. Ну, Архип Архипыч, привет вам от Петра Петровича! Это же он на эти два слова как сел, так и слезть не мог. *(Очень похоже передразнивая.)* «Как будто, как иронически выражается поэт, в бурях есть покой. А поелику всем и каждому ясно, что его там не может быть».

Профессор. Ну и что? Разумеется, Петр Петрович глупость сморозил, но ведь это и в самом деле очень странно звучит. В бурях действительно не может быть покоя, с чего ж тогда Лермонтову вздумалось произнести это «как будто»? Подумай! Зачем говорить то, что и так всем очевидно?

Гена. Ну... Откуда я знаю?

Профессор. Хорошо. Зайдем с другой стороны. Стихотворение под названием «Парус» Лермонтов написал 2 сентября 1832 года. А всего несколькими днями раньше, в августе того же года, сочинил другие стихи. Между прочим, с довольно похожим названием – «Челнок». И в этом стихотворении идет речь о челноке, разбитом той самой бурей, которой... которой... Ну же, Геночка!

Гена *(догадавшись наконец)*. А! Который парус просит?

Профессор. Молодец! Начинаешь понимать, в чем дело... И об этом разбитом суденышке сказано так:

«Никто ему не вверит боле
Себя иль ноши дорогой;
Он не годится – и на воле!

Погиб – и дан ему покой!..»

Узнаёшь?

Гена. А что я тут должен узнать?

Профессор (*раздосадованно)*. Экий ты! Опять понятливость утратил! Да ты вслушайся: «Погиб – и дан ему покой!..» Вот же он, этот самый «покой», который всего лишь «как будто» есть в буре! Понимаешь, как звучит рядом с этим строка из «Паруса»: «Как будто в бурях есть покой»? Трагически звучит! Как предостережение о гибели!

Гена *(ворчливо)*. Подумаешь! Мало ли что рядом с чем звучит!

Профессор. Напрасно ворчишь! Во-первых, стихотворение «Челнок» очень близко к «Парусу» и по теме, и по времени, когда они были написаны, а стало быть, и по чувствам, которые обуревали Лермонтова именно в эти считанные дни. Во-вторых, чтобы лучше понять то или иное стихотворение, порою не вредно обратиться за разгадкой к другим стихам того же поэта. А в-третьих... В-третьих, Геночка, потому-то я и вспомнил это соседнее стихотворение, «Челнок», что ты упорно не хочешь как следует прочитать сам по себе лермонтовский «Парус»... Или просто не можешь?

Гена *(обидчиво)*. Издеваетесь, да? По-вашему, я неграмотный?

Профессор. Да что ты? Я вновь серьезен, как никогда. Уметь просто читать, то есть складывать буквы в слова, и уметь читать стихи – это совсем не одно и то же... А впрочем, не только одни стихи. Умение, искусство читать – да, да, не делай таких больших глаз, именно искусство, – оно, ох, какое непростое. Может быть, каждый из нас всю жизнь постигает его. Всю жизнь учится читать... Однако я отвлекся. Надеюсь, ты обратил внимание, что «Челнок», стихотворение с трагическим финалом, написано чуть раньше «Паруса»?

Гена. Ну, обратил. И что?

Профессор. А то, что, значит, Лермонтов уже заранее видит возможный – да и просто неизбежный – конец своего паруса, так отчаянно рванувшегося к опасности. И все-таки избирает – для паруса, а главное, для себя самого – именно такой путь. Представляешь? Человеку всего неполных восемнадцать. Он почти мальчик. Но у него, в отличие от многих других поэтов, нет никаких утешительных иллюзий. Он все видит трезво и горько. Видит, но не сворачивает со своего пути. И готов платить за минуты полной жизни, борьбы и бури даже смертью...

ПОЧЕМУ ВОРОНА КАРКНУЛА?

И снова Гена пришел к Архипу Архиповичу, и опять застал его с головой ушедшим в чтение какой-то книги. Но если в прошлый раз он профессора все-таки понял (тот зачитался журналом с диковинным названием, да еще вышедшим двести лет назад), то теперь очень удивился. Как? Увлечься вот этим? Книгой, озаглавленной, так скучно: «Русская басня XVIII-XIX веков?»

А Архип Архипович, наоборот, удивился Генину удивлению. Так что тому пришлось в результате объясняться, хотя слова для объяснения было трудновато найти.

Гена. Ну, не знаю... Я сам басни даже наизусть учил, – когда задавали, конечно, – но чтоб их еще и дома, для себя читать... Нет, вы не подумайте, я ничего плохого сказать не хочу! Басни – это тоже... Ну, в общем, стоящая вещь. Крылов, например. Он так писал, что его и учить-то легко. Раз прочтешь – на всю жизнь запомнишь. У кого, конечно, память хорошая. «Ворона каркнула во все воронье горло; сыр выпал – с ним была плутовка такова». Да и вообще Крылов эту историю про ворону и лисицу смешно придумал, правда?

Профессор. Постой, как ты сказал? Придумал?

Гена. Ну да. А что? Почему вы так странно спрашиваете? Разве это не из Крылова?.. Э, нет, Архип Архипыч, не разыграете: кого-кого, а Крылова-то я помню!

Профессор. Верю, верю. Успокойся. Просто – взгляни-ка на эту басню. Сейчас найду... *(Листает ту самую книгу, к которой Гена отнесся с таким недоверием.)* Вот!

Гена. Дайте-ка...

Начинает читать вслух, и, пока он читает, его лицо... хотя нет! Это ведь пьеса для радио, и лица его мы не видим. В общем, голос его становится все недоуменнее. И есть отчего.

«Негде Ворону унесть сыра часть случилось;
На дерево с тем взлетел, кое полюбилось.
Оного Лисице захотелось вот поесть;
Для того домочься б, вздумала такую лесть...»

Архип Архипыч, что же это такое? Это же читать невозможно!

Профессор. Ничего, потерпи. А впрочем, хорошо. Если тебе невмоготу это одолевать, пропусти строки, где Лисица льстит

Ворону. Читай вот отсюда.

Гена *(с тяжелым вздохом)*. Ладно уж... *(Читает, запинаясь и с явным отвращением.)*

«Ворон, похвалой надмен, мня себя пристойну,
Начал сколько можно громче кракать и кричать...».

Тут опечатка, что ли? «Каркать» же, а не «кракать».

Профессор *(неумолимо)*. Никакой опечатки нет. Продолжай.

Гена.

«...Начал сколько можно громче кракать и кричать,
Чтоб похвал последню получить печать.
Но тем самым из его носа растворенна
Выпал на землю тот сыр. Лиска, ободренна
Оною корыстью, говорит тому на смех:
«Всем ты добр, мой Ворон, только ты без сердца мех».

Уф! Еле дочитал... Ну и ну! Интересно, кто ж это решился Крылова передразнивать, да еще коряво? Вот нахал!

Профессор. Зачем же так? Это вовсе не нахал, а русский поэт и ученый. Василий Кириллович Тредиаковский, личность во многих отношениях достойная. А кроме того, передразнивать Крылова ему было бы затруднительно: он писал задолго до него. В середине восемнадцатого века, в 1752 году.

Гена. Ого! Как давно!

Профессор. Разве? Это еще сравнительно недавно. Потому что впервые басню про лисицу и ворону, вернее, ворона – это ведь разные птицы – сочинил римский баснописец Федр. Чуть не две тысячи лет назад. Много позже на эту тему писал знаменитый француз Лафонтен. А в России – уже после Тредиаковского, но еще до Крылова – Сумароков, Херасков...

Гена. А, теперь я понял. Вот, значит, почему вы меня тогда переспросили. Выходит, и правда, Крылов про ворону и лисицу не сам придумал. Жалко. А я-то думал... Но разве ж так можно, Архип Архипыч: друг у дружки списывать? И зачем, главное?

Профессор. Ох, Гена, и словечки же у тебя! Ладно, об этом потом. А пока скажу только, что у некоторых басен история, пожалуй, еще подлиннее. Ну, вот, например, помнишь такую – «Дуб и трость»?

Гена. Помню. Мы ее проходили. Там рассказывается, как росли рядом дуб и трость – ну, то есть тростник, тростинка, – и как дуб вдруг начал хвалиться. Ты, говорит, бедняжка, от самого

слабого ветерка и от того гнешься, а я наоборот: мне все грозы хоть бы что. Ну, тростинка ему отвечает, что он ее зря жалеет: она хоть гнется, да зато не ломается. А в конце… Погодите, я, кажется, даже до сих пор помню, как там у Крылова. Минуточку… Вот, вспомнил!

«Едва лишь это Трость сказала, Вдруг мчится с северных сторон
И с градом, и с дождем шумящий Аквилон.
Дуб держится – к земле Тростиночка припала….»

(Нет, все-таки запнулся. Пробует вспомнить.) Дуб держится… Дуб держится…

Профессор. Ладно, давай напомню:

«Бушует ветр, удвоил силы он,
Взревел и вырвал с корнем вон
Того, кто небесам главой своей касался
И в области теней пятою упирался».

Гена. Точно!

Профессор *(не без иронии, конечно)*. Спасибо за комплимент. Так вот. Сюжет этой басни возник еще в шестом веке – заметь, до нашей эры – у древнего грека Эзопа. Потом, как водится, про дуб и трость писали: во Франции тот же Лафонтен, а у нас… загибай пальцы… Сумароков, Нелединский-Мелецкий, Княжнин, Дмитриев, Хвостов, Крылов…

Гена. Шесть!

Профессор. Куда торопишься? Разве это все? И после Крылова басни на тот же сюжет сочиняли те, про которых ты небось даже и не слыхал: баснописцы Бенитцкий, Иванов, Маслович, Зилов…

Гена. С ума сойти! И охота же им была одно и то же повторять!

Профессор. Или, как ты высказался, списывать друг у дружки? Нет, дорогой. Они – или, точнее, лучшие из них – не только не списывали и не повторялись, но, напротив, говорили каждый свое. По-своему. И даже спорили один с другим!

Гена. Шутите, Архип Архипыч? Писали тысячу лет одно и то же – и спорили? Интересно, как это у них получалось? Может, объясните? *(Он так уверен в грядущем поражении профессора, что не скрывает ехидства.)* Если, конечно, сумеете…

Профессор *(как видно, насмешка Гены его задела)*. Ах, вот ты

как! Хорошо же. Передай-ка мне книгу. Спасибо. Итак, открываем ее, ну, скажем, на странице 92. Сумароков. Восемнадцатый век. Басня «Дуб и Трость».

«Дуб Трости говорил:
«Конечно, Трость,
Тебе долгонько рость...».

(Обрывает самого себя, то есть, вернее, Сумарокова.) Впрочем, знаешь, Гена, что мне пришло в голову? Поскольку, как я вижу, ты заранее настроен скептически, а во всяком споре нужен арбитр, давай и мы такого найдем.

Гена. Пожалуйста. Только кого?

Профессор. Да есть у меня одна кандидатура. Правда, тебе она может показаться несколько неожиданной, но тем лучше... Словом, собирайся! Отправляемся в гости... Сейчас сам увидишь, к кому.

Да, надо признать: догадаться, кого Архип Архипыч выбрал в арбитры, было бы нелегко. Это совсем не тот литературный персонаж, к разуму и сердцу которого нам с вами захотелось бы обратиться для решения спора. Короче, это Павел Афанасьевич Фамусов.

Фамусов *(пока мы видим, вернее сказать, слышим его в самом что ни на есть привычном положении).*

Петрушка, вечно ты с обновкой,
С разодранным локтем.
Достань-ка календарь,
Читай не так, как пономарь,
А с чувством, с толком, с расстановкой.
Постой же. – На листке черкни на записном,
Противу будущей недели...

Но тут от его домашнего благодушия не остается и следа. Он резко меняет свой тон, да и не только тон. Слов, которыми он вот-вот заговорит, не найдешь в комедии Грибоедова, и (что уж там скрывать?) с грибоедовскими им не тягаться. Ничего удивительного: это плоды того эксперимента, который проводит Архип Архипович, а он – не поэт. Он всего только профессор.

В общем, вот что кричит этот переменившийся Павел

Афанасьевич; хорошо, хоть в рифму с тем, что сказал раньше.

Что это? Кто? Ко мне, без спросу, в дом?
Как вы проникли? Как посмели?

Профессор. Вы, разумеется, правы, Павел Афанасьевич! Это с нашей стороны непростительная дерзость. Но позвольте объясниться. Дело в том, что у нас с моим юным другом возник вопрос, который требует немедленнейшего разрешения. И я подумал: Фамусов, именно Фамусов, никто иной, как Фамусов, способен нам помочь!

Фамусов *(смягчается, потому что при всем своем уме падок на лесть, хотя, как скоро выяснится, Архип Архипович не кривит душой. Ну разве чуть-чуть преувеличивает).*

Взаправду так? Вам надобен совет?
Премного удивлен: ведь наш новейший свет,
Увы, таков,
Что стариков
Не токмо чтить, а слушать-то стыдится...
Что ж, коли надо, я помочь готов.
Прошу, сударь, садиться.

Профессор. Благодарю. И позвольте сразу к делу. Я полагаю, Павел Афанасьевич, вам известно имя Александра Петровича Сумарокова?

Фамусов.

Известно ли? Вы, сударь мой, шутник!
Кого ж тогда и знать? Не ту ль ребячью стаю,
Не авторов ли новомодных книг,
На коих разве Чацкие взрастают?
Нет, Сумароков был не то, что ныне, –
Он государыне служил Екатерине!
А как писал! Как величав был слог!
Ну, кто б из нынешних сравняться с этим мог?

(Декламирует торжественно и прочувствованно.)

«Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна!
О, если бы со мной погибла вся вселенна!»

Профессор. Я очень рад, что вы так хорошо знаете трагедию Сумарокова «Дмитрий Самозванец». Но нас сейчас больше занимает совсем иное его сочинение. Басня «Дуб и Трость». Если помните, в ней идет спор между несгибаемым дубом и тростником, который готов гнуться при самом слабом дуновении самого слабого ветерка. А в финале вдруг налетает Борей, или Аквилон, – так греки и римляне, а за ними стихотворцы именовали суровый северный ветер, – и вот…

Фамусов.

Неужли память ваша покороче,
Чем воробьиный нос? Не я ли вам сказал:
Мной Сумароков чтим превыше прочих!
Я с детства твердо помню сей финал
И с той поры не позабыл нимало.
Вот он!

(Патетически, всеми силами души и голоса выражая отвращение к Дубу.)

«Трость гнется. Сила ветрова пропала.
А он на гордый Дуб жестокость устремил.
Дуб силен; но того сил ветра не имеет,
А гнуться не умеет;
Ударил ветр и Дуб тотчас переломил.
Крепчайша сила древо сшибла,
Дуб пал – и Дуб погиб, спесь пала – и погибла».
А? Слышите ль, что говорит поэт?
Не будь спесив и горд – в том пользы вовсе нет.
А коли вовремя при случае согнешься,
То в милости царей не ошибешься.

Гена. Ну, Архип Архипыч, хорошенького вы арбитра выбрали! *(Фамусову.)* Значит, по-вашему, лучше уж подхалимом быть, чем гордым? Да?

Фамусов *(как говорится, возвращаясь на круги своя).*

Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?

Гена. Знаем, знаем! Читали. Сейчас про своего дядю, про Максима Петровича рассказывать начнете. И про то, как он на золоте едал, и как при Екатерининном дворе служил…

Профессор. Гена, не перебивай старших!

Но он напрасно беспокоится: Фамусова перебить не просто.

Фамусов.

…Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб:
На куртаге ему случилось обступиться;
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой…

Гена *(презрительно).* «Был высочайшею пожалован улыбкой…» Говорю же, читали! И главное, нашли чем хвастаться!.. Хотя вам ведь только такие и нравятся, кто почище любого тростника гнется. Вот именно – вперегиб! Молчалины всякие. Льстецы, хитрюги, трусы, твари!

Фамусов.

Ах! боже мой! Он карбонари!

Профессор. Что вы, Павел Афанасьевич, мой юный друг просто бывает невоздержан на язык. *(Тихо.)* Гена, возьми себя в руки, а то наш опыт сорвется… Если позволите, вернемся к прерванному разговору. Стало быть, басня Александра Петровича Сумарокова оказалась вам очень близка, ну, во всяком случае, именно так вы ее восприняли. А что вы скажете о басне другого поэта того же восемнадцатого века, Якова Борисовича Княжнина? Я имею в виду басню под тем же названием.

Фамусов.

Сей басни не упомню. Если ж речь
Об сочинителе, он вел себя опасно.
Императрица вовсе не напрасно
Трагедию его велела сжечь.

Гена. Как сжечь? Какую трагедию? Это вы о чем?

Профессор. О том, что Княжнин был для своего времени человеком смелым, вольнолюбивым, был врагом деспотизма, и его трагедию «Вадим Новгородский», в которой он обличал власть тирана, действительно сожгли рукой палача по приказанию Екатерины II. Да и не в одной трагедии дело. Взять хоть ту же

басню. Ну, сюжет ее, в общем, похож: под жестоким ветром гнется послушный тростник и ломается горделивый дуб.

Фамусов.

Отрадно слышать, что в конце концов
Княжнин, бунтарь, и тот отринул гордецов.

Профессор. Отринуть-то он их отринул, только вот каких?

Гена. Вы что имеете в виду?

Профессор. Только то, Гена, что сам гордый, кичливый дуб в басне Княжнина не просто некий спесивец, как у Сумарокова. Автор его прямо именует «знатным господином», не иначе. Вельможей, чиновная спесь которого Княжнину именно потому и противна, что она чиновная. И больше того! Тут и тростник, и даже могучий, свирепый, безжалостный ветер изображены весьма и весьма, как говорится, нелицеприятно. Вот как:

«Тирану этому уклончивая Трость,
Опять согнув хребтову кость,
Покорно бьет челом, ему упавши в ноги».

Понимаешь? Ветер – тиран, деспот. А тростник, смиренно гнущий перед ним хребет, это...

Гена. Подхалимы! Ну те, которые «вперегиб»!

Профессор. Да. Рабы. Холопы.

Фамусов.

Нет! Вижу я, былой урок Бунтовщику сему не впрок.
Что толку, что сожгли его писаний плод?
Ему бы самому плетей отведать!
Да он властей не признает!
Он вольность хочет проповедать!

Профессор. Что ж, с последним не могу не согласиться. Да, замечательный русский писатель Яков Княжнин хотел проповедать вольность, в том числе в своей басне «Дуб и Трость», которая внешне так похожа на сумароковскую. Он, тираноборец, просто не мог не наполнить старинный сюжет собственными страстями и мыслями, хотя на этот раз тот вроде бы и остался неприкосновенным...

Гена. Что значит: на сей раз?

Профессор. А то и значит, что иногда новые, современные

мысли заставляют автора обновлять и привычный, традиционный сюжет.

Гена. Например?

Профессор. Эк тебя любознательность вдруг одолела! Ну, возьмем, к примеру, прекрасную басню талантливого, умершего совсем молодым и, к сожалению, теперь мало известного поэта Александра Петровича Бенитцкого...

Гена. Смотрите! Его точь-в-точь как Сумарокова звали!

Профессор. Да. Но только это и совпадает. Свою басню он написал в иную эпоху, в начале девятнадцатого века. Да и басня-то совсем, совсем другая, начиная с того, что Бенитцкий, хоть и брал за основу все тех же Эзопа и Лафонтена, но даже назвал ее не так, как другие: «Кедр и Лоза».

Гена. Понятно! Кедр, значит, вместо дуба, а лоза вместо трости?

Профессор. Угадал. А ко всему прочему то, что в басне, вернее, в баснях «Дуб и Трость» происходило в самом конце, автор перенес в начало. То есть взял да и сразу сообщил, что грозный северный Борей уже сокрушил непреклонный Кедр и пощадил гибкую Лозу. А уж спор между ними, наоборот, происходит не до роковой бури, но после нее. И не могучее дерево кичится перед тщедушной лозой, а та перед ним. Автор поменял их ролями.

Гена. Интересно... А зачем он все это переставил?

Профессор. Да именно затем, что новая, совершенно новая мысль принудила его это сделать. Послушай, что говорит упавшему Кедру торжествующая Лоза:

«...Переломил тебя Борей, а я осталась,
За то, что перед ним всечасно изгибалась,
Здорова и жива.
Мне памятны дедов премудрые слова:
«Гнись, внук! Не свалится с поклонов голова».

Гена. Опять – точно как Фамусов про своего дядю говорил!

Профессор. То-то и оно. А Кедр отвечает... Впрочем, на тебе книгу и читай дальше сам.

Гена. Давайте! *(Читает с воодушевлением.)*

«О, подлое растенье! –
С усмешкой Кедр сказал.
– Не новость для меня такое рассужденье:
Иначе никогда Лозняк не поступал;
Пред всяким ветерком хребет ты нагибал

И, в грязь ложась лицом, был очень тем доволен,
Что мог бесчестием бесчестну жизнь спасти.
Всяк действовать, как хочет, волен:
Ты волен ввек позор нести...»

Профессор *(с гордостью, как будто это сочинил он сам).* Неплохо сказано, а?

Гена. Просто здорово!

«Иную Кедр стяжал от неба долю:
Я с силой получил и волю
Порывом бурь пренебрегать,
Собой бессильных заслонять,
И, где ты должен лечь, там должен я стоять.
Сто лет я жил, сто лет Борея презирал,
Но, старостью теперь ослаблен я моею,
Лишился мочи и упал.
Какая выгода от этого Борею?
Победа для него не славная ничуть!
Переломить он мог меня, но не нагнуть!»

Фамусов *(до сих пор он слушал молча, возможно, ему все это было любопытно и уж, во всяком случае, ново, но терпеть долее сил у него больше нет).*

«Переломить, но не нагнуть»? На что ж
Намек сей угрожающий похож?
И кто таков Борей? Ба! Уж не власть ли?
Не государь ли сам? Какие страсти!
Да это бунт! И где? В моем дому!
Эй, все ко мне! Петрушка, Ванька, Гришка!
Вон их отсюда с их смутьянской книжкой!
В полицию! Нет, сразу же в тюрьму!
На плаху их! В набат я приударю!
В Сенат подам! Министрам! Государю!

Гена. Так мы и испугались!

Фамусов.

Но я-то, я-то...
Есть ли на Руси
Хоть где такие простофили боле?

С кем речи вел? Какую дал им волю?
А вдруг кто слышал? Господи, спаси!

Гена. Ну, уж это я вам могу точно сказать. Нас сейчас столько народу слушает! Может, миллион!

Фамусов *(упавшим голосом)*.

Коль так, пропал.
Позора не укрыть.
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!

И на этом наши герои оставляют вконец перепуганного Павла Афанасьевича Фамусова.

Гена *(смеется)*. Ну и нагнали мы на него страху!

Профессор. Поделом ему. Зато теперь, надеюсь, ты догадался, почему я вынес басни именно на его суд? Ведь если бы не он с его темпераментом, с его, я бы сказал, нюхом на крамолу, боюсь, ты бы не сумел разглядеть огромной разницы в баснях, авторы которых, как, помнится, говаривал кто-то, только и делали, что списывали да повторялись.

Гена. Ладно, Архип Архипыч, чего старое вспоминать? Зато теперь мне действительно все ясно.

Профессор. Ну, ну! Так уж и все?

Гена. Конечно! Теперь-то я понял: то, что баснописцы все время повторяются... то есть я хочу сказать, один и тот же сюжет берут, не только им не мешает свое говорить, а, наоборот, даже помогает.

Профессор. Да? И чем же, по-твоему?

Гена. Как чем? Вы разве не замечали? Так ведь и в жизни всегда бывает. Придешь на какое-нибудь знакомое место – и сразу тебе в глаза бросится: ага, этого тут раньше не было. А это исчезло куда-то. Но почему бросится? Потому что место-то знакомое!

Профессор *(с невольным уважением)*. Смотри, и это понял! Ай да Гена! Только никогда не говори, что тебе все ясно. Так не бывает, а тут вообще дело куда сложнее.

Гена. В каком смысле? Вы что хотите сказать?

Профессор. Сказать?.. Давай-ка я лучше у тебя спрошу. Как по-твоему: в той крыловской басне, с которой и началось наше

сегодняшнее путешествие, – про Ворону и Лисицу, – что именно в ней происходит? Или еще проще: почему Ворона взяла вдруг да и каркнула? Что заставило ее совершить этот нелепый поступок? Какие, так сказать, чувства?

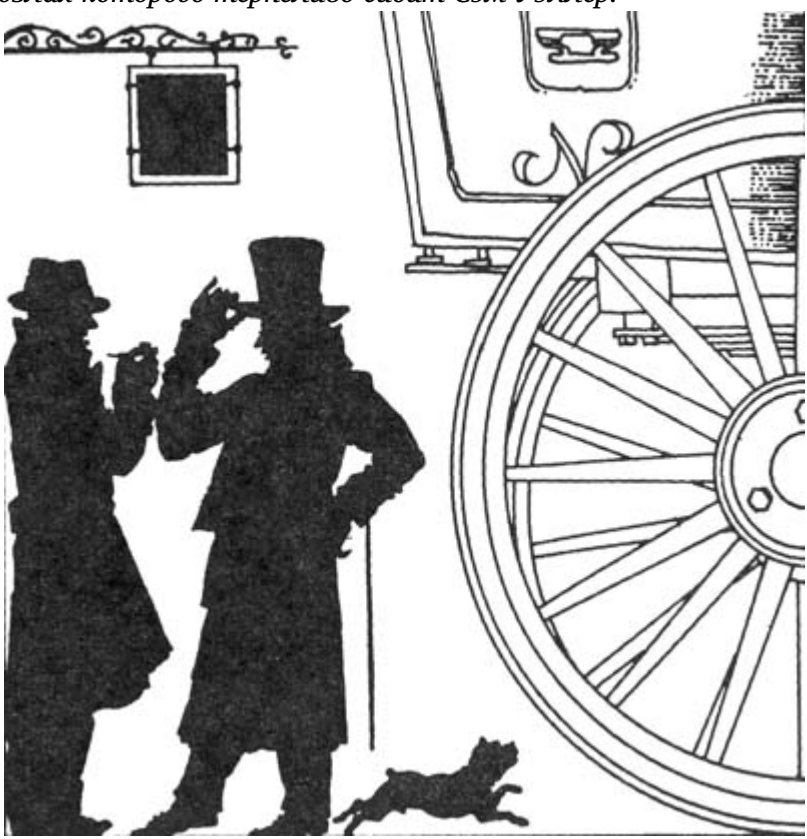
Гена. Ну-у, Архип Архипыч, это уж и в самом деле слишком просто.

Профессор. Ты думаешь? А мне кажется... Ну, ладно. Если ты у нас для такого простенького вопроса слишком умен, я переадресую его нашим юным слушателям. Может быть, они-то окажутся более снисходительными и снизойдут. То есть ответят!..

В ДЕЛО ВСТУПАЕТ ПОЧТОВЫЙ ДИЛИЖАНС

Вот на этот раз и начало путешествия, и место, откуда оно начинается, другие. Потому что и два главных действующих, можно даже сказать, руководящих лица – тоже другие. Словом, мы на квартире, но уже не Архипа Архиповича, а Шерлока Холмса. Той самой, всем известной, на Бейкер-стрит. Хозяин квартиры пребывает в состоянии своего знаменитого хладнокровия, зато его друг доктор Уотсон чем-то взбудоражен и даже взбешен.

А под самыми окнами квартиры стоит Почтовый Дилижанс, на козлах которого терпеливо сидит Сэм Уэллер.



Уотсон. Нет, Холмс, это уже чересчур! Это черт знает что! Это из рук вон! Это... Это...

Холмс *(очень спокойно)*. Что с вами, Уотсон? Откуда такая ярость?

Уотсон. И вы еще спрашиваете! Вы, которому доводилось разгадывать тайны баскервильской собаки и союза рыжих! Сокровищ Агры и пляшущих человечков! А теперь... Подумать только, какую работу поручает вам профессор Архип Архипович,

к которому я до сей поры – как выяснилось, напрасно – относился с непоколебимым уважением? *«Почему ворона каркнула?»* А? Недурно? Предложить расследовать это нам с вами, нам, чьи прежние приключения увековечены под совсем иными, горделивыми именами: «Шесть Наполеонов» или «Голубой карбункул»!..

Холмс *(миролюбиво)*. И все-таки успокойтесь, Уотсон!

Уотсон. А состав преступления? Лисица, видите ли, выманила у вороны сыр! Обыкновеннейшая рыжая лисица, хотя бы и из знаменитой басни, а не какой-нибудь гениальный шантажист! У вороны, а не у герцогини или премьер-министра! И кусочек сыра, а не бриллиантовое колье или документ государственной важности!

Холмс. Мне ли напоминать вам, мой разбушевавшийся друг, что нередко весь интерес расследования не в цене похищенного, а в обстоятельствах похищения?

Уотсон. Увы, Холмс! И тут не найти ни малейшего оправдания легкомыслию профессора, ибо вот они, эти обстоятельства... «Ваш вопрос совсем легкий», – пишет десятилетняя Лена Загуляева из села Чудиново. Слышите? Он легок даже для этой юной леди! Да и другие слушатели столь же нежного возраста отвечают уверенно и кратко. «Вороне было очень лестно слушать лесть лисы», – это еще одна Лена, из Москвы, по фамилии Каз-начеева. А вот что полагают на этот счет третьеклассник Костя Лапшин из города Дубна, горьковчанка Оля Иванова, Фая Теле-цова из села Кудряшово Московской области и мальчик из Барнаула, подписавшийся просто «Лобанов»: «Ворона каркнула от восхищения... Ворону заставило сделать этот поступок самолюбие и гордость... Ворона глупа... Ворона зазналась...»

Холмс. Заметьте, какое разнообразие ответов, Уотсон! Выходит, дело не такое уж простое?

Уотсон. Полноте, Холмс! Оно яснее ясного. И было таковым с самого начала. Это утверждаю не я, а Сережа Вавилин из Красноярска. «Я думаю, – пишет он, – что вопрос: «Почему ворона каркнула?» – не стоило даже и задавать. Ведь Иван Андреевич Крылов с первой строчки своей басни все объяснил:

> «Уж сколько раз твердили миру,
> Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
> И в сердце льстец всегда отыщет уголок».

Ну, Холмс? *(Думая, что очень остроумно шутит.)* Может быть, вас не убедил и сам баснописец?

Холмс. Признаюсь, Уотсон, не убедил.

Уотсон. Однако! Выходит, вы все же хотите начать расследование?

Холмс. Нет, мой недогадливый друг. Я его не начну.

Уотсон. Слава богу! А уж я было подумал...

Холмс. Да! Я не стану проводить расследования. Этим займетесь вы.

Уотсон. Я?! Надеюсь, вы шутите, Холмс?

Холмс. Ничуть, Уотсон. Напротив. Я дам вам право и шанс доказать, что Шерлок Холмс наконец-то ошибся. Разве это не соблазнительно?

Уотсон *(неуверенно)*. Пожалуй, но... По правде говоря, я не убежден, что мне одному это по силам. Я нуждаюсь в помощи, притом со стороны человека весьма и весьма компетентного.

Холмс. За чем же дело стало? К вашим услугам целая армия литературных героев – выбирайте любого!

Уотсон *(ясно, что он подыскивает отговорки)*. Да, но кого именно? Прежде всего хотелось бы, чтобы этот человек принадлежал к эпохе Крылова...

Холмс. К какой, Уотсон? Крылов являлся как бы человеком двух эпох. Он был крупнейшим русским писателем и восемнадцатого и девятнадцатого веков.

Уотсон. Вот видите, какие затруднения! Но это только во-первых. Во-вторых же, было бы желательно...

Холмс *(ему уже надоела уклончивая нерешительность Уотсона)*. Знаете, мой осторожный друг? Стоит ли все рассчитывать заранее? Давайте без дальних слов усядемся в Почтовый Дилижанс и доверимся опыту и интуиции нашего славного Сэма Уэллера.

Уотсон *(ему приходится согласиться)*. Что ж, возможно, вы и правы... *(Очень громко.)* Сэм!!

Сэм Уэллер *(отзывается издали)*. Сэр?!

Уотсон. Запрягайте лошадей! Мы отправляемся путешествовать по русской литературе.

Сэм *(очень деловито)*. Пункт назначения, сэр?

Холмс. Там будет видно. Главное, правьте на столбовую дорогу. И, пожалуйста, побыстрее!

Сэм. Слушаю, сэр! «Люблю скорость», – сказал путешественник, падая в пропасть... Эй, красавцы!

Они уже в пути. Звучит веселая и безмятежная мелодия, та, которая у нас на радио всегда сопровождает в дороге Почтовый Дилижанс. И вдруг – шум, треск, лошадиное ржание и отчаянный крик Сэма Уэллера.

Тпру-

у! Стой, любезные! Эй ты, раззява! Куда правишь? Осади назад, почтеннейший! Придержи своих одров!

Кучер встречной кареты. Каких отроф? Сам расяфа! Пошел! Форт! Тай тороку, шорт попери!

Уотсон. Что такое? Кажется, мы попали не в Россию, а в Германию?

Холмс. Опомнитесь, Уотсон! С чего бы немцу в своей собственной стране говорить на ломаном русском? Нет, мой друг, Сэм Уэллер не сбился с дороги, а уж я-то сразу узнал этого забавного кучера. Это Вральман! Один из незадачливых учителей знаменитого Митрофана Простакова. И мой дедуктивный метод позволяет мне сделать заключение, что в карете, на козлах которой он восседает, едет никто иной, как не менее знаменитый герой комедии «Недоросль» Стародум.

Стародум *(кряхтя, вылезает из кареты)*. Что, чертов басурман?.. А ну, подай руку! Опять наехал на кого-то? Разучился править лошадьми за годы-то, что бездельничал у бездельников!

Вральман. Не исфоль кнефаться, мой патюшка! Шиучи с прешним коспотам, касалось мне, што я фсе с лошатками. А теперь, клятя на лошаток, тумаю, што я фсе с коспошой Простакофой: никак не укатаешь, кута пофернут!

Стародум. Ишь, на лошадок свалил! На бессловесных-то! Вожжи бы держал крепче!.. Простите, господа! Во всем виноват мой лодырь кучер, ужо я его...

Вральман. Патюшка, прости, рати пока! Польше не путу! Последни рас!

Сэм. «Начинаю новую жизнь», – сказал мошенник, угодив за решетку!

Уотсон. Простите вашего кучера, господин Стародум! Ведь именно благодаря его неловкости мы встретили на дороге именно вас, о котором по всей Стране Литературных Героев идет слух как о воплощении разума и здравого смысла. А мне нужно суждение как раз такого человека!

Стародум *(хочет, но не может скрыть того, что польщен)*. Мое? Что ж... Мое суждение ведь, сударь, старинное... Но об чем же?

Уотсон. Вам, конечно, знакома басня Крылова «Ворона и Лисица»?

Стародум. Басня? А разве сей господин Крылов промышляет и в этом роде? Слышно, он ходит в журналистах да ставит на театре комедии, а чтоб басни... Нет, не упомню!

Уотсон. Ах, какая жалость! Что же теперь делать? *(Жалобно.)* Холмс!

Холмс. Не волнуйтесь, Уотсон, я все привык предусматривать и прихватил с собой том крыловских басен. Вот, не угодно ли прочитать?

Стародум. Извольте… *(Листает книгу.)* Экая варварская печать! Сразу и не разберешь. Ни ятей! Ни еров! Видно, типографщики это спьяну набирали… *(Бормочет под нос, читая, как говорится, про себя.)* «Вороне где-то бог… Лисица видит сыр… Голубушка, как хороша… Спой, светик… Сыр выпал – с ним была плутовка такова». *(Захлопывает книгу и отчеканивает решительно.)* Сие пиитическое творение, сударь, противуречит здравому смыслу!

Уотсон. Неужели? По правде говоря, уж этого я как раз услышать не ожидал.

Стародум. Противуречит – и всенепременно! Судите ж сами. Кто в сем мире носит титло льстеца? Кому есть выгода и нужда льстить? Токмо существу зависимому, тому, кто унижен и побежден, кто просит милости или подаяния. Не так ли?

Уотсон *(поспешно)*. Да, разумеется! Вы правы.

Стародум. А тут? Возможно ль сказать, чтоб лисица сия была от вороны зависима либо выпрашивала у нее подаяния? Нет! И совсем напротив того: оная лисица потешается над сущеглупой птицею; она – господин положения, и сами слова ее, восхваляющие воронью красу, суть ничто иное, как слова издевательские.

Уотсон. Какое тонкое замечание! Вы слышите, Холмс?

Холмс. Слышу, Уотсон. И даже могу добавить, что, очень возможно, Иван Андреевич Крылов не стал бы с этим спорить. Во всяком случае, есть свидетельство современника, что он однажды сравнил с этой лисицей себя самого… Вы удивлены? Но так было. Видите ли, в то время жил один весьма скверный стихотворец, граф Хвостов, человек богатый и недалекий. Так вот, Крылов рассказывал, посмеиваясь, что иной раз покорно слушает стихи, которые обрушивает на него жаждущий похвал граф, похваливает их, а затем одалживает у разомлевшего графа деньги взаймы, – Крылов вечно в них нуждался…

Уотсон. Погодите! Значит, он одобряет действия своей лисицы?

Холмс. Нет. Но по крайней мере, если бы он стоял, так сказать, на стороне вороны, это сравнение вряд ли пришло бы ему в голову.

Стародум. Всеконечно бы не пришло! А коли в начале своей басни сочинитель объявляет Лисицыны деяния гнусными и вредными, после же смеется более над вороною, нежели над лисицею, что из сего заключить можно? Токмо то, что ему не

удалось свести концы с концами и, стало, согласить мораль свою с самой рассказанною историей. Более! Мы видим воочию, что ворона наказана справедливо и по заслугам ее; лисица ж сумела весьма затейливо ее проучить...

Уотсон *(он в восхищении).* А, Холмс? Каково? Правда, не стану скрывать: я, разумеется, не сумел бы быть таким логичным, но ведь в сущности я был прав! Расследование тут попросту ни к чему. Для него, повторяю, нет сколько-нибудь серьезного повода!

Стародум. И откуда ж было бы ему взяться? Вся беда сочинителя сей басни, что он в ней более пиит, нежели философ. А басенный род еще древние относили токмо к области философии – отнюдь не поэзии.

Холмс *(словно про себя и для себя, но, кажется, не прочь, чтобы его услышали и другие).* Как говорит Лессинг...

Стародум. Вы что-то изволили присовокупить, сударь?

Холмс. Нет, пустяки. Я всего лишь заметил, что точно ту же мысль доводилось высказывать великому немецкому философу и драматургу восемнадцатого века Готхольду Эфраиму Лессингу.

Стародум. Не имею чести быть в знакомстве с господином Лессингом, но коли он так полагает, сей немец бессомненно заслуживает одобрения. Не то что мой Вральман... Ну, что уставился? Полезай на козлы, тетеря! Да гляди, в канаву меня не опрокинь!

Вральман. Не песпокойся, патюшка! Полошись на ферного слуку своефо! Калоушки сфоей не пошалею, а тепя не вытам!

Сэм. Правильно, коллега! «Я люблю хозяина бескорыстно», – сказал слуга, когда ему за нерадивость уменьшили жалованье!..

Шерлок Холмс, Уотсон, Сэм едут дальше одни.

Уотсон *(очень довольный собой и своей, как ему кажется, победой).* Полагаю, Холмс, моя миссия увенчалась успехом? Вы посрамлены, мой друг!

Холмс *(удивился совершенно искренне).* Я?!

Уотсон. А кто же еще? Не притворяйтесь, пожалуйста, не притворяйтесь! Не вы ли сейчас признали, что приговор этой басне, автор которой не сумел следовать даже самой простой логике, и, стало быть, вам, ее защитнику, вынес сам великий Лессинг?

Холмс. По-вашему, великие не могут быть не правы?

Уотсон. Отчего же? Но кто на сей раз может опровергнуть философа? Может быть, вы? В таком случае простите, Холмс: вы знаете, как я ценю ваш талант криминалиста, как я не перестаю удивляться обилию разнообразных сведений, почерпнутых вами в

Стране Литературных Героев, однако есть вопросы, которые...

Холмс *(прерывает его)*. Речь совсем не обо мне, Уотсон. Слова Лессинга опровергла сама жизнь. Сама развивающаяся литература. И, в частности, появление басен Крылова.

Уотсон. Ах, Холмс, к чему упорствовать? Не лучше ли честно признать свое поражение? Ведь только что Стародум так логично и трезво...

Холмс. Слишком трезво. Слишком логично.

Уотсон. Что-о? Шерлок Холмс против логики? Право, не думал дожить до такой минуты!

Холмс. Однако дожили, Уотсон. Да! Ни трезвости, ни одной только логики бывает недостаточно, чтобы оценить поэтическое произведение.

Уотсон. В том-то и дело, что всего лишь, увы, поэтическое! В то время, как Лессинг настаивал...

Холмс. Я вижу, нам не сговориться, Уотсон! Вам нужно нечто наглядное. Хорошо. Так и будет... Сэм! Поворачивайте к ручью!

Уотсон. К ручью? Зачем?

Холмс. Не надо лишних вопросов. Сэм понял меня с полуслова.

Сэм. «Я понял бы вас даже без слов, сэр», – сказал сынишка, когда отец его выпорол и приказал больше не бездельничать. Эй, любезные!..

Едут в молчании.

Холмс *(вдруг, как бы ни с того ни с сего).*

«У сильного всегда бессильный виноват;
Тому в истории мы тьму примеров слышим...»

Уотсон *(он даже вздрогнул)*. Что с вами, Холмс? *Вы* заговорили стихами? Переутомление? Дайте-ка ваш пульс.

Холмс. Стихами Крылова, Уотсон. Я просто хочу напомнить вам басню «Волк и Ягненок», чтобы дальнейшее не застигло вас врасплох. *(Продолжает как ни в чем не бывало.)*

«Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк;
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит...»

Стоп, Сэм! Приехали. Теперь, Уотсон, слушайте и смотрите!

Последние слова Шерлок Холмс произносит с особой многозначительностью, и нам с вами только остается представить себя на месте доктора Уотсона, который все происходящее видит воочию.

Волк.

Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву!

Конечно, то, что вам сейчас предстоит прочитать, вернее, перечитать, памятно решительно всем. Но я не прошу прощения за то, что устраиваю встречу с басней, с детства знаемой назубок и, как все зазубренное, может быть, смертельно наскучившей. Наоборот. Я очень хотел бы, чтоб вы попробовали отнестись к происходящему так, как будто ничего подобного никогда не читали и ни о чем подобном не слыхивали, то есть увидеть и услышать все это словно впервые, оказавшись, повторяю, в положении нашего доктора Уотсо-на, который, собственно, затем нам здесь и нужен, чтобы мы примерились к его неподготовленному взгляду, он-то, как можно быть уверенными, крыловских басен в детстве, в отличие от нас, не зубрил. Услышать впервые и так, как будто все это случилось на самом деле, ведь в Стране Литературных Героев все на самом деле, да и герои басни «Волк и Ягненок» не какие-нибудь условные фигурки, вроде шахматных пешек, но тоже всамделишные. Если вы именно так, свежо и непредвзято, вчитаетесь в басню Крылова, то, возможно, услышите: ответ Ягненка, который сию секунду последует, трудно произнести иначе, чем хотя и с робким (попробуйте здесь совсем не испугаться!), но с несомненным достоинством. Ягненок ведь говорит чистую правду и, поскольку уж взялся ее говорить, значит, на эту правду надеется. Верит, что Волк поймет напраслину своих обвинений. В общем, слушаем. Вслушиваемся...

Ягненок.

Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит;
Питья мутить ему никак я не могу.

Волк.

Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!

Ягненок *(искренне желая объяснить Волку, что тот обознался).*

Помилуй, мне еще и от роду нет году!

Его грозный собеседник не то чтобы смутился, но, во всяком случае, его беспардонная наглость опять наткнулась на какое-то препятствие.

Волк. Нет году, говоришь? *(Наверное, человек здесь почесал бы в затылке: дескать, черт побери, что бы еще такое соврать? А, все равно, хоть бы и этак.)*

Так это был твой брат.

Ягненок.

Нет братьев у меня.

Волк *(вот тут уж он окончательно решает плюнуть и перестать притворяться, будто наказывает Ягненка за что-то).*

Так это кум иль сват,
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;

Но я с тобой за их разведаюсь грехи!

Ягненок.

Ах, я чем виноват?

Волк.

Молчи, устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...

Уотсон. Эй! Что вы делаете! Прекратите это насилие!

Холмс. Ах, дорогой друг, не хватало еще позвать на помощь полисмена. Увы! Басня заканчивается вполне недвусмысленно: «Сказал и в темный лес Ягненка поволок». Могу вас утешить лишь тем, что, несмотря на печальный финал, Ягненок, впрочем, как и Волк да и решительно все, малые и большие обитатели Страны Литературных Героев, бессмертен...

Уотсон. И все же как он посмел? На наших глазах!..

Холмс. Ну, ну, держите себя в руках. Скажите лучше, не заметили ли вы и в этой басне каких-нибудь нарушений логики?

Уотсон *(раздраженно и даже оскорбленно)*. О чем вы, Холмс? После того, как я стал свидетелем этой леденящей душу драмы, мне, извините, не до вашей логики!

Холмс. Как вы сказали? До *моей!* Быстро же вы забыли уроки Стародума!

Уотсон. Ах, при чем тут Стародум? Он говорил совсем о другой басне!

Холмс. Но мог бы сказать и об этой... *(Очень похоже изображая Стародума.)* «Ежели б сочинитель полагал своей целию в точности следовать морали сей басни, он, всеконечно, показал бы токмо то, как могущий Волк растерзал беспомощного Агнца. И все. Сего было бы с лихвою достаточно!»

Уотсон *(на этот раз ему не до восхищения)*. Право, это неуместные шутки!

Холмс. Какие шутки, Уотсон? Ведь басня «Волк и Ягненок» в самом деле *совсем не о том,* что провозглашено в ее первой строке. Вдумайтесь, мой впечатлительный друг! Ну, разве стоило бы рассказывать всю эту историю только затем, чтобы обосновать простейшую мысль: «У сильного всегда бессильный виноват»? И разве смысл басни не в тех лживых обвинениях, которые бросает

Ягненку Волк?

Уотсон. Да... Пожалуй... Хотя, по правде говоря, мне сейчас трудно сосредоточиться. Я еще не остыл от волнения.

Холмс. Еще бы не волноваться! То, что мы с вами видели и слышали, поистине драматично, как вы верно заметили. И совсем непросто, я бы даже сказал – странно! Казалось бы, мы должны всего-навсего радоваться, когда Ягненок ловко и убедительно опровергает все, что на него взваливает Волк. И побеждает в споре!

Уотсон *(горячо)*. Вот именно! *(И тут же разочарованно.)* Да, но... Но почему же его победа не радует? Напротив, вызывает тревогу?

Холмс. Потому, что здесь-то и заключен удивительный секрет крыловской басни. Да, Ягненок *как бы* побеждает, но мы все время помним, что победа его не спасет. Больше того! Каждый ответ Ягненка, безоговорочно доказывая его правоту, приближает беднягу к гибели. И когда Волку уже совсем нечего возразить, в ход идут не слова, а клыки и когти.

Уотсон. Ага! Значит, речь лишь о том, что богатый, многообразный смысл басни невозможно свести к одной-единственной строчке морали?

Холмс. Браво, Уотсон! И именно для того, чтоб вы это поняли, я и втянул вас в расследование, казавшееся вам бессмысленным.

Уотсон. Да, теперь я все понял! Хотя должен признать со стыдом, что если бы не ваш блистательный, не побоюсь сказать, гениальный анализ происшедшего в басне «Волк и Ягненок», способный доставить новые лавры даже тому, кто когда-то раскрыл тайну баскервильской собаки и шести Наполеонов, я бы никогда... Но я вижу, вы смущены моими словами, Холмс? Право, это ложная скромность!

Холмс *(не слишком охотно)*. Не в скромности дело, мой красноречивый друг. Просто переубедил вас не один я. И даже не совсем я...

Уотсон. Не вы? А кто же, позвольте вас спросить?

Не будем забывать, что Холмс привык всегда и во всем быть первым, свысока поглядывая на каких-нибудь там инспекторов Скотланд-Ярда. Но он честен, и поэтому, если даже нехотя, заставляет себя сказать чистую правду.

Холмс *(небрежно, как о сущем пустяке)*. Выдающийся русский ученый Выготский и его книга «Психология искусства»...

Уотсон *(которому очень хочется поддержать репутацию*

своего друга и кумира). Что же! Тем более! Уже одно то, что вы при вашей необыкновенной занятости нашли время обнаружить и прочитать книгу, которая...

Холмс *(мужественно)*. Говоря совсем по правде, Уотсон, эту книгу передал мне через Сэма Уэллера наш друг Архип Архипович... Но не только в ней суть. Главное, что переубедило вас, – это ваше собственное волнение. Да, не удивляйтесь, Уотсон! То волнение, которое может быть вызвано только истинно художественным произведением. В чем была сила и новизна басен Крылова по сравнению с тем, как их писали во времена сурового Стародума? В том, что, беря стародавние сюжеты, которые должны были твердо доказывать ту или иную истину, ну, скажем, что люди падки на лесть, Крылов относился к ним *как поэт.* Как художник. Видел и открывал в них сложность подлинной человеческой жизни – вот почему из истории про Волка и Ягненка, рассказанной до него и римлянином Федром, и французом Лафонтеном, и русским Сумароковым, у Крылова вышла «маленькая *драма»,* как выразился все тот же Выготский...

Уотсон. Заметьте, Холмс, не только он, но и я!

Холмс *(великодушно)*. Разумеется, и вы, мой проницательный друг!

ГЕНА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Простимся пока с Почтовым Дилижансом. Закончился его первый (в этой книге) рейс, во время которого вы, между прочим, встретились с одним из чудес, возможных только в Стране Литературных Героев: Шерлок Холмс, в рассказах Артура Конан Дойла никогда не выказывавший интереса к так называемой изящной словесности, восполнил этот (без сомнения, недостойный его) пробел, и тут сумев проявить свой аналитический ум. Хотя от кого же и ждать невозможного, как не от него?

А сейчас и Гена, и все мы на пороге: он – квартиры Архипа Архиповича, мы – той области Страны Литературиш, которая даже для нее, где к чудесам не привыкать, слишком уж необыкновенна.

Гена. Архип Архипыч! Что это вы такое делаете?

Профессор. Письмо читаю. А почему это простое занятие так тебя удивило?

Гена. Так ведь на письма же у нас Шерлок Холмс с доктором Уотсоном отвечают. Что ж вы им и это не передали?

Профессор. Из жалости.

Гена. К кому это? К ним, что ли?

Профессор. Да нет... Впрочем, хватит задавать пустые вопросы. Возьми-ка лучше да и прочти вслух.

Гена. Пожа-алуйста... Трудно, что ли? Значит, так: «Здравствуйте, Архип Архипович и Гена! У меня к вам просьба. Я недавно прочитала книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» и слушала по радио отрывки из другой его книги, «Алиса в Зазеркалье». Эти сказки мне очень понравились, я много смеялась, а потом подумала: что же хотел сказать автор? К сожалению, я так и не нашла ответа. Книги веселые, но не может быть, чтобы Льюис Кэрролл написал их только для смеха. Наверное, в этой куче бессмыслиц все же есть какой-то смысл. Или я ошибаюсь? Надя Мальченко, город Пермь»... Все. Ну, и кого же вы тут пожалели?

Профессор. Тебя… Ну да, кого же еще? Я, увы, уже слишком взрослый человек, чтобы свободно чувствовать себя в Стране Чудес. А ты… Неужели ты согласился бы уступить это удовольствие Холмсу с Уотсоном? В общем, собирайся. Думаю, уж ты-то отыщешь там ответ на вопрос Нади Мальченко.

Гена *(он в этом совсем не уверен).* Вы считаете? Только я, вообще-то, не так уж хорошо эту Страну помню. Я Кэрролла давно читал.

Профессор. Не беда! Дорогу тебе там кто-нибудь да укажет – не пустыня, слава богу… Да, и прихвати с собой вот это!

Гена. А что это за коробочка?

Профессор *(несколько уязвленно).* Это тебе, дружок, не коробочка, а дистанционное управление нашей машиной. Если с тобой стрясется что-нибудь уж слишком… гм… чудесное, нажми кнопку – и вмиг очутишься рядом со мной.

Гена. Ну, ладно… Попробуем.

Профессор. То-то. Итак, настраиваю машину. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»… То есть виноват: на этот раз – «Гена в Стране Чудес»!

И – абсолютная тишина. Гена совершенно один.

Гена. Надо же – никого… А Архип Архипыч еще говорит: не пустыня. Как же не пустыня, когда… Ой! Что это в воздухе такое? Улыбка? Честное слово, улыбка! Только кто улыбается, не… *(Раздается негромкое «мяу».)* Смотрите, кот! Кот прямо из воздуха возникает и еще улыбается, зараза! *(Снова «мяу!», но уже обиженное и сердитое.)* Ой, извините! Это я нечаянно. Скажите, пожалуйста, как это у вас получается?

Кот. Мяу! Потому что я Чеширский кот.

Гена. Чеширский? Понятно. То есть, наоборот, ничего не понятно.

Кот. Ну, если тебе так уж хочется и если ты не будешь называть меня всякими нечаянными словами, я объясню. Видишь ли, ученые утверждают – а ученые знают все-все на свете, даже то, чего нельзя и не нужно знать, – что некогда в Чешире… Это такое местечко в Англии… Словом, там продавали сыр в виде улыбающейся кошачьей головы. Ясно?

Гена. Насчет сыра ясно. А насчет вашей улыбки не очень…

Кот. Мяу! Какой недалекий мяуальчик! Скажи, если ты съешь этот сыр, можешь ли ты утверждать, что при этом съел и улыбку?

Гена. Улыбку? Нет.

Кот. Ну, вот! Значит, улыбка может существовать отдельно. Как у мяу… как у меня: она появляется прежде, чем возникну я

сам, и остается после того, как я исчезну. Сейчас я начну исчезать, и ты это увидишь.

Гена. Постойте, постойте! Не исчезайте! Скажите, пожалуйста, что, у вас тут всюду так пустынно? И тихо?

Кот. Тихо? Пустынно? У нас? Мяу, какая чушь! Протри глаза! Ты возле самого домика Герцогини. Вон ее кухарка варит суп с перцем... *(Гена отчаянно чихает. Кот – удовлетворенно.)* Я же сказал: с перцем. А сама Герцогиня в это время...

Но, кажется, незачем и продолжать. Что-то со стуком и звоном – «бац!» – разбивается о стену.

Гена. Эй! Это что такое? Чуть мне в голову не попали! А поосторожнее нельзя?

Кот *(безмятежно)*. Не обращай внимяуания. Просто кухарка у Герцогини очень злая, а перец еще злее...

Гена. Апчхи!

Кот. Вот видишь?.. И поэтому она все время чем-то швыряется от злости: то тарелкой, то чашкой, то блюдом... *(«Бац! Бац! Бац!»)* А сама герцогиня в это время нянчит ребенка.

И тут начинается... То есть, что именно начинается, трудно даже сказать. Ревет-заливается младенец. Стараясь его перекричать, поет (если это можно назвать пением) колыбельную (если ее можно назвать колыбельной) Герцогиня (если только бывают такие герцогини). «Бац! Бац! Бац!» – это бесится кухарка. Да еще нашим Геной овладело непрерывное чихание.

Герцогиня.

Малютку-сына – баю-бай! –
Прижми покрепче к сердцу
И никогда не забывай
Задать ребенку перцу!
Баюкай сына своего
Хорошею дубиной –
Увидишь, будет у него
Характер голубиный!

Гена *(выкрикивает между приступами чихания)*. Да перестаньте вы... чхи!.. швыряться! Я вам, вам... чхи!.. говорю! *(«Уа-а!Уа-а!Уа-а!» – это младенец. «Бац! Бац! Бац» – кухарка.)* Ну вот, вы же своей тарелкой сейчас чуть-чуть ребенку нос не расквасили! Чхи!..

Герцогиня *(очень многозначительно).* Если бы никто не совал *своего* носа в чужие дела, мир завертелся бы куда быстрей, чем сейчас.

Гена *(справившись наконец с чихом).* Во-первых, никуда я его не сую. А во-вторых, чего ж было бы хорошего, если бы Земля быстрее вращаться стала? Ночь бы с днем перемешалась, вот и все! Если хотите знать, то от вращения...

Герцогиня. Кстати, об отвращении. Таких отвратительных мальчишек, как ты, надо казнить.

Гена. Самих вас надо... *(Младенец, кажется, лопнет от вопля).* Да что же это вы с ребенком-то творите? Разве же так баюкают? Вы из него всю душу вытрясете!

Герцогиня. Как обращаться с моим малюткой, я знаю лучше всех на свете! *(Опять запевает.)*

Уж я-то деточку мою
Лелею, словно розу!
Уж я его – баю-баю,
Как сидорову козу!

Гена *(пытаясь перекричать и песню, и «бац! бац!», и «уа! уа!»).* Говорю вам, перестаньте его трясти!

Герцогиня. Ах, вот как? Ну, если ты это умеешь лучше меня, тогда и нянчись с ним. На! А я приглашена на крокет к королеве. Но берегись, если он начнет у тебя вести себя по-свински!

Гена. Ну и идите! И пожалуйста! У меня-то ему все-таки спокойнее будет... *(Младенец кричит безостановочно.)* Эй, слушай, не ори! Ну, чего хочешь? Песенку, что ли, тебе спеть? Баю-баюшки-баю, не ложися на краю... Как там дальше-то? Ну, и влип же я! Что мне с ним теперь делать? Хоть бы конфетка с собой была... *(Просительно.)* Слышишь? Ну, не ори же!..

В голосе его столько самой настоящей мольбы, что неудивительно: младенец вдруг послушался. Но как? Орать-то он перестал, зато захрюкал. Самым что ни на есть натурально-свинским образом: «хрю-хрю-хрю!»

Ты чего? Я тебя спрашиваю: ты чего это захрюкал? Что ты, поросенок, что ли? Тогда уж лучше ори! С ума сойти! Ну и ну! Ребенок в поросенка превратился! И пятачок, и копытца, и хвостик даже! Эй, эй, стой! Куда? *(Слышно, как поросенок, визжа, бьется в его руках. Потом – еще один, последний взвизг и удаляющийся мелкий топот копытец.)* Сто-ой!.. Нет, хватит с меня! Ноги моей здесь больше не будет! Где моя коробочка?

И, как было ему обещано, Гена в один миг телепортирует-ся – так выражаются в научно-фантастических книгах. У нас тут никакой фантастики нет, все чудеса самые что ни на есть обыкновенные, и мы можем выразиться проще: раз – и там! То есть опять рядом с профессором.

Ну, Архип Архипыч, это не Страна Чудес, а сумасшедший дом какой-то! Знаете, что со мной было? Иду я – и вдруг...

Профессор. Да успокойся, Гена! Я ведь все слышал.

Гена. Как? Откуда?

Профессор. Вот тебе раз! По радио, конечно.

Гена. А-а, ну да! Я уже из-за этой Герцогини с ее поросенком совсем соображать перестал. Это ж надо такую бессмыслицу придумать!

Профессор. Ах, значит, и ты видишь одну бессмыслицу?

Гена. «И ты...». Смеетесь, да? Хотел бы я повидать чудака, который бы здесь хоть какой-нибудь смысл нашел!

Профессор. Тогда можешь смело разглядывать меня: я как раз из таких чудаков! Да, да! А есть чудаки и гораздо большие. Те, которые решительно в каждой из этих бессмыслиц готовы видеть смысл. Например, один английский исследователь творчества Льюиса Кэрролла считал, что сцена на кухне у Герцогини весьма сатирически изображает дом и семью викторианской Англии, то есть Англии прошлого века, времен правления королевы Виктории. Он даже уверял, что в этой сцене чуть ли не все вполне правдоподобно. Что должно быть на кухне? – спрашивал он. И отвечал: кухарка, очаг и котел с супом. Точь-в-точь как у Кэрролла. Может быть, странно, что Герцогиня сама баюкает своего ребенка? Но мы, говорит, живем в демократический век. Или то, что кухарка то и дело швыряется посудой? Что ж, в наши дни, объясняет ученый, есть немало дам, которые готовы вытерпеть еще и не то, чтобы только найти кухарку.

Гена. А то, что Герцогиня так ребенка трясет? Он от крика аж посинел!

Профессор. Ученый и на это отвечает: правила воспитания детей в Англии были весьма и весьма суровы. Их и впрямь драли как сидорову козу.

Гена *(не сдается)*. А то, что младенец в поросенка превратился, в этом, по-вашему, тоже есть смысл?

Профессор. Ах, Геночка! Разве тебе самому неизвестны случаи, когда из детей выходят порядочные поросята?

Гена *(он сражен обилием аргументов)*. Правда... А я и не

подумал… Значит, вся «Алиса в Стране Чудес» – это просто сатира, да?

Профессор. Ну, зачем так категорически? Просто не все в ней так уж бессмысленно, как тебе показалось. И больше того! Считается, что в самом пристрастии Кэрролла к странности, алогичности, абсурду, к тому, во что трудно и даже невозможно поверить, – в этом таится как бы прообраз научного мышления, которое еще не было свойственно его эпохе. И даже как бы предсказываются некоторые серьезные научные открытия.

Гена. Да? Это какие же?

Профессор. А что ты все меня допрашиваешь? Я же тебе сказал: используй преимущества своего возраста. Отправляйся опять в Страну Чудес и все разузнай сам. Помнится, там есть один персонаж, который очень гордится своей ученостью, – глядишь, он тебе и поможет…

Хорошему совету отчего не последовать? И в результате мы слышим чьи-то душераздирающие стенания и вздохи. Слава богу, что это пьеса для радио, иначе пришлось бы описывать внешность незнакомца, а это совершенно невозможно: он ни на кого и ни на что не похож. Ни зверь, ни птица, ни рыба, ни мясо. Не случайно все иллюстраторы Льюиса Кэрролла рисуют его по-разному.

Гена. Извините, вы, кажется, плачете? У вас горе?

Незнакомец *(он любит выражаться высокопарно и даже время от времени начинает говорить белым стихом. Как сейчас).* Да. Горе. И ужасное, увы.

Гена. А я вам не могу помочь?

Незнакомец. Увы, уже никто мне не поможет. А плачу я о том, что далеко уплыли годы моего ученья.

Гена. Ученья? А, наверное, вы-то мне и нужны! Как вас зовут?

Незнакомец. Ты спрашиваешь, как меня зовут? Это смотря по тому, кто зовет. Тот человек, что написал обо мне книгу, звал меня по-английски: Мок-Тартль. Иль иначе сказать: Лже-Черепаха!

Гена. Странно!

Незнакомец. Что ж странного сумел ты здесь узреть? На родине моего создателя из телятины делают суп, похожий на тот, что варят из черепахи. Вот он и называется: Мок-Тартль.

Гена. Значит, и мне вас так звать?

Незнакомец. Зачем же? Я люблю разнообразье. Вот ты откуда? Из земли какой?

Гена. Я? Из Москвы… Из России…

Незнакомец. О, там мне дали множество имен! Как только

там меня не называли! Всего мне и не вспомнить нипочем. И Фальшивая Черепаха, и Черепаха Квази, и Черепаха Телячьи Ножки. Но более всего мне по душе, как обозвал меня один придумщик, его зовут Борисом Заходером... В общем, он дал мне имя: Рыбный Деликатес.

Гена. Так как же мне-то вас называть?

Незнакомец. Я думаю: зови Деликатесом. С твоей стороны это будет весьма деликатно.

Гена. Ладно. Так и буду. Но я вот что хотел у вас спросить. Вы, кажется, человек ученый... То есть, конечно, не человек, а... В общем, вы учились и...

Но тут Деликатес вновь начинает издавать стоны.

Что с вами? Опять плачете?

Деликатес. О боже! Я опять припомнил школу, где плавал на уроках столько лет!

Гена. Ну и что? Я тоже в школу хожу и тоже иногда на уроках плаваю, но я же вот не плачу!

Деликатес *(насторожившись)*. Ты тоже ходишь в школу? Интересно, на каком же уровне твоя школа?

Гена. Хорошая школа! То есть обыкновенная. Средняя, в общем.

Деликатес. Но на каком уровне она стоит? От поверхности моря?

Гена. Точно не знаю, но, уж конечно, выше моря. Над водой.

Деликатес. Выше? Над водой? Ты серьезно?

Гена. Конечно, серьезно!

Деликатес (с *облегчением)*. Ну, тогда это несерьезно! Какое же тогда может быть сравнение с нашей, морской школой? Это верхоглядство, а не образование, вот что это такое!

По правде говоря, у Гены нет особого желания горячо отстаивать родную школу, но на всякий случай он решил обидеться.

Гена. Интересно знать, почему это вы так решили?

Деликатес. Да потому, что в школе, которая над водой, только поверхностные знания и можно получить. У нас мальков – и тех глубже учат. А уж кто хочет по-настоящему углуПиться в науку, тот должен добраться до самого дна. *(Самодовольно.)* Вот я сумел углуПиться и теперь имею Законченное Низшее Образование!

Гена. И что же вы в этой вашей школе учили?

Деликатес. О, кучу всяких наук! Ну, первым делом, конечно, учились Чихать и Пихать...

Гена. Вам что-то в рот попало? Вы хотели сказать: читать и писать?

Деликатес *(строго).* Если бы я хотел сказать: читать и писать, я бы так и сказал, будь уверен... Потом учили арифметику, всю насквозь: Почитание, Уважение, Давление и Искажение. Кроме того, раз в неделю приходила старая Мурена. Она нас учила разной муре: ну, там, Лживописи, Натюр-Мордам, Верчению Тушею...

Гена. Как-как?

Деликатес. Я бы показал, как, да что толку? Ведь по радио мою тушу все равно никто не увидит... Но главным прОпадавателем у нас был...

Гена *(не удерживается, чтобы не поправить).* ПрЕподавателем!

Деликатес. Кто учился в морской школе, я или ты? Конечно, прОпадавателем – они у нас вечно пропадали, то один, то другой. Что поделаешь, текучий состав... Так вот, главным прОпадавателем у нас был сущий Змей Морской. Между собой мы его прозвали Питоном.

Гена. Почему же Питоном, если он Морской?

Деликатес (с *негодованием).* Он был Питон! Ведь я ж его питоНец! И вот уж он-то мог углуПить все на свете, к чему ни прикасался. Он нам рассказывал про Страну Чудес, в которой мы живем, про ее Истерию и Биографию, про того человека, который ее придумал...

Гена. А, это уже другое дело! И что он про него рассказывал?

Деликатес. Спроси лучше, чего не рассказывал! Все! Он говорил, что наш автор был профессор Мать-и-Мачехи и придумал уйму всяких теорий. Например, Теорию Приносительности...

Гена. Относительности!

Деликатес. Нет, ты меня не собьешь! Не на того напал. Ясное дело, Приносительности. Ну, конечно, бывает на свете и Относительность, и даже совсем куда-нибудь Уносительность, да только кому же они нужны? Уж не знаю, как у вас, в вашей поверхностной школе, а мы глубже смотрим. Мы мелко не плаваем! У нас в тихом омуте – и в том черти водятся! Короче говоря, мы любим, чтобы нам приносили, а не относили или тем более уносили. Ишь, чего захотел!..

Гена. Да, я вижу, от вас толку не добьешься. Вы с вашим Змеем Морским совсем углуПились. Привет!..

Опять они вдвоем – Гена и Архип Архипович.

Слышали, что он нес? Будто Льюис Кэрролл что-то вроде теории относительности открыл!

Профессор *(смеясь)*. Да, бедняга Деликатес тут сильно преувеличил. Хотя маленькое зернышко истины и тут есть.

Гена. Так ведь теорию относительности Эйнштейн открыл!

Профессор. Кто же спорит? Но, видишь ли, некоторые физики, как раз занимающиеся этой теорией, считают, что в одной из глав «Алисы в Стране Чудес» есть как бы маленькая наметка этого величайшего открытия. Его предчувствие, что ли... Да, не удивляйся! Ничего странного. Ведь путаник Деликатес прав. Льюис Кэрролл, а точнее, Чарлз Лютвидж Доджсон – это его настоящее, а не литературное имя – был не только сказочником-фантастом, но и профессором Мать-и-Мачехи... Фу ты, как привязчива эта путаница!.. Был профессором математики и автором многих специальных трудов, а кроме того еще и лингвистом и логиком. Так что вполне понятно, почему самые разные ученые – физики, математики, психологи, философы, историки – интересуются книгами Кэрролла с точки зрения своих наук. И находят в них научные идеи и догадки, которые волновали Кэрролла как ученого...

Гена. Какие, например?

Профессор. Ну, скажем, ученые полагают, что Кэрролл предвидел многое из того, до чего додумалась современная наука о времени. О том, что такое настоящее, будущее, прошлое и так далее. Или говорят, что применение им абсурдных, нелепых посылок, которые в конце концов могут привести к правильному ответу, ныне широко применяется в физике... Да что я тебе рассказываю? В этих делах я все равно, мягко говоря, не специалист, но если тебя это интересует...

Гена. Конечно, интересует!

Профессор. Тогда советую заглянуть в научное издание обеих книг Льюиса Кэрролла – и «Алисы в Стране Чудес», и «Алисы в Зазеркалье». Оно вышло несколько лет назад в издательстве «Наука», и в нем как раз есть статьи ученых. Одна даже так и называется: «Физик читает Кэрролла».

Гена. Книгу-то я посмотрю, а только что ж это выходит? Значит, чтобы понять эту самую Страну Чудес, надо вон сколько всего знать – и физику, и математику, и психологию...

Профессор. С чего ты взял? Читают же эти книги маленькие дети! И больше того: по-моему, слишком уж въедливо вчитываться, стараясь непременно расшифровать каждую строчку, даже вредно... Кстати, помнишь того младенца, который у тебя на

руках превратился в поросенка?

Гена. Спрашиваете! Разве ж такое забудешь?

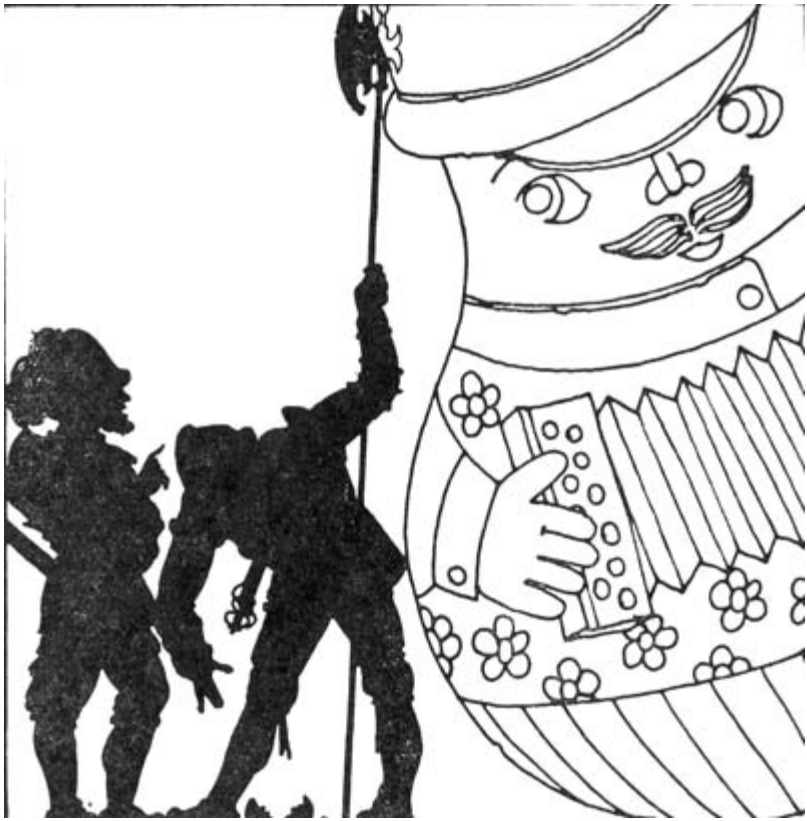
Профессор. Представь, нашелся один дотошный исследователь, который решил, будто этот сынок Герцогини, ставший свиньей, никто иной, как герцог Ричард Глостер, будущий король Ричард III, – тот самый, что изображен в трагедии Шекспира. И почему? Только, видишь ли, потому, что, всходя на трон, он избрал своим королевским знаком белого кабана!

Гена. Ну, уж это просто смешно!

Профессор. Если бы! В том-то и беда, что такая занудливая дотошность способна совершить очень печальное чудо: сказка перестанет быть смешной. А главное-то содержание и главная мудрость книг Льюиса Кэрролла в том, что они – великие сказки. Веселые, причудливые, человечные. Да если б они просто смешили, если бы все эти нелепицы и бессмыслицы, на которые Кэрролл такой мастер, всего-навсего оставались забавным озорством, – уже было бы хорошо. Но у него, как у всякого большого сказочника, они словно бы от противного, от нелепого,, от глупого утверждают, что добро – это добро, зло – зло, ум – ум, а глупость – не больше, чем глупость. Утверждают то, что должно быть понятно каждому человеку, если он человек.

КАК ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ПРЕВРАТИЛСЯ В ШАЛТАЯ-БОЛТАЯ

Слово свое Гена сдержал: научное издание книг Льюиса Кэрролла он действительно достал (с трудом) и принялся читать тоже не без труда, потому что это во всех отношениях полезное издание, увы, в отличие от некоторых иных переводов, решило пожертвовать ради сугубой точности весельем, легкостью и изяществом. Так что не надо особенно строго судить Гену за то, что читать-то он читал, да не до конца. Но не об этом зашел у Архипа Архиповича и Гены разговор при следующей встрече: профессора поразило, что тот не запомнил имени переводчика. И мало того – имел неосторожность еще и заявить: «А я их никогда не запоминаю!»



Профессор. Ах, вот оно что... Что ж, встречал я таких читателей. Название книги с грехом пополам запомнят, а как спросишь, кто автор... «Я, – говорит, – авторов не запоминаю!»

Гена *(обидевшись)*. Сравнили тоже! То автор, а то...

Профессор *(язвительно подхватывает)*. А то какой-то там переводчик, верно? Эх, Гена, Гена! Поглядеть на тебя – как будто уже почти взрослый человек, а рассуждаешь иногда, как младенец... Ну, ну, нечего обижаться! Я же не сказал: как поросенок. Что ж! Раз вышло такое дело, придется отправиться в книгу, которая в одинаковой степени интересна и младенцам, и взрослым.

Гена. Опять, что ли, в «Алису в Стране Чудес»?

Профессор. Почти. В ее продолжение, «Алису в Зазеркалье». Не возражаешь, надеюсь?

Гена *(без особой охоты, причину чего мы с вами уже знаем)*. Можно, вообще-то. Только, честно говоря, как раз эту книгу я не прочитал. Чего-то не захотелось.

Профессор. Напрасно... Хотя на сей раз, как ни странно, тем лучше. Приготовься к неожиданностям!

Сказано это было не зря. Не успели наши герои перенестись в Зазеркалье, как...

Гена. Вот это да-а! Хорошо, что вы меня предупредили, а то бы... Глядите, какое чудо-юдо! Он же... или это оно?.. чуть не из одного лба состоит! Не то вроде бы человек, не то... Яйцо, что ли, какое-то? И почему-то на стену забрался, как только там держится? Кто ж это такой? Или, может, вернее сказать: что это такое?

Профессор. Ну, для ответа тут найдется кое-кто поавторитетнее меня. Рекомендую – главная героиня книги!

Алиса *(очень благовоспитанно)*. Здравствуйте, мальчик. Как поживаете?

Гена. Здрасте! Спасибо, ничего. Нормально.

Алиса *(вскрикивает)*. Боже, кто это? *(Тут же рассмеялась с облегчением.)* Ах да, как же я сразу не поняла? Вот бестолковая! Ну, конечно, это он! Он и никто другой! Мне это так же ясно, как если бы его имя было написано у него на лбу. Не правда ли, не лоб, а вылитое яйцо?

Гена. Точно! И я то же сказал, правда, Архип Архипыч?

Шалтай-Болтай *(потому что это именно он, ворчливо)*. До чего мне это надоело! Все зовут меня яйцом, ну, просто все до единого. Это уже совершенно невыносимо!

Гена. А как же вас еще звать?

Алиса. Тсс, мальчик! *(Мягко.)* Простите, сэр, мы только сказали, что вы похожи на яйцо. К тому же некоторые яйца очень хороши собой.

Шалтай-Болтай *(грозно)*. Что-о? Ты опять за свое? Нет, я решительно отказываюсь разговаривать с вами! Хорошенькое дельце! Один обзывает меня чудом-юдом, другая...

Алиса. О, пожалуйста, не обижайтесь! Я-то отлично знаю ваше настоящее имя... Почему вы молчите? *(Заискивающе.)* Я даже знаю, что оно очень знаменитое!

Но Шалтай-Болтай как молчал, так и молчит, причем настолько выразительно, что хоть нам его и не видно, но прямо-таки слышишь, как он насупился.

(С грустью.) Все-таки обиделся. А ведь я совсем не хотела...

Гена. Да ладно, пусть обижается, если хочет! Ты лучше скажи, что, он действительно такой знаменитый?

Алиса. Еще бы! О нем даже сочинены стихи, неужели вы их не знаете, мальчик?

Гена. Откуда ж мне знать, если я его вообще впервые вижу?

Алиса. Странно! У нас в Англии их знает каждый!.. Ну, хорошо, если вам интересно, я могу прочитать эти стихи. Только придвиньтесь, пожалуйста, поближе, а то кто его знает, возьмет и еще больше рассердится... *(Читает, понизив голос.)* «Шалтай-Болтай сидел на стене...».

Гена *(сразу сообразив, в чем дело и о ком речь).* А-а!

Алиса *(строго)*. Мальчик, если вы захотели узнать, что это за стихи, то не перебивайте! *(Читает очень старательно.)*

«Шалтай-Болтай сидел на стене.
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!»

Гена. Ну, это-то не только у вас, но и у нас всякий знает. «Шалтай-Болтай». Английская детская песенка. Перевод Маршака!

Профессор *(не без ядовитости).* Ах, значит, имена некоторых переводчиков ты все-таки соблаговолил запомнить?

Гена. Ладно вам, Архип Архипыч! Или я, по-вашему, совсем темный?

Шалтай-Болтай *(ревниво).* Что это вы все там бормочете? Скажите-ка лучше: как вас зовут и зачем вы сюда явились?

Гена. Я – Гена!

Алиса. А мое имя – Алиса.

Шалтай-Болтай. Ну и имена! Никогда не слыхал глупее. И что же, интересно, они значат?

Алиса. Разве имя обязательно должно что-то значить?

Шалтай-Болтай. А ты как думала? Конечно, должно. Ну, вот, возьмем, например, мое имя. Ведь оно выражает самую что ни на есть мою суть – да какую отличную и симпатичную суть! Каков я сам, такое у меня и имя. Какое у меня имя, таков я и сам. Поняла? А с такими именами, как у вас обоих, можно быть кем и даже чем угодно. Абсолютно чем угодно! Что, разве не так? Ну? Отвечай!

Алиса. Хорошо, хорошо, может быть, только вы, пожалуйста, не взбалтывайтесь так. Успокойтесь. Скажите лучше: почему вы здесь сидите совсем один?

Шалтай-Болтай. Почему я один? Да ты что, ослепла? Потому, что здесь никого больше нет! *(Самодовольно*

расхохотался.) А? Ловко я тебе ответил? А ты небось думала, что поставила меня в тупик? Ну-ка, загадай мне еще что-нибудь!

Алиса. Но я вовсе не собиралась вам ничего загадывать. Я просто немножко за вас забеспокоилась. Вы сидите один, да еще так высоко, а стена такая тонкая... *(Поспешно.)* Ладно, ладно, не взбалтывайтесь, сейчас загадаю! Скажите, а что, если вы вдруг упадете?

Шалтай-Болтай. Какие отвратительно легкие загадки ты загадываешь! Фу! С чего это, скажите, мне падать? Совершенно не с чего!

Гена *(решил сострить).* Как это с чего? Со стены!

Шалтай-Болтай *(делает вид, что не слышит).* Да если бы даже я и упал – чего, заметь себе, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не случалось и не может случиться, – словом, если бы даже я и упал... Знай! На этот ужасный и невозможный случай сам король дал королевское слово... Ага, я вижу, ты побледнела!

Алиса. Я? Ничего подобного! Просто у меня...

Шалтай-Болтай. Не спорь, не спорь! Ты побледнела! Ну, еще бы! Уж этого ты никак не могла ожидать. Итак, если бы даже я и упал, то король послал бы мне на помощь...

Алиса *(это у нее вырвалось совершенно нечаянно).* Всю королевскую конницу, всю королевскую рать!

Шалтай-Болтай *(в величайшем гневе).* Что? Что такое? Ну, это уж слишком! Какая наглость! Я знаю, ты это подслушала!.. Только где? Под дверью? За деревом? А может быть, в печной трубе? Иначе откуда тебе это знать?

Алиса *(гордая своей воспитанностью).* Я никогда не подслушиваю! Я прочла об этом в книжке.

Шалтай-Болтай *(смягчаясь).* А-а, ну, в книжке – это куда ни шло. И держу пари, это не какая-нибудь легкомысленная книжонка, верно? Полагаю, это ничто иное, как «История Англии»? Где еще можно прочитать про короля, про его рать и про меня? Про самого Шалтая-Болтая!!!

И в этот самый момент, когда Шалтай-Болтай раздулся от тщеславия (если только яйцо, каковым он, что бы ни утверждал, являлся, способно раздуваться), раздается насмешливый, разбитной тенорок.

Тенорок. Фу-ты, ну-ты, какие мы гордые! Какие мы привередные! Ишь, расхорохорился, ишь, расфуфырился, ишь, расфордыбачился! Самозванец ты этакий!

Шалтай-Болтай *(чуть не задохнулся от ярости).* Я –

самозванец? Я?.. Я?..

Тенорок. Ты, ты! Глянь, как заякал! Нечего, брат! Знай, сверчок, свой шесток! Сиди под кустом, позакрывшись листом! Не в свои сани не садись! Выше головы не прыгай!

Шалтай-Болтай. Да как вы!.. Как!.. Как!..

Тенорок. Квак, квак! Не раздувайся, милок, ровно лягушка болотная, не ровен час, лопнешь! Послушай-ка наперед, что умные люди скажут, не тебе чета, – я-то ведь ку-уда постарше тебя буду, а стало быть, и поголовастее!

Шалтай-Болтай. Вы? По-го-ло-вас-тее? Ха-ха! Да вы только взгляните на мой лоб – может ли быть что-нибудь величественнее?

Тенорок. Велик котел, да каши-то в нем – воробей напроказил!

Шалтай-Болтай. Это неслыханно! Да кто вы такой, в конце концов?

Тенорок. Как меня величать, что ль? А ты, бедолага, не докумекал? Ну, ин, будь по-твоему! *(Поет, подыгрывая себе на балалайке.)*

Ванька-Встанька на заборе очень весело сидел.
Ванька-Встанька вдруг с забора прямо на спину слетел!
Пусть коней король приводит, пусть зовет за ратью рать,
Никогда никто не сможет
Ваньку-Встаньку, Ваньку-Встаньку посадить туда опять!

Вот он я кто!

Гена. Архип Архипыч, да что здесь происходит? Ничего не понимаю!

Профессор. Да, понять непросто. Что ж, попробую объяснить. Видишь ли, дружок...

Но не тут-то было: высказаться ему не дают. Перебранка вскипает с новой силой. Шалтай-Болтай и Ванька-Встанька кричат, перебивая друг друга: «Я подам в королевский суд!..» – «А мне аглицкие короли не указ!..» – «Я пожалуюсь шерифу!..» – «А я те к мировому!..» – «Вы сами самозванец!..» – «Нет, брат, это как раз ты самый и есть!..» Ничего не остается, как покинуть эту шумную страну, будь она даже еще в сто раз чудеснее.

Уф! Просто в ушах звенит... Словом, Геночка, дело обстоит так. Стихи про Шалтая-Болтая сочинил, а вернее сказать, перевел действительно Самуил Яковлевич Маршак. А песенка про Ваньку-Встаньку, про эту знаменитейшую игрушку русских детей, – по

правде говоря, не очень-то уместную в английской книге – возникла под пером другого известного переводчика, Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник. Причем возникла несколько раньше...

Гена. А! Вот почему Ванька-Встанька кричал, что он старше!

Профессор. Конечно. Старше и Шалтая-Болтая, и Пустика-Дутика, но гораздо моложе Хампти-Дампти. И вот...

Гена. Погодите, Архип Архипыч! Совсем вы меня запутали. А эти кто такие? Ну, Дутик этот самый и... как его... Хампти, что ли?

Профессор. Что касается первого из них, то это еще одна, уже совсем недавняя попытка перевести все тот же английский стишок, попытка, которую предпринял переводчик Александр Щербаков. Послушай, если угодно:

> «Пустик-Дутик сел на карниз.
> Пустик-Дутик грохнулся вниз.
> Король всю пехоту и конницу велел на помощь отправить.
> Но Пустика-Дутика ни за что на место им не поставить».

Гена *(довольно равнодушно, из чего можно заключить, что перевод Маршака нравится ему больше).* Понятно... Ну а тот, другой?

Профессор. Хампти-Дампти? Да он-то и есть персонаж той песенки, которая появляется в книге про Алису. Это именно его так различно окрестили три русских переводчика.

Гена. Вон оно что! А что это значит по-английски: Хампти-Дампти?

Профессор. Да ровно ничего не значит. То есть теперь, как свидетельствуют английские словари, это звукосочетание стало обозначать: «низенький толстячок», «пузан-коротышка», – причем именно благодаря песенке. Так что когда Шалтай-Болтай хвастался перед вами, что его имя означает нечто очень определенное, то он даже сам не мог подозревать, насколько окажется прав. Но впервые оно появилось всего лишь как простая игра слов, вернее, звуков, шутливо обозначающая...

Гена. Яйцо?

Профессор. Совершенно верно. Ведь это именно яйцо не под силу собрать заново и самому королю со всей его бесчисленной ратью. Да, по-моему, тут даже словно бы и слышно, как что-то болтают или взбалтывают. Прислушайся: Хампти-Дампти, Хампти-Дампти!..

Гена. Ага! Точь-в-точь как Шалтай-Болтай!

Профессор. Ну, сказал тоже – точь-в-точь! Нет, брат. В том-то и штука, что эту звуковую игру ни в коем случае нельзя буквально перевести на другой язык. Она чисто английская. Только английская. И поэтому каждому русскому переводчику приходится подыскивать что-то свое. Между прочим, как раз в этом и состоит неслыханная трудность перевода и самой этой старой песенки, и вообще книг Льюиса Кэрролла... *(Неожиданно рассмеялся.)*

Гена. Чему это вы, Архип Архипыч?

Профессор. Да так. Вспомнил одну шутку. Замечательный советский переводчик Борис Заходер... Ну, ты его знаешь по «Винни-Пуху», по «Мери Поппинс»...

Гена *(с уважением)*. А-а!

Профессор. Одним словом, он однажды объяснил, почему долго не решался приступить к переводу «Алисы в Стране Чудес». Друзья все время приставали к нему: «Неужели тебе не хочется перевести «Алису»?» А он отвечал: «Очень хочется, только, по-моему, уж легче перевеЗти к нам Англию!» Настолько, значит, книги Льюиса Кэрролла вросли в английский быт, и в английскую историю, и в английский язык... Да что там «Алиса»! Книг, до такой степени не поддающихся переводу, в общем, не столь уж много. Однако и в других случаях... *(Но тут, резко оборвав, как это может показаться Гене, собственную мысль, профессор неожиданно спрашивает его.)* Скажи, ты «Гамлета» читал?

Гена. Конечно! И недавно совсем!

Профессор. В чьем переводе?.. Ах да, ты ведь *их* не запоминаешь... Попробую установить сам! *(Начинает декламировать.)*

«Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духом: покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?..»

Ну? Знакомо? Этот перевод читал?

Гена *(виновато)*. Прямо не знаю, Архип Архипыч. Похоже, но...

Профессор. Ясно. Тогда послушай вот это!

«Быть иль не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед

Покончить с ними?..»

Гена *(радостно)*. Узнал! Этот самый!

Профессор. Ну, вот видишь! Все прояснилось. Значит, ты читал трагедию Шекспира «Гамлет», переведенную Борисом Пастернаком. А в первый раз я цитировал не менее знаменитый перевод Михаила Лозинского, и, думаю, ты не случайно не признал *того* принца Гамлета, так сказать, за своего?

Гена. Ясно, не случайно! Я ж говорю: вроде и то, а вроде... и не то.

Профессор. Красноречиво, ничего не скажешь. А может быть, все-таки попробуешь внятно объяснить: чем же именно различаются эти два Гамлета или, по крайней мере, два монолога?.. Смелее!

Гена *(не очень-то смело)*. Ну... Гамлет из того перевода, который я читал, он... Понимаете, он как будто где-то близко находится. Почти что рядом. У него все как-то очень живо получается. Понятнее, что ли. Вот он говорит, и я все очень хорошо понимаю, как будто он ко мне обращается. А тот... Тот тоже, наверное, очень интересный, только...

Профессор *(одобрительно)*. Ну? Ну?

Гена. Только он, наоборот, какой-то далекий. Какой-то, я не знаю, старинный, что ли.

Профессор. Старинный? Но, полагаю, все же не настолько, как вот этот, третий Гамлет?

Возможности Архипа Архиповича нам известны, и поэтому мы уже не удивимся появлению этого «третьего». Удивиться скорее надо тому, каков он: величав, торжествен и даже напыщен.

Гамлет.

Что делать мне теперь? Не знаю, что зачать.
Легко ль Офелию навеки потерять?
Отец! Любовница! О имена драгие!
Вы были счастьем мне во времена другие!..

Гена. А это кто еще?

Профессор. Как кто? Я же сказал: тоже принц Гамлет. И притом произносящий все тот же монолог... Да, да, тот самый, который по-английски начинается словами: «To be or not to be», – по-русски: «Быть или не быть», а в этом переводе – совсем иначе: «Что делать мне теперь?»

Гена. И кто ж это себе такое позволил? Да это же...

Профессор. Не взбалтывайся. Не уподобляйся Шалтаю-Болтаю. Это самый первый русский перевод «Гамлета», сделанный еще в восемнадцатом веке и не каким-нибудь там неумелым стихоплетом, а знаменитым Сумароковым! Настоящим, как теперь выражаются, мастером!

Гена. Уж не знаю, куда его мастерство подевалось, а только...

Профессор *(подливая масла в огонь)*. Да что этот монолог! То ли еще услышишь? Знаешь, как изменилось под рукой Сумарокова само действие трагедии? Уж я не говорю, что в его переводе нет ни Фортинбраса, ни Розенкранца с Гильденстерном, ни могильщиков, ни актеров, которых у Шекспира так радостно встречает принц Гамлет, – но вообрази! Король Клавдий у Сумарокова хочет убить не одного принца, но всех своих бывших друзей и к тому же жениться на Офелии. Ее отец Полоний собирает отряд убийц с тем, чтобы уничтожить Гамлета, а в придачу и его мать Гертруду. Но Гамлет возглавляет народ, убивает Клавдия, сажает в тюрьму Полония, женится на Офелии и становится королем. Словом, все кончается так, что лучше и не надо!

Гена. И это, по-вашему, называется «перевод»?!

Профессор. Почему – по-моему? Не обо мне речь. Так не я, а Сумароков смотрел на переводческое дело. Причем в полном согласии с правилами своего времени. Ведь в идеальной трагедии той эпохи считалась совершенно обязательной поучительная победа долга над личными интересами – и вот, пожалуйста, Гамлет, любя Офелию, все же примерно наказывает ее отца. В ту пору добродетель непременно должна была одержать верх над пороком – и вот...

Гамлет *(ему, как видно, надоело молчать, а кроме того, он не может со всей решительностью не указать на правоту своего строгого века)*.

Конечно, так, иль где же назиданье,
Когда добро лежит при издыханье?
И льзя ль людей во благе наставлять,
Колико зло сумело воссиять?
Пускай в злодействии вся плавает вселенна,
Моя душа тверда и непременна.
Пусть в мире зависть и бесчестность есть,
Я буду чист! Засим – имею честь!

С достоинством удаляется.

Гена. И все-таки так переводить нельзя!

Профессор. А я что же, утверждаю обратное? Ну, конечно, от Шекспира тут остались рожки да ножки. В каждой строке восторжествовал Сумароков, и никто иной, как Сумароков; не случайно, между прочим, этот Лжегамлет изрекал здесь не только строки из его переделки Шекспира, но и кое-что из собственных сумароковских трагедий. Потом-то научились переводить совсем иначе, куда ближе к оригиналу; но все же, повторяю, каждый, самый бережный переводчик вносил в перевод что-то свое. Ведь, как ты проницательно заметил, даже в классических переводах Лозинского и Пастернака, где о решительных, глубоких различиях уже и речи быть не может, принц Гамлет предстает все-таки несколько иным. Разным. И это прекрасно! Значит, попытки как можно вернее выразить по-русски характер того же Гамлета или иного героя мировой литературы, – эти попытки необходимы и нескончаемы. Всякий новый переводчик будет стремиться обогатить наше представление о великом произведении, все равно – английском, французском или немецком. Будет вольно или невольно искать в нем то, что волнует нас, может быть, в особенности именно сегодня. Откроет в иноязычном классике, жившем бог знает когда, себя сегодняшнего. То есть и нас тоже. Наши живые чувства и мысли. И если переводчик победил, разве его вклад в нашу жизнь ниже того, который делает писатель, сочиняющий на русском языке? Разве с меньшей благодарностью мы должны назвать и запомнить имя того, кто подарил нам Гете, Шекспира, Рабле, Бальзака, Диккенса? Кто сделал их как бы частью и нашей, русской, родной литературы?..

ТОЛСТЫЙ ТОНКОГО СПРОСИЛ...

Свой последний монолог профессор произнес с таким пафосом, так выразительно проговорил слова «родная литература», что стало ясно: наступила пора незамедлительно вернуться от Шекспира и Кэрролла к Гоголю и Чехову. Тем более что отыскался подходящий повод. Гена пришел к Архипу Архиповичу, переполненный свежими впечатлениями: перечитал чеховские рассказы.

Профессор. Ну и молодец. Только почему ты восторгаешься с таким видом, словно собираешься извиниться?

Гена. Так это же только так говорится: Чехов! Я ж не какого-нибудь «Дядю Ваню» читал, а просто рассказы. Ранние. Юмористические. *(Словно бы в самом деле извиняясь за столь легкомысленное занятие.)* Иногда ведь и отдохнуть хочется.

Профессор. Ах, вот в чем дело?.. *(Сдержавшись, хотя и видно, как ему хочется сказать Гене, что он о нем думает.)* И что же такого юмористического ты прочел? Докладывай. Кайся.

Гена. Перечитал, вернее. Много! «Смерть чиновника»... «Жалобную книгу»... «Толстого и тонкого»... *(Оживляясь и загораясь).* Ну и умора! Ведь, кажется, еще с первого раза помнишь, а все равно: читаешь и хохочешь. *(Спохватившись.)* Нет, я, конечно, понимаю, все это не так уж глубоко, не «Три сестры» или там «Скучная история», зато здорово смешно. Правда?

Профессор. Погоди. Ты, я вижу, опять за свое. Дескать, чем писатель смешнее пишет, тем он, так сказать, менее серьезен? Тем дальше от истинной глубины? Так, что ли?

Гена. Ну, может, не всегда. Но вообще-то...

Профессор. Ясно. И, стало быть, все это относится, ну, хоть к

рассказу «Толстый и тонкий»?

Гена. А что, разве не так?.. А-а, я понимаю, что вы сейчас скажете: мол, это же Чехов! Классик! Как же ты, Геноч-ка, осмелился? Ай-яй-яй – и все такое. Но, по правде-то, разве тут есть какой-то уж очень серьезный смысл? Признайтесь,, Архип Архипыч! Ну, встретились два старых приятеля. Ну, один толстый, другой тонкий. Один...

Профессор. Нет, уж пожалуйста, не пересказывай своими словами. Возьми с полки второй том Чехова... Не там, левее, левее... И прочти начало рассказа в полном соответствии с текстом.

Гена. Как хотите... *(Делает, как ему велели.)* «На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем...». Кстати Архип Архипыч, а что такое флер-д'оранж?

Профессор. В данном случае – дорогие духи. Не отвлекайся!

Гена. «Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын...».

Профессор. Стоп! Спасибо. А теперь поспешим на место непосредственного происшествия. Идет?

Вокзал. Шум торопящейся толпы, гудки паровозов, выкрики: «Посторонись!.. Носильщик, сюда!.. Куда прешь, ворона? В первый класс захотелось?.. Господа, третий звонок!..»

Толстый. Порфирий! Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

Тонкий. Батюшки! Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Троекратно и смачно целуются, оба плача от умиления.

Тонкий *(растроганно сморкаясь в платок)*. Милый мой! Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это мой сын Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! *(Снова хлюпает.)* Да-с! В гимназии! Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили

Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка...

Толстый *(сердечно).* Ну, как живешь, друг? Служишь где? Дослужился?

Тонкий. Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен по тому же ведомству... Здесь буду служить.

Гена *(он слушал, слушал и наконец не вытерпел).* Не понимаю, Архип Архипыч! Ну, зачем нам все это? Что ж, думаете, я успел забыть, про что они тут болтают? А главное, я ведь прав оказался. Где ж тут серьезный смысл? Юмор – и все. Нет, вот если бы этот самый толстый вдруг... вдруг...

Профессор. Ну? Что ж ты запнулся?

Гена. Если бы вдруг... Например... Ага! Придумал! Эх, если бы я мог все по-своему повернуть, тогда бы вы увидели!

Профессор. Да что, что бы я увидел? Ты можешь толковее объясниться?

Гена. А то, что тогда толстый взял бы да и спросил у тонкого одну вещь...

Профессор. Понимаю. Как в считалочке: толстый тонкого спросил... Но в таком случае за чем дело стало? Пусть возьмет и спросит. Уступаю тебе место – поворачивай сюжет по-своему!

Гена. А что? И поверну!

На первый (и, как сейчас выяснится, обманчивый) взгляд никакого поворота тем не менее не вышло. Тонкий продолжает болтать все с той же радостной беспечностью.

Тонкий. Да, теперь здесь буду служить. Начальник, говорят, скотина: ну да черт с ним! Уживусь как-нибудь. Однофамилец он твой. Ну а ты как? Небось уж статский? А?

Вот теперь уже ясно: поворот произошел. Толстого как подменили, впрочем, даже и без всякого «как». Он напыживается, и голос его становится начальственно-басовитым.

Толстый. Тэк-с... Так это вы, стало быть, секретарем ко мне назначены? Поздно, милостивый государь, на службу являетесь!

Поздно-с!

Тонкий *(лепечет в полной растерянности).* Вв... вы? Это вы?.. Я, ваше превосходительство... Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и в такие магнаты-с! Хи-хи-с!

Толстый *(раздельно, как будто что-то диктует).* Не – следует – опаздывать!

Тонкий. Извините, ваше-ство, не мог к сроку прибыть-с, потому жена, вот, была больна... Луиза вот... лютеранка... Не повторится, ваше-ство...

Толстый. Надеюсь, милостивый государь. Надеюсь. Прощайте. Завтра на службу прошу. Да-с!

Разговор кончен, и толстый с тонким могут остаться где-то там, на своем вокзале. Гене они больше не нужны. Но странное дело: совершив то, чего ему хотелось, он не торопится торжествовать победу.

Профессор. Ну? Доволен таким поворотом?

Гена. Даже не знаю, Архип Архипыч. Честно говорю. Вроде бы я все правильно придумал, ведь так должно было серьезнее получиться. Глубже! Тут уже не просто два каких-то добрячка разговаривают, а... Видали этого толстого? Вон какой грозный! Сразу видно – самодур. Уж тут-то тонкому есть отчего перепугаться: такой начальник ему спуску не даст!

Профессор. И все же, как я замечаю, ты чем-то недоволен?

Гена. В том-то и дело! Как-то сразу скучнее стало. Как-то...

Профессор. Может быть, ты хочешь сказать: примитивнее?

Гена. Да что-то в этом роде. *(Самокритично.)* Нет, я тут маху дал. Признаюсь.

Профессор. За честность хвалю. Только почему – ты?

Гена. А кто же еще?

Профессор. Антон Павлович Чехов. Вернее, пока еще Антоша Чехонте... Да, да! Я тебя не разыгрываю. Ты, что ты сейчас увидел и услышал, – это самый первый вариант рассказа «Толстый и тонкий», появившийся за подписью «А. Чехонте» в журнале «Осколки». В 1883 году. А уже через три года Чехов вернулся к рассказу, переделал его и потом, позже, продолжал переделывать и редактировать.

Гена *(его это известие явно приободрило).* Вы серьезно? Значит, так у самого Чехова было? Выходит, я все-таки...

Профессор. Не заносись! Чехов как-никак, переделав рассказ, улучшил его, а ты, дружок, поступил совсем наоборот. Взял прекрасное, совершенное, отточенное произведение – и во что его

превратил?

Гена. Но я же хотел как лучше! Серьезнее!

Профессор. Ах, Гена, Гена! В том-то и секрет, что первый вариант рассказа «Толстый и тонкий» одновременно... понимаешь, *одновременно* и менее смешон и менее серьезен.

Гена. Как же так может быть?

Профессор. Очень просто. Видишь ли... А впрочем, к чему слова? На место действия! Только теперь – шалишь! На место того действия, которое происходит в окончательной редакции рассказа. По Чехову!

Слыхали, конечно, как перематывается в обратную сторону магнитофонная лента? Вот и здесь – тот же надрывный звук, пока профессор не решает прервать его и вернуть героев в прежнее положение.

Тонкий *(как ни в чем не бывало).* Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну а ты как? Небось уже статский? А?

Толстый *(добродушно).* Нет, милый мой, поднимай повыше. Я уже до тайного дослужился. Две звезды имею.

Тонкий *(вот с ним, в отличие от толстого, происходит та же метаморфоза, что и в ранней редакции).* Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства – и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с!

Толстый *(вполне искренне).* Ну, полно! Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание?

Тонкий. Помилуйте... Хи-хи-хи... Что вы-с... Хи-хи-хи... Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом... Хи-хи-хи...

Архип Архипович и Гена одни.

Профессор. Видишь? В одном случае старый приятель по гимназии, вышедший в большие чины, ведет себя с этим незадачливым человечком сурово и начальственно. В другом, напротив, остается мил и любезен. А вместе с тем в обоих случаях независимо ни от чего происходит точь-в-точь одно и то же!

Гена. Вижу. Ну и что?

Профессор. Да ты вдумайся! Что было в первом варианте рассказа? Ведь в нем все, решительно все, даже юмор, основано

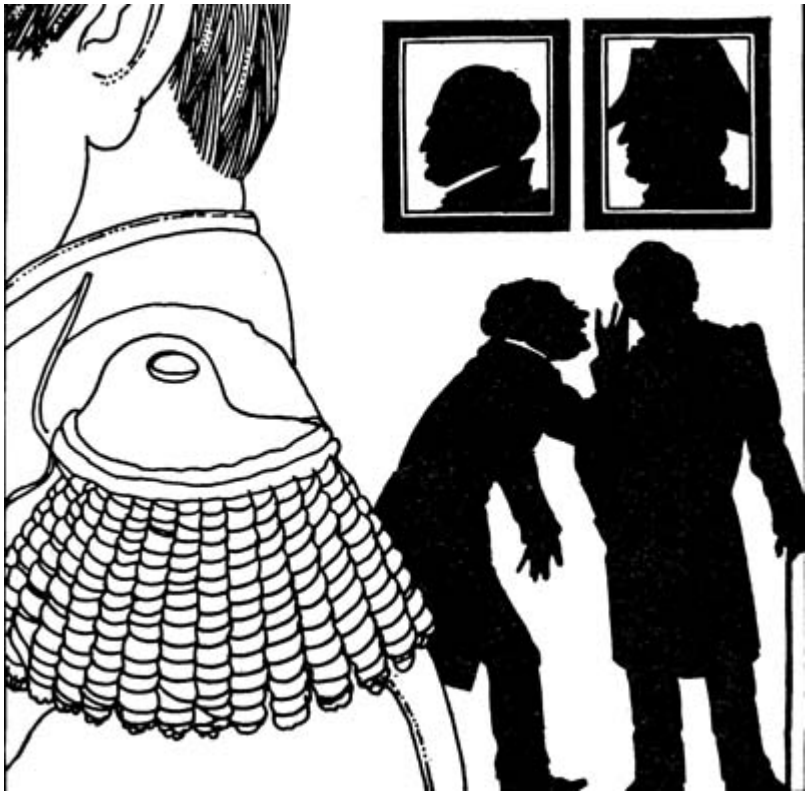
на чистой случайности. На недоразумении. Встретились два приятеля, беспечно радуются нежданной встрече, и вдруг один из них *случайно* оказывается начальником другого. Только и всего.

Гена. Почему? Не только. Не просто же начальником, а вон какой скотиной – тонкий это верно заметил.

Профессор. Совершенно справедливо. Скотиной. Стало быть, еще одна неприятная случайность. Словом, не повезло бедняге тонкому. А во втором случае? О, тут совсем другое дело! Тут ему, наоборот, *повезло.* Старинный товарищ как был, так и остался человеком добродушным, вовсе не склонным к чинопочитанию. Как говорится, живи да радуйся, а тонкий все равно пресмыкается – жалко и даже, я бы сказал, жадно. Не хочет отказаться от пресмыкательства, хотя ему это прямо и дружески предлагают. Ведет себя как раб, привыкший к рабству, дорожащий своим рабством, – настолько, значит, оно в него въелось, настолько стало его неотъемлемой частью. Как и он сам стал его, рабства, частью... Ну, скажи мне, пожалуйста: разве такой оборот дела, такой поворот сюжета не говорит о тогдашней действительности суровой, печальной, самой что ни на есть *серьезной* правды? Обо всей действительности в целом, о порядке вещей, о состоянии душ, а не о каком-нибудь одном нехорошем начальнике, – вот потому-то и куда более серьезной, чем это было в первом наброске рассказа, появившегося в журнале «Осколки».

ВАША КАРТА БИТА, ГОСПОДИН ЧИЧИКОВ!

Кажется, наш Гена все тверже становится на путь добродетели: не только читает, но и перечитывает. В прошлый раз заявился, перечитав рассказы Чехова, теперь заново взялся за Гоголя. Молодец! А то, что при этом у него возникают немного «не те» мысли, так это еще и лучше. Разве иначе у нас находились бы поводы для столь неотложных путешествий?



Профессор *(продолжая разговор, к началу которого мы опоздали).* ...Значит, и «Ревизора», да еще и «Мертвые души»? Прекрасно. И даже, знаешь ли, завидно. Я всякий раз, когда перечитываю великую книгу, непременно обнаруживаю в ней что-то новое для себя. Даже сам удивляешься: как же я этого раньше не замечал?

Гена. Точно! И у меня так!

Профессор. В самом деле? Ну, рассказывай, рассказывай, как тебе показалась новая встреча? Что обнаружил на этот раз?

Хоть мы его и не видим, но можно догадаться, что он сейчас потирает руки: с такой, значит, жадностью предвкушает рассказ Гены.

Гена. Обнаружил-то? Да вот перечитал «Ревизора» и подумал: ну как же я раньше не видел, что Гоголь его неправильно написал?

Профессор. Что-что?

А сейчас, кажется, он не только бросил потирать руки, но схватился этими самыми руками за голову.

Гена *(с этой его дипломатической оговоркой мы уже знакомы).* Да нет, я ничего плохого сказать не хочу. Здорово написано. Но только... Вот вы сами подумайте: а что если бы Гоголь не открывал нам с самого начала, что Хлестаков вовсе никакой не ревизор? Пусть бы это только в конце выяснилось. Ведь тогда же не только для всех этих чиновников, но и для нас бы загадка была. Тайна. Вот уж мы бы голову поломали – прямо как в настоящем детективе!

Профессор *(понемногу приходя в себя).* Ах, вот чего тебе захотелось – детектива!

Гена. А что?.. Да, между прочим, Архип Архипыч: а он, детектив то есть, уже был в те времена?

Профессор. Мм... Да нет, в таком виде, в каком он существует сейчас, не было.

Гена. Так я и знал, что его потом изобрели! Ну, тогда все ясно. Если бы детектив был, уж конечно, Гоголь бы им воспользовался. Тем более и в «Мертвых душах» тоже...

Профессор. Как? Неужели, Гена, и они тебе не угодили?

Гена. Почему это не угодили? Наоборот! И вообще, что это вы из меня какого-то дурачка делаете? По-вашему, я не понимаю, что Гоголь все равно в тысячу раз лучше всякого Конан Дойла? Просто и тут ведь здорово можно было завернуть! Представляете, если б мы и про Чичикова тоже все время думали: а вдруг он эти самые мертвые души у помещиков только для виду скупает, а сам...

Профессор. А сам шпион! Или пуще того – резидент!

Гена *(обиженно).* Зря смеетесь! Если хотите знать, это даже несовременно с вашей стороны.

А теперь вдруг обиделся Архип Архипович: ничто не способно так задеть пожилого человека, как упрек в том, что он несовременен.

Профессор. Даже так?

Гена. А вы как думали? *(Дальнейший его нравоучительный тон заставляет предположить, что говорит он не совсем свои слова.)* Потому что детектив – это самое современное искусство. Конечно, может, по сложности это не Гоголь или Достоевский – ну и что? В наше время, когда на нас на всех столько всякой информации обрушивается, надо уметь всякие эти лишние сложности отбрасывать, а в детективе главное – логика мысли. *(Договорил и словно скинул с плеч чужой груз.)* Вот!

Профессор. Ого, как ты заговорил! И кто же тебе все это

внушил?

Гена (к *чести его, врать он не научился)*. Ну, вообще-то, мне об этом часто Стасик Квочкин говорит – он у нас в классе самый сильный по математике. Ух, и сечет!.. *(Спохватившись.)* А почему вы решили, что я до этого сам додуматься не мог? Детектив, он же и в самом деле помогает... это... логически мыслить. Он... интеллект развивает. Он...

Профессор. Успокойся, на *этот* счет я с тобой спорить не собираюсь. И помогает и развивает – все верно. Но вот относительно того, что ты говорил чуть раньше, то... В общем, мне наш разговор напомнил одну пьесу.

Гена. Какую? Тоже Гоголя?

Профессор. Нет, современную. Написанную Александром Володиным. В ней, видишь ли, мальчик – ну, вот вроде тебя – приходит в библиотеку и... Однако вместо того, чтобы заниматься скучным пересказом, давай и мы отправимся туда же. И знаешь что, Гена? Проведем-ка эксперимент!

Гена. Это всегда пожалуйста. А какой?

Профессор. Вместо этого мальчика в пьесе будешь действовать ты... То есть, нет, не совсем ты. Я настрою нашу машину таким образом, что ты будешь вести себя в точности так, как прикажет автор пьесы. Во всяком случае, сперва.

Гена. А зачем?

Профессор. Затем, чтобы побывать в шкуре... или, выражаясь деликатнее, в коже персонажа. Ну, как говорится, с богом! Поехали!

Библиотека – самая обыкновенная, районная. И библиотекарша тоже обыкновенная. Появляется Гена. Здороваются.

Гена. Записаться можно?

Библиотекарша. Почему же нет? Заполните формуляр, только аккуратно. Ваш номер 1616. Запомните?

Гена *(снисходительно)*. Попытаюсь.

Библиотекарша. Что вас интересует?

Гена. «Жизнь Эйнштейна».

Библиотекарша. Пожалуйста.

Гена. Тьюринг, «Может ли машина мыслить».

Библиотекарша. Выдана.

Гена. Лавров, «Электроника и современность».

Библиотекарша. Увы...

Гена. Тогда все.

Библиотекарша. Вы можете взять что-нибудь из

художественной литературы.

Гена. Ну дайте там что-нибудь про шпионов.

Библиотекарша. Вас интересует литература такого рода?

Гена. Какого же это рода?

Библиотекарша. Скажем, примитивная в художественном отношении.

Гена. Ну и что? Там хотя бы с первой страницы не становится ясно, чем все кончится.

Библиотекарша. Вы предпочитаете такую литературу потому, что просто не умеете читать. Есть люди, которые не умеют слушать музыку.

Гена. Виноват, вы читали книгу Норберта Винера «Кибернетика и общество»?

Библиотекарша. Нет.

Гена. Видите – нет. Это пробел. Но я вас не обвиняю. В условиях громадного количества впечатлений, которые обрушивает на нас современная жизнь, интеллект стремится ограничить круг своих интересов. Понятно? Пока!

Они с Архипом Архиповичем опять одни. Гена страшно собой доволен.

Ну? Как я ее срезал? То есть не совсем я, а... Но все равно ничего, верно?

Профессор. Ты так полагаешь?

Гена. А что? Ну, правда, насчет художественной литературы я... то есть он... в общем, это мы зря. А вот про интеллект и про все такое здорово вышло! Видали, она даже растерялась!

Профессор. Ну а если бы не растерялась?.. Короче говоря, давай переиграем эту сцену, а? Сейчас я введу в машину новую программу и... Все! Готово.

Переигрывают. Но нам-то необязательно вместе с ними повторять все сначала. Мы застаем момент, когда Гена заканчивает свой самоуверенный монолог.

Гена. ...Интеллект стремится ограничить круг своих интересов. Вы читали Винера «Кибернетика и общество»?

Библиотекарша. Разумеется, читала.

Гена *(он, что называется, сбит в полете).* Как?.. Правда – читали?

Библиотекарша. Естественно. И, по-видимому, гораздо более внимательно, чем вы.

Гена. Это почему же, интересно, вы так решили?

Библиотекарша. Да потому, молодой человек, что иначе вы не заявляли бы так победоносно о том, что, дескать, нам необходимо ограничивать круг своих интересов, притом за счет художественной литературы.

Гена. Но ведь...

Библиотекарша. Да, да, я понимаю, что вы скажете, Впечатлений на нас обрушивается в самом деле много, целые водопады, но как раз Норберт Винер, которого называют отцом кибернетики, считал, что, как бы то ни было, намеренно ограничивать свои духовные интересы плохо и даже опасно...

Гена. Так ведь же...

Библиотекарша *(теперь ее верх)*. Нет уж, вы свое отговорили. Настала моя очередь. Скажите, а *вы* читали еще одну книгу того же Винера: «Я – математик»?

Гена. Ннет...

Библиотекарша. Видите – нет. Это пробел. И в нем я вас как раз обвиняю. Ибо из этой научной автобиографии выдающегося ученого вы яснее ясного поняли бы, что сама кибернетика, эта наука двадцатого века, могла появиться на свет только потому, что Норберт Винер не ограничивался одной своей специальностью, математикой, а заключил союз с физикой и другими науками, в чем, как он сам признавался, ему подавал пример отец, предостерегавший его от узости и бывший, позвольте вам заметить, профессором славянских языков и литератур.

Гена *(упавшим голосом)*. И литератур?

Библиотекарша. Вот именно! И совершенно естественно, что книга, озаглавленная «Я – математик», переполнена именами не только Ньютона и Эйнштейна, Лобачевского и Гаусса, Бора и Резерфорда...

Гена *(хватаясь за соломинку)*. Так ведь это же как раз математики и физики!

Библиотекарша *(она решила совсем подавить бедного Гену и обрушить на него, ну, если и не водопад информации, то, во всяком случае, холодный душ)*. Оказывается, вы так же плохо умеете слушать, как и читать! Я сказала: именами *не только* этих, но и других людей, также сыгравших немалую роль в жизни ученого. Именами писателей, художников, философов: Толстого и Гете, Шекспира и Свифта, Рабиндраната Тагора и Генриха Гейне, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Брейгеля Старшего и Диего Риверы, Демокрита и Ибсена... Понятно?

Гена *(подавленно)*. В общем... да...

Библиотекарша. То-то и беда, что только в общем. Эх вы, верхогляд! Знаете ли, молодой человек, кого вы мне напомнили,

когда этак небрежно сказали: «Ну дайте там что-нибудь про шпионов»?

Гена *(ожидая уже самого худшего)*. Кого?

Библиотекарша. Слугу Чичикова, гоголевского Петрушку. Ведь это ему, если вы, конечно, помните, было совершенно все равно, что читать, «похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник... если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался». А вы? «Ну, дайте там что-нибудь...» «Что-нибудь»! Значит, и вам все равно что читать – лишь бы детектив. Или, как вы выразились, «про шпионов»! Эх вы, современный Петрушка! Ступайте! Библиотека, конечно, государственная, но все равно – видеть вас не хочу!..

Если бы мы сейчас увидали Гену, то поняли бы, что значит распространенное выражение «как ошпаренный».

Гена. Да... Здорово она меня!.. А все из-за вас, Архип Архипыч! Это же вы меня в эту самую пьесу впихнули и заставили чужую роль играть!

Профессор. Так уж совсем чужую? Значит, это не ты тут разглагольствовал, будто детектив – это самое современное искусство и надо, мол, избавляться от всяких сложностей?

Гена. Ну, может, я и правда что-то лишнее наговорил. Но все равно: разве детектив – это плохо? Вы, что ли, вообще против него?

Профессор. Да нет же! Откуда ты взял? Я ведь уже говорил тебе: да, хороший детектив может развивать логическое мышление. И вообще – мало ли в этом жанре превосходных книг? Эдгар По, Честертон, тот же Конан Дойл... В конце концов, как сказал великий Вольтер, все жанры хороши, кроме скучного. Я всего-навсего против того, чтобы остросюжетные приключенческие книги предпочитать великой психологической литературе...

Гена. Так я и не предпочитаю! Просто детектив – это тоже здорово! В нем автор как загадает тебе загадку да как раскинет перед тобой на выбор сразу несколько ответов, так вот и сиди, ломай голову, какой правильный. Кто убил или похитил чего-нибудь...

Профессор. Да, совершенно верно. «Загадав загадку, автор обязан тут же дать читателю ключи к ней – все до единого».

Гена. Как? Как вы сказали?

Профессор. Это не я. Это некий Роналд Нокс, англичанин, который в самом начале нашего века задумал определить те обязательные условия, которые во что бы то ни стало должен

выполнить каждый писатель, берущийся сочинить детектив. К примеру: «Автор не имеет права давать разгадку с помощью неожиданностей или сверхъестественных сил, не должен прибегать к необыкновенной интуиции персонажа, способной заменить цепочку его доводов» – и так далее.

Гена (с *большим уважением)*. Видите, как все продумано!

Профессор. Да, без всякого сомнения. Так продумано *заранее,* словно это не литература, а, скажем, игра в шашки, шахматы или хоть в домино. То есть так же, как игроки, садясь друг против друга, точно знают правила, по каким они будут играть, так и здесь: и автор и читатель, повторяю, *заранее* знают, что можно, а чего нельзя...

Гена *(подозрительно)*. Странно вы объясняете. У вас так выходит, что вроде это очень плохо.

Профессор. Нет же, говорю тебе! Просто все эти правила не имеют никакого отношения к тем законам, по которым писали Шекспир и Стендаль, Достоевский и Гоголь...

Гена *(упрямо)*. А я все-таки считаю, что если бы тот же Гоголь, например, в «Мертвых душах» заставил нас голову поломать, то...

Профессор *(ему это наконец надоело)*. Опять ты про свои головоломки! Ну, ладно. Будут они тебе! Смотри и слушай!

Мы (и они, конечно) в доме полицеймейстера, то есть в поэме «Мертвые души». Идет жаркий спор, и поскольку он именно жаркий, поскольку все торопятся высказаться и перебить один другого, нам не до того, чтобы устанавливать, какую реплику сказал сам хозяин, какую – прокурор, какую – председатель казенной палаты и так далее. Нам важен смысл разговора, и потому мы будем определять собеседников-спорщиков очень просто: Первый, Второй, Третий.

Первый. Нет, господа! Воля ваша, а мертвые души – это совсем не то! Чичиков их выдумал просто для прикрытия! Здесь скрывается что-то совсем другое!

Второй А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

Первый. Я думаю, то, что Чичиков – делатель государственных ассигнаций.

Второй *(ахнув)*. То есть вы изволите сказать: фальшивомонетчик?

Первый. Да-с! И как это мне сразу в голову не пришло? Всенепременно делатель ассигнаций! Потому что, видите ли вы... А может, и не делатель...

Второй. Так, стало быть, не делатель?

Первый. Да-с! Всенепременно не делатель! Потому что он – слушайте, слушайте, господа! – есть никто иной, как приехавший тайно чиновник генерал-губернаторской канцелярии! Ей-богу, так... А впрочем, черт его знает! На лбу ведь не напишешь...

Второй. А что если он переодетый разбойник? А?

Первый. Эва, батюшка, куда хватили! Что ж в нем разбойничьего? Совсем ничего разбойничьего! И наружность сама по себе благонамеренная, а не разбойничья! И в разговорах его ничего такого не было, которое бы показывало человека с буйными поступками! Нет, не разбойник!.. А впрочем...

Третий *(до той поры молчавший)*. Ба! Знаете ли, господа, кто это?

Первый и второй. Кто? Кто?

Третий. Это, господа, капитан Копейкин!

Первый и второй. Капитан Копейкин? Какой капитан Копейкин?

Третий. Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Первый и второй. Нет! Не слыхал! Кто ж он такой?

Третий. Капитан Копейкин... Да ведь это, впрочем, если рассказывать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма... Капитан Копейкин... Хм... Да... Так вот...

Первый и второй. Ну? Ну?

Третий. Так вот... После кампании двенадцатого года, судырь ты мой, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Ну, судырь ты мой...

Первый. Позволь, Иван Андреич! Ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги?

Третий. Натурально.

Первый. А у Чичикова?

Третий. Ах, я телятина эдакая! То-то говорится: русский человек задним умом крепок! Как это мне... А впрочем, это ничего не значит!

Второй. Как же это ничего не значит?

Третий. А так и не значит! В Англии, можете себе представить, в некотором роде очень усовершенствована механика...

Первый. Да с какого боку тут Англия?

Третий. Ас такого боку, что видно по газетам, как один англичанин изобрел деревянные ноги таким образом, что, судырь ты мой, при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека, можете вообразить, бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было!

Первый. Нет, Иван Андреич! Какой там капитан Копейкин! А я вот что думаю: не есть ли Чичиков переодетый Наполеон?

Второй и третий. Наполеон? Как Наполеон? Ну, судырь ты мой...

Первый. Самый натуральный Наполеон! Вы знаете, господа, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, и вот теперь они, может быть, и выпустили Наполеона с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков!

Третий *(ошалело)*. Ну, уж это, судырь ты мой, некоторым образом...

Второй. А что, Иван Андреич? Очень может быть, что и Наполеон! Вспомните-ка хорошенько: лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком... вот эдак... очень сдает на портрет Наполеона!

Первый. В точности! Я, господа, служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, так помню: ростом он никак не будет выше Чичикова. И складом фигуры своей Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок. Вылитый Чичиков!

Третий. Так что ж это, судырь ты мой? Выходит, он...

Второй. Наполеон! Как есть Наполеон!

Архип Архипович вместе с Геной у себя дома.

Профессор. Ну? Теперь твоя душенька довольна? Вот тебе и долгожданная головоломка! Теперь остается только воскликнуть, как в самом настоящем детективе: «Ваша карта бита, господин Чичиков!»

Гена. Смейтесь, смейтесь! Конечно, так любую идею можно высмеять, но только...

Профессор. Постой! Ты утверждаешь, что это я смеюсь?

Гена. А кто ж еще?

Профессор. Гоголь! Это именно он в своей поэме будто нарочно посмеялся над тем, чего ему, по-твоему, не хватает, – над ненужной ему таинственностью, над ненужными загадками. И вот полицеймейстер, почтмейстер и другие чиновники вовсю ломают свои бедные головы, какая же загадка кроется за мертвыми крестьянскими душами, которые скупает Чичиков. А ее нет! В

том-то и дело, что нет, – ведь даже сама по себе афера с мертвыми душами, за которые гоголевский герой хочет выручить деньги как за живые, не Гоголем придумана. К ней прибегали многие жулики, так что и она не была таинственной… Так-то, брат. Знаешь, есть такая забавная история. У кинотеатра, где идет детективный фильм, стоит некий вредный мальчик и…

Гена *(хмуро, потому что справедливо предчувствует подвох)*. Знаю. И говорит: «Дяденька, дай рубль, а то скажу, кто убил».

Профессор *(лукаво)*. Вот именно! А ты, насколько мне известно, все-таки перечитываешь «Мертвые души», хотя давно знаешь, кто там, так сказать, убил. Знаешь, в отличие от почтмейстера и полицеймейстера, все разгадки!

Часть вторая. ЖИВЫЕ ГЕРОИ

КАК КРАСНАЯ НИТЬ СТАЛА БЕЛЫМ ПЯТНОМ

Гена *(вбегает, запыхавшись)*. Здрасте, Архип Архипыч!
Профессор *(недовольно)*. А, явился наконец! Соизволил!

Гена. Так я же успел! Минута в минуту!

Профессор. То-то и оно, что ни минутой раньше. Пора отправляться в путешествие, а куда – спрашивается? Мы с тобой даже не успели договориться, потому что ваша милость где-то разгуливает.

Гена. Да вы послушайте сначала! Виноват я, что ли? Я как раз очень спешил, только иду мимо газетного киоска, гляжу – свежую почту привезли. Журналы всякие, и в том числе «Знание – сила». Стал вместе со всеми ждать, пока продавец журналы разложит, вот и... Зато видите – достал!

Профессор *(терпеливо)*. Ну? Это все? Ты кончил?

Гена. А чего ж еще? Хотя, правда, там еще смешная история произошла. Понимаете, подхожу я к очереди и спрашиваю: «Кто последний?» А дяденька – пожилой такой, вроде вас, – который в самом конце стоит, молчит и не отвечает. Я опять спрашиваю, вежливо так: «Извините, пожалуйста, вы последний?» Тогда он поворачивается ко мне и очень как-то ядовито говорит: «Тут, между прочим, молодой человек...»

Профессор *(уже нетерпеливо)*. Да знаю я, что он тебе сказал!

Гена. Знаете? Откуда?

Профессор. Оттуда, что и сам это не раз слышал. Да не

только слышал, но... Стоп, Гена! Я, кажется, понял, с чего мы можем начать путешествие – сразу, без подготовки, с разгона!

И мы действительно сразу слышим два мужских голоса. Один лениво-снисходительный, купечески-важный, а другой – типичный голос зависимого, «маленького человека».

Купец. Так ты взаправду в газеты пишешь?

Корреспондент *(будем так называть этого «маленького»).* Пишу ли? Как не писать, ваше степенство? Не зарою таланта своего до самой могилы! Пишу-с! Разве не читали?

Купец. Пиши, пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету бишь?

Корреспондент. В газету «Голос», ваше степенство!

Купец. Прочесть дашь?

Корреспондент. Всенепременно-с!

Купец. Увидим, увидим, каких делов ты мастер. Ну а что же ты писать станешь?

Корреспондент. А вот если вы, ваше степенство, что-нибудь на городскую прогимназию пожалуете, то и про вас напишу.

Купец. Что ж, напиши. Я пожертвую. Отчего не пожертвовать? Тысячу рублев могу...

Корреспондент. Нуте?

Купец. Разумеется, могу. Две тысячи серебра – хошь? Да что две тысячи! Я еще не то обещать могу!

Корреспондент. Вы не шутите? Ваше степенство!

Купец. Могу... Только вот что... Ммм... А если я пожертвую, да ты не напишешь? Я, братец мой, только с тем условием, чтоб ты взаправду написал.

Корреспондент. Как это можно-с? Да я хоть сейчас! Сию минуту!

Купец. Как это? Прямо... тут?

Корреспондент. А что ж дело тянуть, ваше степенство? Сяду вот... возьму лист бумаги... перышко вот... И начну, благословясь!

Пауза, во время которой слышно только, как «корреспондент» скрипит пером, изредка бормоча себе под нос: «У нас... богоспасаемом... воздвигаются... архитекторы... капиталы... меркантильными...»

Гена *(тихонько, но настойчиво).* Архип Архипыч! Это что же, он так целый час будет строчить, а мне, значит, молчать и на него любоваться?

Профессор. Верно. Можно его и поторопить...

Гена *(громко).* Эй, господин! Вы не мог...

Профессор. Что ты, что ты? Кто ж так делает? Это невежливо, дружок. Тем более можно просто повернуть рычаг сюжетного ускорения – и...

Корреспондент *(победно).* Все-с, ваше степенство! Готово-с!

Купец *(недоверчиво).* Уж и написал?

Корреспондент. Написал-с! Так что можете, ваше степенство, жертвовать! И мне, ежели будет ваша милость... за труды-с!

Купец. За труды-с... Гм! Чего так скоро? Ты... ты не так. Ты бы подольше пописал. Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

Корреспондент. Ваше степенство! Ни место, ни время стеснить таланта не могут! Хоть целый год дайте мне – и то, ей-богу, лучше не напишу!

Купец *(с большой неохотой).* Ишь ты... Ну, ладно, давай сюда... Посмотрим, чего ты там насочинял... *(Читает с трудом.)* «У нас... в на-шем... бого-спаса-емом городе, еже-годно воз-дви... воз-дви-га...». Что-то вижу плохо. Да и очки забыл взять. Ну-ка, прочти сам!

Корреспондент. Извольте-с! *(Читает бойко и с пафосом.)* «...Ежегодно воздвигается по нескольку зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получаются из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы – и все это, надо признаться, с целями меркантильными. Жалко! Жителей у нас 20 000 с лишком, город существует уже несколько столетий, здания воздвигаются, а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезывающая корни, глубоко пускаемые невежеством. Но наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от господина министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Более того! Нашлись люди, которые не ограничились одним изъявлением восторга, а пожелали еще так же выказать свою любовь и на деле...».

Купец. Нничего... Ловко!

Корреспондент *(сыплет частым горохом).* «Наше купечество, никогда не отвечающее отказом на приглашения поддержать денежно какое-либо доброе начинание...».

Купец. Во-во!

Корреспондент. «...И теперь также не кивнуло отрицательно головою».

Купец. Черрт! Скоро написал, а как важно! Ай да ты!

Корреспондент *(у него и голос словно бы расцвел от похвалы и надежды получить воздаяние).* «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей...».

Купец. Ну? Ну?

Корреспондент. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев – 2000. Петр Семенович Алебастров – 1500. Авив Иннокентиевич Потрошилов – 1000».

Купец. Грыжев... Потрошилов... А я? Я-то где же?

Корреспондент. Успокойтесь, ваше степенство. Вы на самом на главном месте-с. Можно сказать, наверху-с. Вот извольте глянуть сами-с!

Купец. Давай! Про себя-то и я, глядишь, разберу... *(Читает.)* «И Иван Степанович Трамбонов...». А, то-то! «Последний обещал...». Постой, постой! Как это у тебя? «Последний обещал...». Кто это – последний?

Корреспондент. Последний-с? Это вы-с!

Купец. Так я, по-твоему, значит, последний?

Корреспондент. Последний-с... То есть... эк... эк... в смысле...

Купец. Кто последний?! Говори!! Я?!!!

Корреспондент. Вы-с, только в каком смысле?

Купец. В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию! Рраз... рраз... и рраз!

Корреспондент. Ваше высокостепен... Батюшка Иван... Иван...

Купец. Так я последний? Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь! Свинья! Иван Степанов Трамбонов последним никогда не был и не будет! Ах ты...

Профессор *(поспешно)*. Ну, Гена, это, кажется, уже совсем не для твоих ушей!

Крик разом смолкает. Они одни.

Гена. Точно! Теперь я вижу: вы в самом деле поняли, что мне тот дяденька сказал. У нас, говорит, последних нет! Надо, говорит, спрашивать: «Кто здесь крайний?» А я ему: «Так ведь край-то у очереди не один!..»

Профессор. Ладно, ладно, потом доскажешь! Главное, как видишь, Чехов на твоей стороне. Это ведь именно его ранний рассказ, который называется «Корреспондент» и написан в 1882 году. То есть вот еще когда – или, вернее, вот *уже* когда – находились люди, считавшие, что слово «последний» звучит обидно.

Гена. Чудаки, правда?

Профессор. Не то чтобы чудаки, а просто люди, не очень внимательные к законам своего родного языка и к значениям слов, к семантическим оттенкам...

Гена. То есть... Нет, тут даже я чего-то не понял!

Профессор. А все очень просто. Слово «последний» имеет в

русском языке несколько значений. И первое, главное из них, как определяет словарь, это: «Такой, за которым не следуют другие; конечный, находящийся на самом конце чего-нибудь».

Гена. Ну да! Вот и я в этом смысле того дяденьку спросил, а он...

Профессор *(продолжает упрямо).* Но есть и второе значение слова: «Предыдущий, низший в ряду других, самый незначительный из всех, плохой».

Гена. Вот-вот! А он, значит, решил, что я его в плохом смысле спрашиваю, да? И обиделся!

Профессор. Да не думаю, чтобы взаправду решил. Просто... Может быть, это непедагогично так говорить с тобой о взрослом человеке, да уж была не была! Словом, просто захотел покичиться перед тобой своим якобы необыкновенным чувством достоинства, а вышло-то глупо. Как у Ивана Степановича Трамбонова, который тоже кичился своей мошной... Впрочем, если он действительно обиделся, то скажи спасибо, что этим обошлось. Что он милиционера не позвал.

Гена. Милиционера-то – за что?

Профессор. Как? И ты еще спрашиваешь? А известно ли тебе, что у слова «последний» есть и третье значение? Самое страшное! Знаешь, а?

Гена *(поддаваясь розыгрышу и даже заробев).* Нет... Какое?

Профессор. «Неприличный» – вот какое! Ты же, наверное, слыхал, как кто-нибудь говорил: «Он, дескать, изругал меня последними словами»?

Гена *(до него, как говорится, дошло).* А! Ну да! Как этот купец корреспондента обругал! Да-а, если бы тот дяденька так меня понял... Ха-ха-ха!

Профессор. Вот ты смеешься, а проблема между тем самая серьезная. Путаница со значениями слова «последний» – это еще, пожалуй, из разряда забавных пустяков. Правда, когда этакий дяденька из пустяка начинает скандально раздувать собственное гигантское самоуважение, тут уж... Но сейчас не о том речь. Хуже то, что некоторые значения слов и выражений не путаются, а просто начисто забываются, и хотя это, в общем, даже понятно: время идет, язык хоть медленно, а меняется, но в то же время и печально. Тревожно. Мы порою сами перестаем понимать, что именно говорим, что имеем в виду, и я лично думаю, что тот, кто хочет по-настоящему владеть родным языком, должен сопротивляться и этой путанице и этому забвению... Понимаешь меня?

Гена. Понимаю, только... Только, может, вы поконкретнее, а?

Профессор. Ты прав. Вот тебе пример. Слышал такое

выражение: «гол как сокол»?

Гена. Конечно! Это значит: тот, у кого ничего нету. Ну, в общем, совсем бедный.

Профессор. Верно. Но почему именно – «как сокол»?

Гена. Почему?.. Наверное, потому, что у птицы, у сокола то есть, тоже ничего нету.

Профессор. Так уж и ничего? Гнездо есть. Оперение, наконец, так что голым сокола уж никак не назовешь. Нет, милый, птица тут ни при чем. «Сокол» – это старинное стенобитное орудие, чугунка или деревянная болванка, закрепленные на цепях и притом совершенно гладкие, *голые*...

Гена. А-а-а...

Профессор. Вот тебе и «а-а-а»... Ладно, тут не угадал. А, скажем, «кричать во всю ивановскую» – это что значит?

Гена. Громко кричать.

Профессор. И все?

Гена. Все.

Профессор. Небогато. А «от доски до доски»?.. Нет, ты мне не объясняй, что это, мол, значит от начала до конца, ты расскажи, откуда выражение взялось... Молчишь? То-то. А «коломенская верста»? А «игра не стоит свеч»?

Гена. Стойте, Архип Архипыч! Про игру я догадался!

Профессор. Наконец-то!

Гена. «Игра не стоит свеч» – это... Ну, когда в мяч играют, в волейбол или там в лапту, так если кто мяч очень высоко вверх запустит, то говорят: свечу дал!

Профессор *(насмешливо)*. И что дальше?

Гена *(теряя уверенность)*. Ну... Не стоит такие свечи давать. Так, наверное.

Профессор. Нет, Геночка, догадка твоя совсем беспомощная!.. Хорошо. Объясняю все по порядку. Выражение «кричать во всю ивановскую» идет от древнего обычая, когда в Московском Кремле, на Ивановской площади, – на той, что возле колокольни Ивана Великого, – оглашались царские указы...

Гена. Ага! И очень громко, значит, оглашались!

Профессор. Разумеется. Так, чтобы было слышно во всех концах площади. А «от доски до доски» – совсем просто. Ведь переплеты у старинных – очень толстых, громоздких – книг делались из... из... Ну же, Гена!

Гена. Из досок!

Профессор. Вот именно. Из досок, обтянутых кожей. Выходит, прочитать книгу от доски до доски значило: от переплета до переплета, всю насквозь. А когда мы про кого-нибудь говорим: «Экая коломенская верста...»

Гена *(рад, что знает хоть нынешнее значение)*. Длинный то есть! Высокий!

Профессор. Естественно. Так вот, когда мы это говорим, мы сами обычно не отдаем себе отчета, почему именно коломенская. Верста – куда ни шло, а вот... В общем, все в той же древности между Москвой и селом Коломенским, где находилась летняя резиденция царя Алексея Михайловича, стояли особенно высокие верстовые столбы. Теперь все понял?

Гена. Как все? А «игра не стоит свеч»?

Профессор. Ах да. Ну, это тоже небольшая хитрость. Это переведено с французского и относится, уж конечно, не к волейболу и не к лапте, а к карточной игре. Играли-то прежде при свечах, электричества не было, и вот если выигрыш был уж очень мал, то говорили, что, дескать, он не окупает даже сгоревших свечей. Так-то, дружок!

Гена. Ладно, Архип Архипыч. Пусть я ничего такого не знал. Конечно, я понимаю, это, может, и нехорошо, но только какая польза от того, что я теперь это знаю? Все равно же я и раньше понимал, что все эти выражения примерно значат.

Профессор. Примерно, говоришь... То-то и беда, что примерно. А ведь я вел речь о необходимости по-настоящему владеть русским языком, чтобы он был для тебя *«живой как жизнь»* – так назвал свою книгу о нем, о языке, Корней Иванович Чуковский. Не случайно писатели заботятся о том, чтобы язык и вправду был живым, чтобы все забытые или забывающиеся значения слов, сравнения, образы воскресали и жили...

Гена. Заботятся? А как? Статьи пишут?

Профессор. Статьи статьями, не только в них дело. По-разному заботятся. На первый случай, чтоб недалеко ходить, вот тебе хоть бы это – опять из раннего Чехова.

Раздается голос человека – молодого, но уже побитого жизнью, как бы читающего что-то вроде лекции и одновременно иронизирующего над ней и над самим собою.

«Лектор». Милостивые государи и государыни! Позволю начать мою сегодняшнюю лекцию с того, что, по мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции...

Гена. Чего-чего?

«Лектор» *(разумеется, не слыша и не слушая его)*. Да-с! И я не имею причин не соглашаться с этим. У одного ученого читаем: «Чтобы отыскать душу, нужно взять человека, которого только что распекало начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем

вскройте пятку и вы найдете искомое»...

Гена *(смеется, как настоящий благодарный слушатель).* Ничего, правда, Архип Архипыч?

«Лектор». Я верую в переселение душ. Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за все время моего земного прозябания пребывала во многих животных и растениях. Я был *щенком,* когда родился, *гусем лапчатым,* когда вступил в жизнь. Определившись на службу, я стал *крапивным семенем*...

Гена. Крапивным? А это что значит, Архип Архипыч?

Профессор *(нетерпеливо).* Так в старой России презрительно называли приказных, попросту говоря, чиновников. Ты слушай, слушай!

«Лектор». Начальник величал меня *дубиной,* приятели – *ослом,* вольнодумцы – *скотиной.* Путешествуя по железным дорогам, я, милостивые государи, был, можете себе представить, *зайцем!*..

Голос «лектора» прерывается.

Профессор. И так далее. Я думаю, достаточно. Ну, как?

Гена *(смеется).* Смешно! Как это он там? Я, говорит... *(Отсмеявшись.)* Но только это же все так, просто в шутку!

Профессор. Конечно! Хотя, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Вот и здесь, в этой вполне бесхитростной юмореске Антоши Чехонте по-своему сказалась писательская страсть воскрешать слова и выражения, давать им новую жизнь или возвращать старую, пробовать слово на вкус, разглядывать на свет, осязать и обонять его, в общем, относиться к нему, как к *живому.* Но бывает, что в подобных случаях писателям совсем не до шуток... Тебе ведь известно словосочетание: «нервы расходились»?

Гена. Кому ж оно неизвестно? Я и сам так говорю.

Профессор. Так вот послушай, как это *говорит* поэт:

«Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот –
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой».

Гена *(уважительно)*. Это Маяковский, да?

Профессор. Угадал. Видишь, что здесь произошло? Мы произносим: «У меня что-то нервы расходились», как готовую и всем известную формулу, мимоходом, между прочим, только сообщая это собеседнику, всего-навсего информируя его. А тут...

Гена. Да уж! Тут прямо фантастика какая-то! Нервы не то что расходились, а вон что вытворяют: прыгают! Мечутся!

Профессор. Не фантастика, а поэзия. Искусство слова. И заметь, как все это действует на нас, как волнует, как будоражит, – вон даже ты возбудился; совсем не так, как подействовало бы беглое сообщение о состоянии нашей нервной системы. Потому что образ как бы развернут, раскрыт, материализован, повторяю, воскрешен. Вот что такое настоящий художник слова!.. Вообще должен сказать, что путешествие, в которое мы сегодня так нечаянно отправились, не зря оказалось путешествием все-таки никуда иначе как в литературу, хотя начали-то мы с разговора о языке. У них, у литературы и языка, связи, сам понимаешь, вообще неразрывные. И самые разнообразные. Иногда писатель берет старое, затертое выражение и дает ему новую жизнь – как в стихах Маяковского. А иной раз – наоборот. Именно писатель и рождает какое-нибудь яркое выражение, которое мы тут же подхватываем и начинаем употреблять в хвост и в гриву, пока оно совсем не сотрется и не обезличится, причем, как не слишком благодарные люди, даже не помним, кому именно этим выражением обязаны...

Гена *(деловито)*. Например?

Профессор. Ну, допустим, все мы часто и даже слишком часто повторяем: «красная нить... эта мысль проходит красной нитью...» – и так далее. Честное слово, даже надоело! А известно ли тебе, что некогда это был очень свежий и смелый образ?

Гена. Ну да?

Он удивлен, и его можно понять: нам это тоже довольно трудно вообразить.

Профессор. Уверяю тебя! Вот отрывок из одного знаменитого романа. «В английском морском ведомстве, как мы слыхали, заведен особый порядок: все снасти в королевском флоте, начиная от самого крепкого каната и кончая самой тонкой бечевкой, сучатся так, чтобы через них проходила красная нить,

которую нельзя из них вытащить, не распустив всей веревки; по этой нити можно установить на самом небольшом отрезке веревки, что она принадлежит казне...»

Гена (с *пониманием)*. Это чтоб не украли, что ли?

Профессор *(рассмеялся)*. Может быть... Ты слушай дальше: «Такая же нить проходит через весь дневник Оттилии, нить любви и привязанности, которая все в нем связывает и характеризует целое». *(Захлопывает книгу.)* Это из романа величайшего немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете «Избирательное сродство». Считается, что именно там это выражение употреблено впервые, и рассказывают даже, что у Гете хранился кусок такого каната с красной нитью, который подарил ему один англичанин, корабельный врач.

Гена. А я ничего этого и не знал!

Профессор. Да, можно сказать, что эта красная нить была в твоем образовании белым пятном. И если бы только она! Скажи, в каком художественном произведении впервые возникло словосочетание, которое ты тоже наверняка повторяешь время от времени: «Мы пахали»?

Гена. В каком?.. Сейчас... Эх, забыл! Помню только, что там что-то такое с мухой связано.

Профессор. Немного, но и на том спасибо. А где родились такие поистине крылатые выражения, как «разбитое корыто»? «Тришкин кафтан»? Или – «рыльце в пуху»? Тоже – «эх, забыл»?

Гена. Почему обязательно забыл? Помню! «Тришкин кафтан» – ясно, откуда. «Корыто» – тоже. А «рыльце в пуху» – это... это...

Профессор. Ну, вот что! Ты себе можешь ломать голову сколько угодно, а нам с нашими юными слушателями некогда тебя ждать. Так что уповай на них. На их сообразительность.

СЧАСТЛИВЦЕВ И НЕСЧАСТЛИВЦЕВ МЕНЯЮТ ПРОФЕССИЮ

Это путешествие, совершаемое, как скоро выяснится, не без помощи Почтового Дилижанса, начинается точь-в-точь на том самом месте, что и второе действие пьесы Александра Николаевича Островского «Лес». Место то же, и герои те же.

Несчастливцев *(оглушительным басом трагика).* Аркашка!

Счастливцев *(как водится, у него жидкий тенорок).* Я, Геннадий Демьяныч. Как есть весь тут.

Несчастливцев. Куда и откуда? Как всегда, из Вологды в Керчь?

Счастливцев. Точно так-с! А вы, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. Будто не знаешь! Из Керчи в Вологду, ясное дело. Ты пешком?

Счастливцев. На своих-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?

Несчастливцев. В карете!

Счастливцев. Хе-хе! Шутить изволите, Геннадий Демьяныч!

Несчастливцев. Какие шутки, Аркадий? Не то что в карете, а бери, брат, выше. В самом Почтовом Дилижансе! Видишь, поодаль в лесочке стоит?

Счастливцев. Откуда ж такое богатство, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. А это, Аркадий, понимаешь ли... Впрочем, после!

Счастливцев. Как будет угодно, Геннадий Демьяныч... *(Очень фальшиво.)* Но вы только подумайте, а? Вот так встреча! Вот уж не ожидал! И что главное, опять мы с вами точка в точку

сошлись! У самого этого столба, на котором две доски разные пути указуют... Какие там в точности? Я уж и позабыл было... Ах да! *(Читает.)* «В город Калинов... В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской...».

Несчастливцев. А ты, братец, бросил бы шута ломать! Экое, скажи на милость, удивление! Да мы с тобой на этом месте уже столько лет и зим встречаемся, что пора бы привыкнуть. Погоди, а сколько же именно?.. Сейчас посчитаем. Стало быть, в первый раз встретились мы тут с тобой... дай бог памяти... в одна тысяча восемьсот, братец ты мой, семьдесят первом году.

Счастливцев. В точности так, Геннадий Демьяныч! В городе Петербурге, в Александрийском театре, аккурат в бенефис Бурдина, который вас и играл!

Несчастливцев. Видишь? Выходит, встречаемся мы с тобой, Аркашка... да нет, и не сочтешь! Словом, так давно, что каждая здешняя собака, только спроси ее, тотчас тебе скажет: «Он, скажет, то есть я, есть никто иной, как знаменитый трагик Геннадий Несчастливцев, который по всем российским городам гремел, и происходит он из комедии Островского «Лес». Ну а тот, скажет, что пожиже да пообтерханней, это Счастливцев Аркадий. Тоже будто из актеров, хотя какое же сравнение! Одно слово, комик!»

Счастливцев. Опять шутите! Да вы и всегда веселого нрава были. Не забуду, как служили мы с вами в одном театре в Костроме, так вы, бывало...

Несчастливцев. Не до воспоминаний сейчас, Аркадий! Скажи-ка лучше, что у тебя в твоем узле?

Счастливцев. Библиотека-с!

Несчастливцев. А, помню, помню, водевили с нотами! И зачем ты до сих пор эту дрянь носишь?

Счастливцев *(с достоинством)*. Нет, Геннадий Демьяныч, не водевили! Драмы-с! И комедии! Теперь и мы учены стали – одного Островского Александра Николаевича, благодетеля моего, полное собрание имею!

Несчастливцев. Вот за это хвалю! Нужная вещь, братец!

Счастливцев. То-то, Геннадий Демьяныч! Ну а у вас в ранце что?

Несчастливцев. Что? А вот гляди... *(Вынимает поочередно.)* Пара платья хорошего, в Полтаве сшил... Жаль, фрака нет; был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял. Что за трагик, коли принца Датского не играет? Впрочем, тебе не понять...

Счастливцев. Почему же-с? Да когда в Сарапуле «Гамлета» давали, я, Геннадий Демьяныч, если хотите знать, за сценой

петухом кричал!

Несчастливцев. Петухом? Коли так, ты, Аркадий, у нас важная птица! Ха! Ха! *(Театрально смеется.)* Однако пойдем далее. Складная шляпа, братец, два парика... Пистолет тут у меня хороший, у черкеса в карты выиграл в Пятигорске...

Счастливцев. А это что же, Геннадий Демьяныч? Никак, письма?

Несчастливцев *(значительно)*. Они.

Счастливцев. Эдакая-то уймища? Да кто ж их вам прислал?.. А, понимаю, Геннадий Демьяныч! Поклонницы?

Несчастливцев *(с досадой, потому что ему, прямо скажем, не очень хочется опровергать это предположение)*. Не то, братец! С этими письмами, скажу я тебе, закавыка вышла. Иду я, Аркадий, как и ты, пешком, вдруг вижу, нагоняет меня этот самый Почтовый Дилижанс. А на козлах молодец не нашего обличья – ни дать ни взять слуга из переводной комедии. «Сэр!» – кричит... Это он мне: «сэр!»... «Не вы ли, кричит, будете прославленный на всех земных континентах артист Геннадий Несчастливцев?»

Счастливцев *(ахнув)*. Так и сказал: на континентах?

Несчастливцев. Разумеется, так!.. Впрочем, понимаешь ли, лошади ржут, колеса стучат, ветер свистит, как в «Короле Лире»... Словом, неразборчиво... Я, говорю, самый. А с кем имею честь? – Сэм, отвечает, Уэллер, к вашим услугам!

Счастливцев. К услугам, ишь ты! Вот что оно значит, иностранное-то воспитание. Не нам чета! А сам-то... или не сам, а Сэм? Уэ... Уэ... Да эдак и язык сломишь! Из какой же он такой комедии, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. То-то и штука, что оказалось: не из комедии, а из романа английского. «Пиквикский клуб» – так, кажется. И еще этот самый Уэллер к Почтовому Дилижансу приставлен и на нем всякие письма развозит. Ну а что до услуг, то с ними-то он, наоборот, ко мне обратиться намерился.

Счастливцев. Ишь ты! Вот я и говорю: от иностранца всегда каверзы жди. Не то что наш русак, простая душа!.. Да на что вы-то ему понадобились?

Несчастливцев. Я было и спросил: не обознались ли? Нет, говорит, у нас промахов не бывает, как сказал охотник, угодив вместо куропатки в приятеля. Тут, говорит, господин Несчастливцев, у меня письма от наших юных слушателей, и среди них одно такое, на которое – как, говорит, мне сказали сведущие люди – вы с вашим другом Аркадием Счастливцевым...

Счастливцев. Так и сказал: со мной, дескать?

Несчастливцев. Так и сказал. ...Вы, говорит, с вашим другом лучше всех можете ответить. Даже, говорит, лучше самого

Шерлока Холмса...

Счастливцев. А это что за Шерлок такой? Шейлок – знаю, сам даже в «Венецианском купце» лицо без речей играл, а вот Шерлок...

Несчастливцев. Да что ты пристал, братец? Откуда мне знать? «Так что, – это англичанин-то мне, – забирайте себе мой Почтовый Дилижанс и дуйте, куда письмо покличет». А то, мол, все я да я. Надо, говорит, жить и делиться по-братски, как сказал папаша, выпоров одного сына и берясь за другого. Слез с козел – да только я его и видел.

Счастливцев. Скажите, Геннадий Демьяныч, честь-то какая!

Несчастливцев. Что честь, братец? Дело надо делать. То бишь письма читать. Авось и набредем на то самое, на счет коего, как он сказал, мы с тобой доки... Начинай, Аркадий! Вот тебе письмо. Да читай как следует, а то я ваше племя, комиков, знаю!

Счастливцев. Будьте покойны, Геннадий Демьяныч! *(Откашливается, по-актерски пробует голос и начинает читать, увы, в дурной, так называемой ложноклассической манере.)* «Здравствуйте! Пишет вам ученица седьмого класса из города Челябинска...». Че-ля-бин-ска? Ну и ну! Кажется, всю Россию исходил, из Ростова меня губернатор приказал нагайками гнать, в Архангельск, помню, по морозу везли, так по причине легкости одежды в большой ковер закатывали, а в Челябинске не бывал!

Несчастливцев. Ну, будет, Аркадий! Ты, брат, моего терпения не испытывай. Сказано: читай без фокусов!

Счастливцев. Читаю, Геннадий Демьяныч!.. «Из города Челябинска Гусева Наташа. Вы просили ответить, из каких произведений вышли те крылатые слова, о которых вы говорили. Вот мои ответы. «Мы пахали!» – это ироническое замечание о тех, кто присваивает себе заслуги других. Выражение пришло в речь из басни Ивана Ивановича Дмитриева «Муха» (1803 год). «Бык с плугом на покой тащился по трудах...». Геннадий Демьяныч! Я старую знакомую встретил!

Несчастливцев. Какую еще знакомую? Сам же говоришь: в Челябинске не бывал.

Счастливцев. Да нет, вы не о том! Муху!.. То есть – тьфу! – басню! Ведь я ее в Костроме на благотворительном вечере в пользу нищих актеров читал! Уж и аплодисмент был!.. *(Читает, завывая и очень пережимая в «выражении».)*

«Бык с плугом на покой тащился по трудах!
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали,
«Откуда ты, сестра?» – от этой был вопрос.

А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? Мы пахали!»

Несчастливцев. Довольно, братец. Тут не одно твое письмо. Вот и еще есть из... не разберу что-то... из села Побегайловки Ставропольского края от Светланы Свенской. «Пишу вам впервые. Я учусь в девятом классе. Класс у нас дружный, хотя маленький. Вот ответы на ваши вопросы. Выражение «Тришкин кафтан» из комедии Фонвизина «Недоросль»...

Счастливцев. «Недоросль»? Как же так, Геннадий Демьяныч? Воля ваша, не то что-то. Мне ли «Недоросля» не знать? Я в нем Кутейкина играл и, вообразите...

Несчастливцев. Знаю, знаю! Уж и аплодисмент был!

Счастливцев. Как вы угадали? Не отрицаю, был! Да только вот в чем загвоздка: Тришка там есть, и кафтан есть, а выражения такого нету! Разрази меня гром, нету!

Несчастливцев. Не божись, Аркадий, верю. То есть сам я в комедиях ваших, как тебе, братец, известно, отродясь не игрывал – мне бы Отеллу какого-нибудь раздраконить да Велизария, – но вот Илья Рогозин, аккурат из-под Вологды, куда я как раз стопы направлял, он твою руку держит. Точно, говорит, нету – и баста. Зато, пишет, «есть такая басня Крылова «Тришкин кафтан». Однако где ж то письмо, что до нас с тобой прямо касается? Не это ли? *(Читает.)* «Рыльце в пуху» – выражение из басни Крылова «Лисица и Сурок». Там Сурок говорит Лисице: «Нет, кумушка, я видывал частенько, что рыльце у тебя в пуху». Дмитрий Шишкин, ученик восьмого класса из Омска». Верно-то оно верно, да опять не об том. Экая незадача!

Счастливцев. Вот, Геннадий Демьяныч, вы все меня попрекаете: Аркашка шута ломает, Аркашка хвастун! А письмо-то, которое вы ищете, – я ведь его нашел! Вот оно-с!

Несчастливцев *(мирно)*. Ну а коли нашел, так не хвастай опять, а читай, братец!

Счастливцев. Нет, право, обидно! Я, мол, и то, я, мол, и се, а, может, на провинции-то я...

Несчастливцев. Аркадий!!

Счастливцев *(струхнув)*. Читаю, читаю! «Вам пишет Сева Волокитин из Пензы. Ответить на ваши вопросы мне было, конечно, нетрудно. Я...».

Несчастливцев. Ну, ответы ты, братец, пропусти. Будет!

Счастливцев. Пропущу, Геннадий Демьяныч!.. *(Бормочет.)* «Мы пахали... Разбитое корыто... Тришкин кафтан...». Вот-с! «В общем, благодаря таким писателям, которые создают крылатые

выражения, язык наш как раз и обогащается. Это Грибоедов, Крылов и другие. Но ведь чаще бывает так, что писатель, наоборот, берет такие крылатые выражения, которые до него уже давно были крылатыми. Так давно, что никто, наверное, и не помнит, откуда они взялись. Вот, например, А.Н. Островский. Я где-то читал, что у него из сорока восьми его пьес целых пятнадцать озаглавлены русскими народными пословицами...». Эка, хватил! Пятнадцать! Это, выходит, чуть не треть? Нет, брат, шалишь! Да взять хоть нашу с вами комедию – что у нее за заглавие? Просто «Лес». Одно слово – и точка. Пятнадцать! Прочел где-то да и поверил, с молодых-то глаз!

Несчастливцев. Погоди, Аркадий! Не делай напрасного шуму. А лучше развяжи-ка свой узел, коли не соврал, что всего Островского в нем таскаешь.

Счастливцев. Опять обижаете, Геннадий Демьяныч! Когда ж я врал? Вот-с, извольте убедиться!

Несчастливцев. Ишь ты! А ведь и в самом деле!.. Ладно, тогда давай полистаем в четыре руки. Проверим, коли не верится.

Счастливцев. Извольте!.. «Поздняя любовь»... «Последняя жертва»... «Бесприданница»... «Гроза»... Ну, где ж тут?.. А, нет, и вправду есть кое-что этакое! «Бедность не порок»... «Не в свои сани не садись»... «Не так живи, как хочется»... «Светит, да не греет»...

Несчастливцев. То-то, брат! А ты еще сюда глянь! «Не все коту масленица». «Не было ни гроша, да вдруг алтын». «Правда – хорошо, а счастье лучше».

Счастливцев. Да, Геннадий Демьяныч, признаю: дал маху. Вот и у меня: «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты...»

Несчастливцев. Стой, стой! Именно что довольно, братец! Сочлись! Стало быть, пензяк-то наш в точку попал. Так что читай его письмо дальше уже безо всякого сомнения!

Счастливцев. Что теперь сомневаться, Геннадий Демьяныч? *(Продолжает, естественно, опять «с выражением»)*. «И я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Островский так поступал...» *(Присвистнув.)* Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Не понимает – каков? «Ведь он такой великий писатель...». Слава богу, хоть это понимаешь!.. «Неужели он не мог придумать своих собственных крылатых выражений? Например, у него есть три пьесы про одного и того же героя, Мишу Бальзаминова. И все три названы русскими народными пословицами: «Праздничный сон – до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь»...»

Несчастливцев *(нетерпеливо)*. Ну, будет, Аркадий! Дальше

не надо!

Счастливцев. Куда дальше, Геннадий Демьяныч? Вот оно, молодое-то поколение, а? Молоко на губах не обсохло, а на кого руку поднял!

Несчастливцев. Не то говоришь, братец! Какая рука? Время не для чего терять, вот что! Я ведь докумекал, зачем меня в этот самый Почтовый Дилижанс усадили. Ехать надо, Аркадий, а не пеньки просиживать. Ехать и все как есть на месте распознать!

Счастливцев. Да куда ехать-то?

Несчастливцев. А и бестолковщина же ты! Где этот Бальзаминов обитает? В Замоскворечье. Стало быть, туда!

Счастливцев. Легко сказать! От Пеньков до самой Москвы – это сколько же верст будет?

Несчастливцев. Не трусь, братец! Со мною не пропадешь. В дорогу, товарищ!

Разумеется, они не пропали и не сбились с дороги: иначе мы бы сейчас не слыхали голосов Миши Бальзаминова и его матери.

Мать. Ах, Миша, Миша, глупенький ты у меня уродился, вот беда-то! Ну, избегаешься ты, найдешь себе невесту богатую, самую что ни на есть миллионщицу, да ведь только что рот раскроешь, как дадут тебе поворот от тесовых ворот. Что-то она скажет, как поговорит-то с тобой? Умных ты слов не знаешь.

Миша. Это, маменька, нужды нет. В нашем деле все от счастья; тут умом ничего не возьмешь. Другой и с умом, да лет пять даром проходит; я вот неумен, да женюсь на богатой.

Мать. Вот что, Миша, есть такие французские слова, очень похожие на русские, я их много знаю. Послушаешь иногда на именинах или где на свадьбе, как молодые кавалеры с барышнями разговаривают, – просто прелесть слушать.

Миша. Какие же это слова, маменька?

Мать. Вот слушай! Ты все говоришь: «я гулять пойду!» Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: «я хочу проминаж сделать!»

Миша. Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите. Проминаж лучше.

Мать. Про кого дурно говорят, это – мараль.

Миша. Это я знаю-с.

Мать. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, – как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по-французски: «гольтепа!»

Миша. Гольтепа. Да, это хорошо.

Мать. А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форс-то собьют, – это «асаже» называется.

Миша. Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Асаже, асаже...

Мать. Дай только припомнить, а то я много знаю.

Миша. Припоминайте, маменька, припоминайте!.. Да, я вам и забыл сказать, какой я сон видел! Вот разгадайте-ка!

Мать. Ну, говори, говори!

Миша. Вот, вдруг я вижу, будто я еду в хорошей коляске и одет будто я очень хорошо, со вкусом: жилетка будто на мне, маменька, черная, с мелкими золотыми полосками; лошади будто серые, а еду я подле реки...

Мать *(авторитетно)*. Лошади – ложь; река – речи, разговор.

Миша. Слушайте, маменька, что дальше было. Вот вижу я, будто кучер меня уронил, во всем-то новом платье, и прямо в грязь!

Мать. Грязь – это богатство.

Миша. Да грязь-то какая, маменька! Бррр... И будто я в этом... весь перепачкался!

Мать. Это... это... золото!

Миша. Ах, кабы сбылось!

Мать. А вот подождем. Праздничный сон до обеда сбывается, коли до обеда не сбудется, так уж что делать, значит, опять у нас, Миша, ничего не выйдет...

В этот самый миг Несчастливцев со Счастливцевым появляются у Бальзаминовых.

Несчастливцев. Слышишь, Аркадий? «Праздничный сон – до обеда»! Стало быть, братец, мы с тобой туда и прибыли, куда метили.

Мать. Ахти! Никак, гости? А у меня не прибрано, да и сама я...

Несчастливцев *(до невозможности галантно)*. О, не беспокойтесь, сударыня! Добродетель не нуждается ни в каких покровах! Извините великодушно вторжение двух странников по морю житейскому и изъясните, отчего вы с такой скорбью помянули стародавнюю российскую пословицу?

Мать. Да что объяснять-то, батюшка? У нас все наружу. Миша мой... Ну, сами видите, и хорош, и пригож, да вот умом-то...

Миша *(укоризненно)*. Ма-аменька!

Мать. Ах, Миша! Что на лице написано, того не упрячешь. Вот, значит, и в прошлый раз увидал он сон, будто, дескать, быть ему в богатстве, а я ему и тогда сказала: «Ой, Мишенька, праздничный сон – до обеда...»

Несчастливцев. То есть: не радуйся прежде времени?

Мать. Точно, батюшка, только по пословице-то оно словно складнее выходит.

Несчастливцев. И что ж, сударыня, полагать надобно, так и сбылось?

Мать. Ох, в точности! Как пословица предписала, так и... Да то ли еще было! Миша-то мой еще одну присмотрел – та как раз с кавалером своим побранилась, ну, Миша и смекает: вдруг на этот случай ему пофартит? И сперва оно так будто и выходило, ан...

Несчастливцев. Ан «свои собаки грызутся, чужая не приставай»?

Мать. Как это ты угадал, батюшка? Это самое Мишеньке моему там и сказали... Бесстыжие их уста! Да только я все одно в надежде: хоть что-нибудь да перепадет же на его долю? Ну, пусть не то, об чем замечтался, да хоть по его мерке, убогого моего...

Миша. Ма-аменька!

Несчастливцев. Понимаю! «За чем пойдешь, то и найдешь»?

Мать. То-то и оно! Экий же ты понятливый! А не прикажешь, сударь, чайку? Пирожка домашнего? Молочка парного?

Счастливцев. Молочка? А ведь это идея! Разумеется, сударыня, ежели оно от бешеной коровки!

Несчастливцев. Аркадий! Нет, сударыня, благодарствуйте, ибо мне пора туда, куда ведет меня мой жалкий жребий! Одним словом, оревуар! Адье! О, вспомяни меня в своих святых молитвах! Прощай, прощай и помни обо мне!

Мать. Ах! Миша! Миша! Слыхал, как образованные-то люди разговаривают? А ты-то...

Миша. Ма-аменька!

Но оба актера уже в дороге.

Несчастливцев. О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха!

Счастливцев. Вы это о чем, Геннадий Демьяныч?

Несчастливцев. Как? Ты не понял, зачем совершил я этот визит? Да возьми ты этого дурака Бальзаминова... Как, по-твоему, Аркашка, он – дурак?

Счастливцев. Как не дурак, Геннадий Демьяныч? Куда уж глупее?

Несчастливцев. В том-то и штука. А теперь сообрази, братец: его, дурака этого Бальзаминова, смешная, нелепая, жалкая судьба...

Счастливцев. Вот уж точно, что жалкая!

Несчастливцев. Не мешай!.. Его, говорю я, смешная и жалкая судьба – даже она, Аркадий! – как бы подчинена тем, братец,

законам, которые установила народная наша мудрость. Народная – понимаешь? – вот для чего Островскому непременно понадобилось забавные эти комедии, как и прочие свои пьесы, озаглавить пословицами. Той, стало быть, мудростью, которую народ создал, выносил и многократно проверил. И выходит, что не один этот дурачина счастья своего дурацкого ищет, а словно бы сам народ за ним, за дурашкой, следит, смеется над ним, а то и жалеет. Понятно ли тебе это, братец?

Счастливцев. Понятно-то оно понятно, Геннадий Демьяныч, да больно... того. Мудрено! Вот ежели б вы...

Несчастливцев *(безнадежно)*. Молчи! Вижу – не понял... Что ж! Артист Геннадий Несчастливцев сумеет пережить и это, увы, не первое разочарование – только б сыскались на свете умные и добрые люди, которые услыхали бы его и поняли! Авось и сейчас слышат!

ВСЕМ СЛУГАМ ПО СЕРЬГАМ

Холмс. А ну-ка, дорогой Уотсон, примерьте это одеяние. Я хочу убедиться, по плечу ли оно вам.

Как вы уже догадались, Почтовый Дилижанс вновь поступил во владение Холмса.

Доктор Уотсон. По плечу? Мне? Позвольте, но ведь это, если я не ошибаюсь, ливрея? Такая же, как на кучере нашего Дилижанса Сэме Уэллере?

Холмс. Точно такая... Но, по-моему, вы шокированы, Уотсон? Если так, позвольте вам напомнить, что в интересах следствия мне, Шерлоку Холмсу, приходилось облачаться даже в лохмотья нищего.

Уотсон. Бог с вами, Холмс! У меня нет сословных предрассудков. Просто я не могу понять, к чему этот маскарад.

Холмс. Разумеется, и на этот раз для участия в следственном эксперименте, к которому нас призывает вот это письмо. Ознакомьтесь.

Уотсон. Охотно... «Государь Андрей Петрович, отец наш милостивый!..» Что такое, Холмс? Это письмо адресовано вовсе не нам с вами. А разве читать чужие письма достойно джентльмена?

Холмс. Ценю вашу щепетильность, но положитесь на меня. Читайте смело.

Уотсон. Ну, если так... «...отец наш милостивый! Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских

приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос... А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабски. Верный холоп ваш Архип Савельев». Ничего не понимаю... Холмс! Объясните, как к вам попало это странное письмо.

Холмс. Лучше меня это объяснит вам школьница из Иркутска Ася Стороженко, послушайте, что она пишет: «Дорогие Шерлок Холмс и доктор Уотсон! Прошу вас ответить на вопрос, в котором сама не могу разобраться. Мне очень нравятся прозаические произведения А.С. Пушкина и особенно повесть «Капитанская дочка», а в ней разные герои, например Петруша Гринев, Маша Миронова и слуга Архип Савельич. Но вот про него-то я как раз и хотела вас спросить. Савельич очень хороший. Он любит Петрушу, готов пожертвовать за него жизнью, вообще он добрый и честный. Но в нем, по-моему, много рабского, он даже говорит каким-то рабским языком, называет себя холопом и другими словами, как в том письме, которое я для вас специально выписала, чтобы вы не тратили времени зря». Короче говоря, Уотсон, Ася Стороженко просит нас с вами расследовать наконец, каков же он, этот Савельич. Хороший он или, так сказать, не очень хороший.

Уотсон. Понимаю. И для того чтобы проникнуть в душу старого слуги, мне необходимо надевать ливрею?

Холмс. Так же, как и мне, Уотсон.

Уотсон. Ну, если так... Однако я не очень полагаюсь на свои актерские способности!

Холмс. Это уж пусть вас совсем не беспокоит. Даже мне в этом спектакле придется быть на вторых ролях, а премьером у нас будет наш славный Сэм Уэллер. Ему-то и ливрея и первая роль окажутся по плечу... *(Очень громко, потому что Сэм, как есегда, наготове держит свой Почтовый Дилижанс под окнами квартиры Холмса, на Бейкер-стрит.)* Сэм!!!

Сэм *(естественно, издали)*. Сэр?

Холмс. Надеюсь, вы готовы к дальней дороге? Лошади сыты и вы, как всегда, легки на подъем?

Сэм. Разумеется, сэр! «Я никогда не чувствовал себя так легко», – сказал пассажир, обнаружив, что у него украли весь багаж.

Холмс. В таком случае – в путь!

Сэм. Слушаюсь, сэр!.. Эй, вы, любезные!

Они уже едут, а доктор Уотсон никак не может избавиться от сомнений.

Уотсон. Холмс, вам не кажется, что левый рукав моей ливреи несколько морщит? Нет? А не слишком ли сутулым я в ней кажусь?.. Понятно. Кстати, а куда именно мы едем? На свидание с этим самым Савельичем?

Холмс *(терпеливо).* Нет, не морщит, мой друг... Не более чем обычно, Уотсон... Да, с Савельичем. Но не только с ним. Здесь понадобятся и другие его коллеги.

Уотсон. Этого еще не хватало! Выходит, нам придется изучать сразу несколько этих господ, то есть, наоборот, лакеев? Как я уже вам сказал, Холмс, сословные предрассудки мне чужды, и все же...

Но Холмс молчит, задирать его дальше Уотсон побаивается, а дурное настроение требует выхода – вот он и решает придраться к Сэму Уэллеру.

Кстати, Сэм! Я давно уже хотел сделать вам замечание. Что за дурной тон? *(Передразнивает его.)* «Эй, вы, любезныя-а!..» Почему вы позволяете себе выкрики, несвойственные вашему положению... ну, если не джентльмена, то по крайней мере спутника двух истинных джентльменов?

Сэм. «Повторите – и, пожалуйста, попонятнее», – сказала лошадь кучеру, когда тот хлестнул ее кнутом.

Уотсон. Изволите шутить? Или, может быть, думаете, что я к вам придираюсь? Тогда ознакомьтесь с письмом от Эльмиры Сафиной из Смоленска. Вот оно! «Я не знаю, – пишет Эльмира, – из какого произведения попал к вам кучер вашего Дилижанса...».

Холмс. Как? А я-то считал, что это известно решительно всем. Что ж, дорогая Эльмира из Смоленска, позвольте вам рекомендовать нашего друга. Мистер Сэмюэл Уэллер! Прославленный персонаж великого Чарлза Диккенса, а именно его романа «Посмертные записки Пиквикского клуба». Слуга и, можно сказать, ближайший сподвижник самого мистера Пиквика. Сэм, я ничего не забыл?

Сэм. Нет, сэр! «Прямо в яблочко», – как сказал Исаак Ньютон, когда открыл закон Ньютона.

Уотсон. Да погодите же! Ведь я еще не дочитал письма. «Но, – продолжает юная леди, – судя по восклицаниям, с которыми ваш кучер обращается к лошадям, например: «красавцы, любезные» и так далее, он больше привык управлять тройкой, чем таким сугубо английским экипажем». А? Что скажете, Сэм? Отчего вы молчите? Значит, вам, как говорится, нечем крыть?

Сэм. Hey you!

Уотсон. Что?.. Холмс, что он такое крикнул?

Холмс. Как, Уотсон? Вы не узнаете родной английский язык? А между тем наш исполнительный друг всего лишь решил удовлетворить желание – ваше и Эльмиры Сафиной!

Сэм. Hey you! My precious horses! Forward you run fearlessly without hesitation. Let our coach ride fast, as fast as an arrow flies!

Уотсон. Ах, в самом деле, что это я? Разумеется. Сладостные звуки Байрона и Шелли! Да, это действительно другое дело. Это вам не «любезныя»...

И вдруг происходит нечто странное. Слышны испуганное лошадиное ржанье, нескладный, сбивчивый топот, какой-то скрежет – в общем, шум надвигающейся и несомненной дорожной катастрофы.

Сэм *(отчаянно)*. What's happened? Why have you stopped on the road?

Уотсон. Холмс! Что стряслось с нашими лошадьми?

Холмс. Если я не забыл английский язык, то именно это Сэм и пытается у них выяснить!

Сэм. Damnit, sir, these stupid horses decided to be obstinate, God knows why!

Уотсон. Damnit, Холмс, да сделайте же что-нибудь!

Холмс. Придется, дорогой Уотсон! *(К огорчению юной слушательницы из Смоленска, и он вдруг кричит, как заправский российский ямщик.)* А ннну, тпрру, залетныя-а!..

Лошади сразу успокаиваются, и мы вновь слышим ровный и веселый стук их копыт.

Вот и все... Боюсь, мой друг, вы забыли, а девочка и не знает, какой необыкновенной тройкой управляет Сэм Уэллер и как разборчиво ему приходится обращаться с нашими быстроногими друзьями. Вот, рекомендую и их: Росинант, конь самого Дон Кихота...

Тот немедленно подает голос.

Ну этот хотя бы европеец. А другие? Холстомер! Конек-Горбунок!

Эти чудо-лошади тоже ответно и добродушно ржут.

Видите? На каком же языке с ними и разговаривать?.. А

главное, дорогая Эльмира, ведь мы сейчас не в романе Чарлза Диккенса, как и не в рассказе Артура Конан Дойла. Мы в Стране Литературных Героев. Если забыть об этом, забыть о ее законах, то отчего бы не удивиться, что и я, Шерлок Холмс, говорю на понятном вам языке, занимаюсь тем, к чему сэр Артур меня и близко не подпускал, а слышите вы меня по радио?..

Сэм. Тпрру! Стой, красавцы! Приехали, сэр! «Дальше некуда», – сказал шкипер, когда вместе с кораблем очутился на самом дне.

Холмс. Что же вы молчите, дорогой Уотсон? Решили смириться с Сэмовой манерой выражаться?

Уотсон. Ах, Холмс, после того, как мы пережили смертельную опасность, его выкрики звучат для меня самой прекрасной музыкой!.. Однако какое пестрое скопище людей! И обратите внимание: тем не менее кажется, они все отлично знакомы между собой.

Холмс. Ничего удивительного. Тут собрались скоротать свободный часок представители одной-единственной профессии – слуги из самых разных книг русской литературы.

Уотсон. Но как мы отыщем в этой толпе нужного нам Савельича?

Холмс. Доверьтесь чутью нашего Сэма. Видите, как уверенно он пролагает дорогу? Идемте за ним – только будем держаться поодаль. Признаться, я, как и вы, невысокого мнения о вашем искусстве перевоплощения, а чужаков здесь не любят. Если выйдет какое-нибудь недоразумение, боюсь, ваши рукава будут не только морщить...

Идут сквозь толпу, пока из ее гомона не выделится голос Савельича, спокойный, даже в жалобах сохраняющий внутреннее достоинство.

Савельич. ...И вот, слышь ты, как узнал старый барин, что Петр-то Андреич, дитя неразумное, схватился на шпажонках с треклятым этим шаматоном Швабриным и получил от него рану в самую грудку, тут он и рассердись. И изволил написать мне письмецо: зачем, стало быть, не доглядел...

Женский голос *(это Еремеевна из «Недоросля»).* Ишь ты! То-то тебе небось досталось!

Савельич. И не говори, кума! Стыдно тебе, пишет, старый ты пес, что, невзирая на мои строгие приказания, не донес мне о сыне моем Петре Андреиче. Я тебя, пишет, старого пса, пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку.

Еремеевна. И только-то? Ну, счастлив твой бог, Архип

Савельич! Да разве ж моя-то барыня, узнай она, что я от нее утайку сделала, так бы меня отчехвостила? И-и-и! У нас, у господ-то Простаковых, чуть что – сейчас на конюшню. Да как дерут-то, благодетели наши! Тришка-портной намедни Митрофанушке Терентьичу кафтан обузил... *(Шепотом.)* А может, и не обузил, может, на него госпожа-то напраслину возвела – все одно, по сей день сесть не может. А я, раба верная, уж на что за дитей слежу, да и то недоглядела давеча, как он с голубятни сверзился, так... Ох, беда моя! *(Всхлипывает.)* А ты, Савельич, за такого-то барина бога молить должен!

Савельич. Я и молю, Еремеевна, что лишнего говорить? А все обидно. За что ж он меня старым-то псом? Я и ответил Андрею Петровичу как есть прямо: ваша, говорю, боярская воля, а только я не старый пес, я, служа вашей милости, до седых волос дожил, да! А про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь о четырех ногах – да спотыкается. И в потворстве я не грешен, а выдавать Петра Андреича мне тоже не след...

Уотсон. А он положительно симпатичен, Холмс, не так ли? И рассуждает с достоинством, которое сделало бы честь и джентльмену!

Сэм. Справедливо заметили, сэр! Вашу руку, старина! Браво! Виват!

Савельич. Спасибо на добром слове, сударь, хоть и выражаетесь не по-нашему. Никак, приезжие будете?

Сэм. «Вот это – чистая правда», – сказал лжесвидетель, когда его уличили во лжи. Сию минуту из туманного Альбиона.

Савельич. Аль-би... Мудрено на наш слух, сударь. Уж это не во Франции ли, не приведи господи?

Сэм. А сейчас промахнулись, дедушка. Берите выше: это Британия!

Савельич *(успокоенно)*. А-а... А я грешным делом подумал... Насмотрелся я, сударь, на французика-то на одного. Мусью Бопре – не изволили слышать?

Сэм. Слышать слыхал, почтеннейший. И не дальше чем две минуты назад. Этого вашего мосье Бопре только что оттузил мосье Гийо, камердинер господина Онегина. Не порочь, говорит, нашу нацию, бесстыдник. Не безобразничай!.. А чтоб быть с ним знакомым – нет, этой чести не имел.

Савельич. Какая честь, сударь! Самый бесчестный человек! Его, слышь ты, к Петру нашему Андреичу определили, чтоб он его по-французски и всем наукам обучал, – как будто уж и своих людей не стало, как будто без треклятого мусью дитя не умыт и

не накормлен, а чему он его выучить может? Мотать да повесничать? Нет, сударь, платье, говорят, снову береги, а честь смолоду!

Еремеевна. А по мне, Савельич, что за честь, коли нечего есть? И, мой батюшка! Не для нашей это сестры, не для вашего брата. Нет, по мне господа пущай хоть какие безобразия творят, я им все одно потатчица. Холопкой была, холопкой умру, только бы куска не лишили. Черствый кусок – да мой, злодеи господа да милостивцы наши!

Савельич. Нет, не скажи, Еремеевна. Честному господину и служить лестно, а ежели кто без стыда да без совести, так тот...

Их прерывает хриплый, заспанный голос.

Голос. Мир всей честной компании!

Еремеевна. А, Захар Трофимыч! Милости просим!

Савельич. Честь да место. Давно не видно.

Уотсон. Холмс! Что эта женщина – служанка господ Простаковых, понял и я. А кто этот неопрятный субъект с огромными бакенбардами?

Холмс. Это, Уотсон, знаменитый Захар. Слуга не менее знаменитого Обломова.

Еремеевна *(льстиво).* Что ваш-то, Захар Трофимыч? Со двора, что ли, ушел?

Захар *(мрачно.)* Дрыхнет.

Савельич. Что так? Рано бы об эту пору. Нездоров, видно?

Захар. Э, какое нездоров! Нарезался! Поверите ли? Один выпил полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, да вон теперь и завалился.

Савельич. Тьфу, прости господи! Совсем как наш мусью!

Уотсон (в *ужасе).* Холмс! Неужели господин Обломов страдает этим ужасным пороком?

Холмс. Успокойтесь, мой друг, ничего подобного. Просто Захар любит, мягко говоря, преувеличивать.

Еремеевна (с *завистью).* Ишь ты, полторы бутылки... А нашу сестру за одну рюмочку махонькую – и за ту, того гляди, со свету сживут. Что ж это он нынче так подгулял?

Захар. Какое нынче! Всякий день так, да хорошо, коли заснет, а не заснет, так и давай браниться!

Еремеевна. Неугодлив, видно?

Захар. Так неугодлив, что беда! И то не так, и это не так, и ходить не умеешь, и подать-то не смыслишь, и ломаешь-то все, и не чистишь, и крадешь, и съедаешь... Тьфу, чтоб тебе!.. Сегодня напустился – срам слушать. А за что? Кусочек сыру еще от той

недели остался – собаке стыдно бросить, – так нет, человек и не думай съесть. Спросил – нет, мол, и пошел: тебя, говорит, повесить надо, тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо да щипцами калеными рвать; кол осиновый, говорит, в тебя вколотить надо! А сам так и лезет, так и лезет... Как вы думаете, братцы? Намедни обварил я ему – кто его знает как – ногу кипятком, так ведь как заорал! Не отскочи я, так он бы толкнул меня в грудь кулаком... так и норовит! Чисто толкнул бы... Нет, убьет когда-нибудь человека; ей-богу, до смерти убьет! И ведь за всякую безделицу норовит выругать лысым... уж не хочется договаривать.

Еремеевна. Ну, коли еще ругает, а не сейчас на конюшню да не приказывает дать двадцать пять горячих, так это славный барин. Вот я Архипу Савельичу про то толкую: коли ругается, так это дай бог здоровья такому барину.

Сэм *(весело)*. Верно, мамаша! «Не барин, а прямо клад», – сказал слуга, украв у хозяина пять золотых.

Захар. Чего-о? Какие такие пять золотых? Ты нешто видал? Что он говорит, православные? Ну, бывает, что греха таить, стащишь полтину-другую на табак или чтоб куму угостить, нельзя без того, а чтоб я у такого доброго, такого славного барина хоть один золотой взял? Да ты что про него полагаешь, а, нехристь?

Сэм *(миролюбиво)*. Спокойствие, дружище! Клянусь Почтовым Дилижансом, только что на этом самом месте вашего хозяина ругал вовсе не я.

Захар. А кто? Покажи – кто? Я вот его...

Сэм. Вы, уважаемый. «Имеющий уши да слышит», – сказал глухой, когда у него попросили взаймы.

Захар. Я? Чтоб я? Моего барина? Шалишь, брат! Да знаешь ли ты, кто он, мой барин-то? Да тебе и во сне не увидать такого барина: умница, красавец! Я у него как в царствии небесном: ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не назвал; живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду, куда хочу, – вот что! А ты... У! Прикатил невесть откуда да и насмехаться? Носит вас, побродяг, по свету, шерамыжников окаянных! Что слуга, что барин – все голь перекатная!

Сэм *(вспылил наконец)*. Послушайте, почтенный! Я не привык, чтобы...

Уотсон. Сэм, не связывайтесь с этим грубияном. Это ниже достоинства британского слуги!

Сэм *(неохотно)*. Дело хозяйское, сэр. Как прикажете.

Захар. А, так это, видать, и есть твой хозяин? Срам какой! Видано ли этакое? Глядите, братцы, уж и одеться барину не во что, совсем обнищал, коли одежду лакейскую напялил! А сам-то,

сам-то – даром что заморского роду, – как есть кляча некормленная!

Уотсон *(с глубоким презрением)*. Вы не понимаете английского стиля. Мы – нация спортсменов!

Захар. Эва! Скажи лучше – лопать нечего, вот тебе и весь стиль! Явились на нашу голову, голодранцы!

Уотсон *(тоже вспылив)*. Позвольте! Это не только оскорбление личности! Это оскорбление национального чувства! Как вы смеете... Вы... Вы...

Захар. А-а! Братцы! Видали? Он меня толкнул! Он мне одежу порвал! Видали, какая прореха?

Сэм. «Ври больше», – сказал адвокат, нанимая лжесвидетеля. Вы с этой прорехой сюда и явились, почтеннейший!

Холмс *(властно)*. Прекратите, Сэм! А вы, Уотсон, воспользуйтесь своим же советом хранить достоинство. Едем! Поскольку наше инкогнито благодаря вам раскрыто, делать нам здесь уже нечего!..

Они снова в дороге.

Уотсон *(виновато)*. Право, Холмс, мне очень жаль, что я не сдержался и сорвал ваш спектакль.

Холмс *(уже обретя свое хладнокровие)*. Ничего, Уотсон. Я рад и тому, что вы сделали это только под занавес, а до той поры, надеюсь, успели выполнить просьбу Аси Стороженко и составили мнение о Савельиче.

Уотсон. О да! Должен вам сказать, он мне сразу пришелся по душе. А уж в сравнении со служанкой господ Простаковых и этим наглым слугой господина Обломова он и вовсе выигрывает. Вот что касается их, то они, не скрою, произвели на меня неблагоприятное впечатление, хотя, как вам известно, я лишен...

Холмс. Лишены сословных предрассудков. Это мне, пожалуй, даже слишком хорошо известно. Но в общем вы правы, мой друг. Ведь дело не только в том, на какое место определила человека судьба или социальное происхождение. Дело в том, каким он сумеет быть, а Савельич не просто слуга Петра Гринева. Он, можно сказать, и друг его!

Уотсон *(чувствуя свою вину и перед Сэмом)*. Как и Сэм Уэллер является нашим истинным другом, не так ли?

Холмс. Без сомнения! Ведь вы не лишите нас этой чести, Сэм?

Сэм *(скрывая растроганность за своей обычной дурашливостью)*. Что вы, сэр! «Вы мне льстите», – сказал мелкий воришка, когда судья обвинил его в крупной краже. *(Смущенно.)*

Простите за шутку, сэр. Привычка.

Холмс. Ну вот. Короче говоря, Савельич остался человеком даже в своем положении крепостного раба, чего, увы, не удалось холопке Еремеевне, упивающейся своим холопством. А что касается обломовского Захара, то… Впрочем, я лучше предоставлю слово одному весьма авторитетному свидетелю.

Уотсон. Жаль. Значит, наш разговор придется отложить?

Холмс. Ничуть не бывало. Ибо свидетель – Иван Александрович Гончаров, и я, предвидя встречу с Захаром, а также… *(Несколько небрежно, как нечто не заслуживающее особого внимания – ничего не поделаешь, он не любит признавать, будто обязан кому-то своими успехами или необычными познаниями.)* А также следуя совету моего консультанта профессора Архипа Архиповича, прихватил в дорогу томик романа «Обломов». Вот, если угодно, можете сами прочесть, что думает автор о Захаре.

Уотсон. С превеликим удовольствием! Надеюсь, Гончаров по заслугам воздает этому лгуну и наглецу… *(Читает.)* «Захару было за пятьдесят лет. Он был уже не прямой потомок тех русских Калебов…». Простите, Холмс, что это за Калеб?

Холмс. Уж этого вы могли бы у меня не спрашивать, если так дорожите своим национальным достоинством. Ведь речь о нашем с вами соотечественнике, писателе Уильяме Годвине, и его романе «Калеб Уильяме», где изображен слуга, бесконечно преданный своему хозяину.

Уотсон. Ах вот оно что! Виноват… Итак: «…не прямой потомок тех русских Калебов, рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности к господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом и с упреком… Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и не воздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет… Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще и не слыхано… Он иногда от скуки, от недостатка материала для разговора или чтоб внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину…» Что ж, этот портрет вполне совпадает с тем, который мы имели столь сомнительное удовольствие лицезреть. Но я тем более не понимаю, Холмс, зачем вам понадобились показания этого свидетеля… простите – автора. В них нет ничего нового для нас с вами!

Холмс. Вы полагаете? Неужели вам не бросилось в глаза, что этого странного слугу, который то клянет своего барина, то

кидается на его защиту, Гончаров противопоставил старым слугам, старым временам?!

Уотсон. Я это заметил. Но что из того?

Холмс. То, дорогой Уотсон, что в этом выразилось удивительное свойство великой литературы – в ней решительно все, каждая мелочь не случайна. Она, эта мнимая мелочь, верно служит общему смыслу произведения, она входит незаметной и необходимой частичкой в целое – будь то крылатое слово, подхваченное или рожденное писателем, название его произведения, даже фамилия персонажа...

Вот тут Холмс мог бы даже и вовсе не говорить, что пользуется-таки помощью Архипа Архиповича: как видим, эта его реплика имеет прямое отношение к трем предыдущим путешествиям, объясняя хоть отчасти, зачем они совершались и, главное, куда ведут.

То же и здесь. Обломовский Захар, как и Савельич из повести Пушкина, как и Еремеевна, вовсе не главный герой романа. Он второстепенный персонаж, тот, который принято называть служебным...

Уотсон *(решив пошутить)*. Ну да, он ведь никто иной, как слуга!

Холмс. Право, вам приходилось острить и удачнее, мой друг... Но на деле он вовсе не служебный, то есть если и служит службу, то первостепенной важности. Он, как и его хозяин Обломов, чрезвычайно много говорит о духе времени, о том, что произошло к этому самому времени в русском обществе.

Уотсон. Доказательства, Холмс, доказательства!

Холмс. Потерпите, Уотсон. И вдумайтесь. Ведь и достопочтенный Савельич, и куда менее привлекательная Еремеевна – люди той эпохи, когда узаконенное рабство, крепостное право еще в расцвете и силе. Когда даже многие лучшие люди России не могут представить себе своей страны, идущей иным путем. А помещик Обломов и его крепостной человек Захар живут на пределе крепостного права, перед самым концом его, – ведь роман «Обломов» был закончен в 1858 году. И в эти годы уже многим и многим ясна противоестественность и противозаконность рабства. Это общее настроение. Оно сказалось не только в характере Штольца, активного и деятельного героя романа. Не только в самом Обломове, который не мыслит себя без прежней, крепостной Обломовки и умирает вместе с нею. Нет, даже та самая странность Захара, то, что он и предан барину, и обманывает его, любит и ругает, – тоже свидетельствует о

близком конце такого чудовищного явления, как крепостное право. Даже «рыцарь лакейской», как иронически выражается Гончаров, даже раб, обожающий господина, и тот по-своему, по-лакейски выражает свое отношение к рабству. Попросту тем, что скверно делает свое стародавнее дело... Уф! Признаюсь, этот монолог дался мне с не меньшим, если не большим, трудом, чем разгадка тайны человека со шрамом или пестрой ленты. И поэтому я позволю себе наконец замолчать. Сэм. Эй, любезные! Красавцы!

И Дилижанс уезжает – до новой встречи.

ЛОШАДЕНДУС СВАЛЕНДУС С МОСТЕНДУС

Сегодня Гена пришел к Архипу Архиповичу совсем уж не в деловом, а в очень веселом настроении: тот заметил это в первую же секунду.

Профессор. Что это ты нынче сияешь, как медный грош? Может быть, опять что-нибудь смешное перечитывал?

Гена. Почему? Что ж я, дальше книжек ничего не вижу?..

(Торопится рассказать.) Ой, Архип Архипыч, у нас сегодня на уроке физики такое было! Такое!.. Ну, просто готовый юмористический рассказ!

Профессор. Так уж и готовый?

Гена. Ну да! А то даже целая повесть! Сядь только, запиши как есть, – и все дела! Эх, жалко, нам уроков много задали, а то я прямо сейчас бы записал – вот бы все читатели со смеху поумирали... Да вы послушайте все по порядку. Приходит, значит, сегодня в школу Игорек наш Малашкин, а в руках у него...

Профессор *(мягко)*. Погоди! Я тебя с охотой выслушаю, только давай не теперь. Ты же знаешь, слушатели уже ждут, когда и куда мы направимся.

Гена. А, может, им тоже будет интересно?

Профессор. Очень возможно, но ждут-то они от нас все-таки другого. Так что отложим твой рассказ про Игорька Малашкина и...

Гена *(обиженно)*. Ну вот, всегда так! Только соберешься вам про свои дела рассказать, а вы – ноль внимания!

Профессор. Наоборот! Я весь внимание. Настолько, что успел заметить очень интересную фразу, которую ты сам, может быть, произнес всего только походя.

Гена. Это какую?

Профессор. Да в которой ты выразил мысль, будто бы то, что произошло у вас на уроке физики, уже совершенно *готовый* рассказ. И даже повесть.

Гена. Вот вы про что... А что ж тут такого? Если хотите знать, я, Архип Архипыч, вообще давно заметил, что писатели очень любят школу описывать. И все почему? Ну, во-первых, каждый в школе учился, так что тут и изучать специально ничего не надо: весь материал – вот он, под рукой. Готовенький! А во-вторых, про школу ведь что ни напиши, все увлекательно получается. В ней всегда столько интересного и смешного происходит, что и выдумывать и даже особенно думать незачем.

Профессор. Ах, вот как! Даже и думать?

Гена *(его понесло, с ним, как мы знаем, это бывает)*. А чего мудрить? Пиши себе как есть, – и печатай на здоровье! Что, не так, скажете? Чего молчите?

Профессор. Да тут не говорить, тут ехать надо!

Гена. Куда?

Профессор. Разумеется, в школу. Куда же еще?

Многоголосый и отдаленный ребячий гомон. А ближе к нам – два грубоватых юношеских голоса, которые ведут свой таинственный разговор на манер завзятых заговорщиков.

Первый голос. Эй, Ипсе!

Второй. Чего тебе?

Первый. Давай, друже, скакая играше веселыми ногами в Зеленецкий!

Второй. В кабачару?

Первый. Туда! Дерганем столбуху, яже паче всякого глаголемого бога или чтилища!

Второй. Добро! Только ведь учитель прознает, так на воздусях отчехвостит!

Первый. Объегорим! Да и всего-то одну штофенди!

Второй. Ну, была не была! Наяривай!

Гена. Архип Архипыч, куда ж это вы меня завезли? Они не по-русски, что ли, говорят?

Профессор. Да, пожалуй, что не по-русски. По-бурсацки... Молодые люди! Можно вас на минутку?

Первый. Ши-че ши-го ши-те ши-бе ши-на ши-до?

Второй. Ши-про ши-ва ши-ли ши-вай!

Гена. Глядите, совсем на иностранный язык перешли!

Профессор. Ну, этим-то иностранным и я владею. Шина ши-пра ши-сно ши-вы ши-при ши-ни ши-ма ши-е ши-те ши-ме ши-ня ши-за ши-ду ши-ра ши-ка!

Первый *(в восторге)*. Слышь, Ипсе? По-нашему чешет!

Второй *(с уважением)*. Из наших, стало быть, будешь, отче? Из бурсы?

Профессор. Не важно, откуда я буду, но уж язык-то ваш я понимаю. Да и подумаешь, хитрость: перед каждым слогом прибавлять «ши»!

Первый. Хитрость не хитрость, а кто ее тебе выдал?

Профессор. Кто? Николай Герасимович Помяловский.

Второй. Это что же, Карась? Облапошить хочешь? Чтобы Карась да нафискалил? Не из таковских!

Профессор. Успокойтесь, не нафискалил. Он всего-навсего написал знаменитые «Очерки бурсы», где прославил и вас и ваши обычаи... Хотя что это я? Ведь вы-то этой книги читать еще не могли. Скажите лучше, как нам пройти в класс? Нам, видите ли, хотелось бы присутствовать при полном сборе бурсаков.

Первый. Так наяривайте вон туда. Сейчас как раз Краснов в класс пришел. Пал Федорыч. А он у нас – лафа!

Второй. Точно! Персона грата! Гуманус эст! Драть дерет, но уж больше десяти розог нипочем не даст.

Профессор. Благодарю, вы меня убедили. Значит, туда?

Первый. Туда, туда! Двигайте от всех скорбей. Фаля! Бар да дым!

Класс. Голос учителя.

Краснов. Ну-с, благословясь приступим! Кто у нас сегодня желает отвечать? *(Про себя.)* Ага! У Иванова в нотате нуль. Отлично-с... Иванов! Возглашай!

Иванов *(всем своим голосом выражая необоримую тупость).* Я... Я... Я, Пал Федорыч...

Краснов. Прочитай же нам урок!.. Что ж ты?.. *(Оборачивается на скрип двери.)* Вам что угодно, господа?

Профессор. Простите, ради бога, но не позволите ли нам присутствовать на уроке?

Краснов. С какой стати? А, вы, видно, привезли внука определить в бурсу?

Гена. Меня? В бурсу? Еще чего!

Профессор. Ннет, не в этом дело... Я, видите ли, в некотором роде ваш коллега и...

Краснов *(с семинарской приветливостью)*. А! Свой своя не познаша! Садитесь, коллега, и любуйтесь! Я вам весь товар лицом представлю. Взгляните хоть на этого. Иванов! Не можешь, что ли, отвечать?.. Ну? *(Видит, что тот молчит, и, изощренно издеваясь, меняет тон и начинает говорить ласково, почти нежно.)* Да ты здоров ли, душа моя?

Иванов *(полушепотом)*. Ззздоров...

Краснов *(еще нежнее).* И ничего с тобой не случилось?

Иванов. Нничего...

Краснов. Но ты, друг мой, точно расстроен чем-то... Да? Что же ты молчишь? *(Умоляюще.)* Ну, скажи мне урок!

Иванов *(бормочет себе под нос)*. Ведь знает же, ирод, что у меня круглый нуль, – чего ж спрашивает? Мучит только...

Краснов. Что ты там говоришь? Скажи громко!

Иванов *(диким голосом).* Я... Я... не... зна-аю!

Краснов *(так, словно он никогда не слыхал ничего более неправдоподобного).* Чего не знаешь?

Иванов. Я... урока...

Краснов. Не слышу. Скажи еще громче!

Иванов *(ревет во всю мочь).* Не зна-а-аю!!!

Гогот бурсаков, но даже в нем не затерялся звонкий смех нашего Гены.

Краснов (в *крайнем изумлении).* Ты не знаешь? Ты? Да этого быть не может!

Снова взрыв хохота.

(Донельзя участливо.) Отчего же ты, друг мой, не знаешь?

Иванов. Го... голова болела.

Краснов. Угорел, верно?

Иванов. У... угорел.

Краснов. А то, может быть, простудился?

Иванов. Про... простудился.

Краснов. И угорел и простудился? Экая, братец мой, жалость!

Опять хохочут немилосердные бурсаки, и опять от них не отстает легкомысленный Гена.

Иванов *(решительно)*. Не могу учиться!

Краснов. Отчего же, друг мой?

Иванов. Способностей нет.

Краснов. А ты пробовал учить вчера?

Иванов *(угрюмо)*. Пробовал.

Краснов. Ну и о чем же ты учил?

Томительное молчание.

Что ж ты не говоришь?

Молчание.

Зачем же ты смотришь на парту? Смотри прямо на меня. Ну? Не надо быть застенчивым, мой друг... Так, о чем же ты учил?

Иванов. Я... я не знаю. Я ни о чем не учил... Я не знаю, что задано... *(С воплем.)* Отпустите, Пал Федорыч!

Краснов. Отпустить? Тебя? Господь с тобою, Иванов! Да ты же у нас первый ученик!

Хохот.

Ну, хорошо, отдохни пока. Воздвиженский!

Воздвиженский *(лениво)*. Тут я...

Краснов. Возьми указку, поди к карте и покажи мне, сколько есть частей света. Ну, поезжай, мой друг!

Воздвиженский *(медлительно)*. Европа...

Краснов. Раз.

Воздвиженский. Азия...

Краснов. Два.

Воздвиженский. Гишпания...

Хохот.

Краснов *(невозмутимо).* Гишпания? И куда бишь ты с нею заехал? В Белое море? К моржам и белым медведям?.. Ну хорошо. Стало быть, три.

Молчание.

Что же ты? Путешествуй дальше. Али уже все пересчитал страны света?

Воздвиженский. Все.

Краснов. Именно все. *(Профессору.)* Нравится вам мой уникум, коллега?.. Ступай, вались дерево на дерево. Теперь отвечай ты, Тетерин!.. Впрочем, постой, тебя ведь теперь иначе величать надобно? Известно ли вам, коллега, как он расписался в получении казенных сапогов? «Петры Тетеры получили сапогы». Ну-ка скажи, Петры Тетеры; что такое море?

Тетерин. Вода.

Краснов. Какова она на вкус?

Тетерин. Мокрая.

Краснов. Молодец! А теперь проспрягай мне слово «богородица».

Тетерин. Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, оне богородицы.

Краснов. Дельно! Проспрягай слово «дубина».

Тетерин. Я дубина...

Краснов. Так и есть! Садись, Петры Тетеры... Слыхали, коллега? А знали бы вы, как этот Тетерин у нас переводит. Он латинское «максимус» взял да и перевел как имя «Максим». Когда же ему стали подсказывать, что, дескать, «максимус» означает «весьма большой», он и махнул: «весьма большой Максим»!.. А еще один господин – вроде нашего Петры Тетеры – приехал к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: «Как сказать по-латыни: лошадь свалилась с моста?» А молодец и отвечает: «Лошадендус свалендус с мостендус...»

В который раз громовой смех, в который раз в нем радостно участвует Гена.

Что, коллега? Неужто и это вас не рассмешило? Напра-асно! Берите пример со своего внука!

Гена. И правда, Архип Архипыч, чего вы все молчите? Не улыбнулись даже. Умора же, разве нет?

Профессор. Не знаю, Гена, может быть. Но в любом случае

нам пора откланяться.

Они снова одни.

Гена. И чего это вы так заторопились? Лично я бы с удовольствием еще посмеялся. «Лошадендус свалендус с мостендус» – это надо же!

Профессор. Да, да! Я отлично помню твое суждение: в школе всегда происходит много смешного. Так много, что писателю надо только сесть и все это записать. Даже думать необязательно!

Гена. А что? Да я уверен, что Помяловский все, как есть, описал. В точности! Он же ведь сам в этой бурсе учился?

Профессор. Да, учился. И даже, как ты слыхал, вывел себя в своих «Очерках» под кличкой Карась. Но неужели ты думаешь, что вот эта сцена, во время которой ты чуть не оглушил меня своим диким хохотом, казалась всего лишь веселой и ему?

Гена. А что вы всё на меня? Все же смеялись, не я один! Смешно потому что.

Профессор. Что ж, верно: глупость и необразованность всегда смешны. И смеялись, ты прав, все. Смеялись темные бурсаки, ученики низкопробного духовного училища, эти бедные ребята, изувеченные своим так называемым воспитанием. Смеялись тому, что этот самый Краснов, который у них, видите ли, считается чуть не добряком по сравнению с другими, издевался над их еще более темными однокашниками. Но это вовсе не значит, будто самому Помяловскому писать об этом было так уж весело, – что, между прочим, сразу понял Дмитрий Иванович Писарев. Он посвятил «Очеркам бурсы» прекрасную статью под многозначительным названием «Погибшие и погибающие». И знаешь, с чем сравнил бурсу, заставившую тебя так беззаботно хохотать? С мертвым домом. С каторгой, на которой побывал и о которой с необыкновенной силой поведал Достоевский…

Гена *(недоверчиво)*. Ну, сравнили тоже!

Профессор. Говорю же: это не я, это Писарев сравнил. Вот послушай, если не веришь: «Каждый бывший бурсак и даже каждый читатель, знакомый с очерками Помяловского, ответит не задумываясь, что все учебные занятия бурсаков похожи, как две капли воды, на обязательную работу каторжников».

Гена *(не желая смириться с этим)*. А может, это все-таки преувеличение? Критики, они иногда ведь…

Профессор. Ах, вот куда кинулся? Критику решил поставить под сомнение? Не увернешься, брат! Ибо вот что писал уже Достоевский в «Записках из мертвого дома», слушай: «Самая

работа показалась мне вовсе не так тяжелою, каторжною, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и каторжность этой работы – не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она принужденная, обязательная, из-под палки». И больше того! Достоевский говорит, что особенный ужас такой работы в том, что она бывает и совершенно бессмысленной: например, каторжника могут заставить переливать воду из одного ушата в другой – и обратно...

Гена *(нетерпеливо)*. Да нет, с каторгой-то понятно! Но в бурсе ведь все же и полезным вещам учили. Математике там, географии...

Профессор. Так ведь важно и то, *как* учили! Нет, Геночка, Николай Герасимович Помяловский на этот счет был совсем другого мнения. Он с горечью писал, что «главное свойство педагогической системы в бурсе – это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникла в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово – считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смысла...» Понимаешь, Гена? Без смысла, совсем как несчастные каторжники! «...стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...». Что ж, по-твоему, это и есть полезное учение?

Гена. Ну, в зубрежке-то чего уж хорошего!

Профессор. Вижу, что для тебя это не пустые слова. А ведь Писарев замечал сходство между бурсой Помяловского и мертвым домом Достоевского не только в мертвящей бесполезности и бессмысленности труда, но еще во многом: в унижениях, в наказаниях, в отсутствии хоть какой-то свободы... Ты что молчишь? Опять я... то есть Писарев тебя не убедил?

Гена *(неохотно)*. Почему? В чем-то убедили. Но все-таки это странно – школу, какая она никакая, с каторгой сравнивать...

Профессор. Да ведь не о какой-никакой речь! Об этой! О конкретной! Об исторически закономерной! А уж ее-то можно сравнивать. Нельзя не сравнить. И, если хочешь знать, вот тут-то и проявляется главная твоя ошибка. Да, верно, писатели очень любят писать о школьных годах, о школе... То есть тут далеко не всегда подойдет это лучезарное слово «любят», но что-то и в самом деле неудержимо тянет их к ней. А что именно? То, что они все где-нибудь да учились? То, что, как ты уверяешь, это очень просто – никому даже и материала собирать не нужно? Нет, нет и нет! В настоящей литературе ничто не бывает случайным и легким, все в конце концов подчиняется цели, подчиняется ее, литературы, законам. А школа, система воспитания, всегда

особенно ясно говорит о том, какого человека хочет вырастить то или иное общество. Какие люди ему нужны (и какие не нужны). Что оно в них ценит. То есть – *каково оно само!* Короче говоря, разве, прочитав «Очерки бурсы», замечательную книгу замечательного писателя, мы уже не представляем себе тогдашнюю Россию? «Страну рабов, страну господ», как окрестил ее Лермонтов?..

И на это Гене, кажется, возразить нечего.

КАК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПОМИРИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ АНДРЕЕВИЧЕМ

Нет, с нашим Геной не соскучишься. Недавно, если помните, вдруг заупрямился и сперва ни за что не хотел совершить путешествие в гоголевскую «Женитьбу», а сегодня... Впрочем, сам скажет.

Гена. К Грибоедову, говорите? А зачем? У него ведь, кроме как с Чацким или Фамусовым, и встречаться-то не с кем. Ну а уж с ними-то мы, наверное, раз сто видались!

Сто не сто, но, в общем-то, это правда. Просто встречи остались за границами этой книги.

Профессор. Не с кем? Да ничего подобного!.. То есть я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, у Грибоедова нет произведения, способного стать рядом с «Горем от ума», и потому великая комедия затмила все прочие его сочинения. Но уверяю тебя, у Александра Сергеевича есть и прекрасные стихотворения.

и интереснейшие письма, и проза, и статьи, и комедии, наконец!

Гена. Ну и что? Сами же сказали, что «Горе от ума» все это затмило. Выходит, и говорить не о чем.

Профессор. Ишь, как отрубил! Нет, дружок! Мало того, что все это и само по себе интересно, но иные, так сказать, неглавные произведения Грибоедова стоит знать хотя бы и ради его главного, гениального создания.

Гена. В каком смысле? *(Требовательно.)* Вы пример приведите!

Профессор. Охотно. Ну вот, скажем, есть у него такое стихотворение:

« – По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб»...
– За то попался в Главный штаб
И был притянут к Иисусу...»

Гена. «К Иисусу»? А что это значит?

Профессор. Привлечен к суду. Призван на расправу – так тогда выражались. Но ты дослушай:

«– Ему не свято ничего...
– Он враг царю!.. – Он друг сестрицын!..
– Скажите правду, князь Голицын,
Уж не повесят ли его?..»

У тебя нет ощущения, что это словно бы отрывок из «Горя от ума»?

Гена. Точно! Я так и подумал: это ж прямо как на балу у Фамусова, когда гости про Чацкого сплетничают... А может, так оно и есть, Архип Архипыч? Может, я эти строчки позабыл просто?

Профессор. Да нет. Это вполне самостоятельные стихи, в которых речь идет об аресте самого Грибоедова по делу о заговоре декабристов и которые одна из современниц, поэтесса Ростопчина, объяснила следующим образом: «Как Грибоедов определял мнение о себе московских дам»...

Гена. Но ведь все равно же: «московских»! Про Чацкого-то кто сплетничал? Тоже эти самые дамы: ну там Хлестова, Софья, графиня-внучка...

Профессор. Видишь, ты все понял. Да, сходство несомненно, и разве оно само по себе не говорит о близости Грибоедова к его герою, об общности их положения в *этом* обществе?

Гена. Да, это мы с вами здорово подметили!

Профессор. Ну, положим, это подмечено задолго до нас с тобой. Да и случай-то простой, ясный, а бывают и куда позагадочнее. Например, есть у Грибоедова одно произведение, которое позволяет взглянуть и на смысл комедии «Горе от ума» и на историю ее создания, так сказать, от противного...

Гена. Это вы о чем?

Профессор. Нет, если я тебе все сразу выложу, что ж это будет за загадка? Давай-ка лучше не станем тратить слов, а отправимся, как обычно, на место действия...

Отправились. И мы слышим голос пожилого мужчины, судя по властным интонациям, барина, а по старомосковскому произношению, естественно, барина московского. В общем, ничего удивительного, если Гена скоро заподозрит в нем самого Павла Афанасьевича Фамусова, – мы пока даже так и станем его называть, хотя все-таки обезопасимся от путаницы кавычками.

«Фамусов». Эй, вы, кто там?.. А, Ванька! Ты здесь наконец, бестия? Целое утро тебя давеча искали, и говорят, ночью был бог знает где... Поди-ка сюда!

Слуга. Власть ваша, барин, а я только и сидел в передней!

«Фамусов». То-то я вижу, ты с обновкой: локоть разодран. Достань-ка календарь. Пиши на записном листе: отнести назад картины этому шельме итальянцу; сказать ему, что он плут, вор; я кому ни показывал картины, все говорят – мерзость, а он с меня сдул вексель в двенадцать тысяч... Уж эти мне иноземцы! Этот мне Кузнецкий мост!

Гена *(Архипу Архиповичу, тихо).* Честное слово, если бы он не прозой говорил, а стихами, я бы подумал, что это Фамусов.

Профессор. Что ж, ты был бы не очень далек от истины.

Гена. Как? Значит, это он самый и есть?

Профессор. Во всяком случае... Но – тсс! Не надо, чтобы он нас слышал!

«Фамусов». Ну, написал?.. Пиши еще!.. Да отправить старосту из жениной деревни; наказать ему крепко-накрепко, чтоб Фомка-плотник не отлынивал от оброку и внес бы двадцать пять рублей до копейки. Какое мне дело, что у него сын в рекруты отдан, – то рекрут для царя, а оброк для господина: так чтоб двадцать пять рублей были наготове. Он, видно, шутит двадцатью пятью рублями; прошу покорно, да где их сыщешь? Кто мне их подарит? На улице, что ли, валяются? Двадцать пять рублей очень делают счет в нынешнее время, очень, очень... Говорят, все подешевеет, а между тем все вздорожало; так чтоб Фомка внес

двадцать пять рублей, слышишь ли, сполна двадцать пять рублей...

Слуга. Слушаю-с.

«Фамусов». То-то... А теперь говори, кто без меня был?

Слуга. Анна Васильевна Растабарова присылала напомнить вашему превосходительству о том, о чем она вас просила.

«Фамусов». Хорошо, хорошо. Скажи, что хорошо.

Слуга. Еще княгиня Дарья Савишна присылала спросить, изволили ли постараться об ее деле.

«Фамусов». Вели ей передать, что все будет исполнено...

Гена *(тихо)*. Архип Архипыч, ну, точно он, Фамусов! И со слугой так же разговаривает. И вообще похоже... Княгиня Дарья Савишна... Княгиня Марья Алексевна... *(Его вдруг осенило.)* Слушайте, а может, это просто черновик «Горя от ума»? Первый набросок? Ну, как у Чехова с «Толстым и тонким» было... Может, Грибоедов все сперва прозой записал, а уж потом в стихи переложил?

Но не успел затаившийся Архип Архипович (кстати, мы не должны удивляться, что «Фамусов» не видит ни его, ни Гену, – уж таковы фантастические возможности машины, с помощью которой они путешествуют) – словом, не успел он ответить Гене или хотя бы сказать: «Тсс!», как появляется новый персонаж. Звучит его голос, до невозможности угодливый, отчего и этого пришельца мы будем называть «Молчалиным» – в кавычках, конечно.

«Молчалин». Прошу прощения, ваше превосходительство, я без докладу-с.

«Фамусов» *(покровительственно)*. А, это ты, братец? Входи, входи, тебе можно. Ну? Исполнил ли ты то дело, которое я поручил тебе?

«Молчалин». В точности, как изволили приказать.

«Фамусов». А! Молодец! *(Нравоучительно.)* Ибо что составляет добродетель чиновника, как не умеренность и аккуратность?

«Молчалин». Я с вами согласен, ваше превосходительство.

«Фамусов». Да! Аккуратность и исполнительность!

«Молчалин». Нельзя с вами не согласиться.

«Фамусов». То-то. Ты только и впредь будь исполнителен и аккуратен, а я тебя не оставлю.

«Молчалин». Благодарю, ваше превосходительство. Но осмелюсь заметить: в чем же моя заслуга-с? Я только придерживался вашего суждения. Ваши слова всегда могут

служить наставлениями, и разве я посмел бы...

Гена *(не дослушав его, взволнованным шепотом)*. Ну? А вы еще: не торопись, Геночка! Тоже загадку загадали! Все же ясней ясного? Или это, по-вашему, не Молчалин? Ну, то есть, может, еще не совсем он, не законченный, но понятно же, что в этом подхалиме Грибоедов уже Молчалина изображать начал... Вот это да! Прямо только Чацкого здесь не хватает!

Нетрудно догадаться, что именно в эту минуту (так уж рассчитал хитроумный Архип Архипович) должен появиться и «Чацкий». Тоже, разумеется, в кавычках, и, скажем наперед (если только так можно сказать), в очень больших кавычках.

«Чацкий». Позвольте, где я? Среди кого? В тот ли дом привела меня судьба моя?

«Фамусов». А уж это, мой батюшка, по тому смотря, в какой дом ты попасть намеревался.

«Чацкий». Ах, боже мой! Не вы ли старый друг покойного отца моего? И не под этим ли благодатным кровом обитает та, которой суждено стать подругой сердца моего и о которой я не переставал мечтать на всем долгом пути моих странствий?

«Фамусов». Что такое, батюшка? Переведи пожалуй слова свои на простонародный язык. Ты, я вижу, человек ученый, говоришь все фигурно, а я простой человек, люблю, чтоб все было ясно.

«Чацкий». Но что ж не ясно вам в словах моих?

«Фамусов». Ничего, батюшка. Ни первое: кто ты таков и откуда будешь? Ни второе: зачем к нам пожаловал? Ни третье: чем заниматься изволишь? Служишь или без дела болтаешься?

Гена *(все так же тихо)*. Эх, вот так и кажется, сейчас возьмет да и ответит: «Служить бы рад$_г$ прислуживаться тошно!»

«Чацкий» *(в самом деле отвечая не буквально это, но нечто похожее и по смыслу и по настроению)*. Ах, вы, сударь, спрашиваете: кто я, каков и какие мои виды вдаль? Вот они: жизнь свободная, усмешка музы – вот все мои желанья. Ни чины, ни богатства для меня не приманчивы. Что они в сравнении с поэзиею? С искусствами?

Гена *(опять не вытерпев)*. И здесь точь-в-точь! Как у Чацкого! Сейчас... Ага, вот:

«Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется – враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науку... в науку...»

Эх, забыл!

Профессор *(подхватывая).*

«...В науку он вперит ум, алчущий познаний;
Или в душе его сам бог разбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным...»

Гена. Вот именно! Вся разница, что тут проза, а там стихи!.. *(Не выдержав своего положения стороннего наблюдателя.)* Скажите, значит, вы действительно Чацкий? Александр Андреевич?

«Чацкого» нисколько не удивило обращение неизвестно откуда взявшегося человека (это, конечно, можно объяснить его поэтической рассеянностью), но почему хозяин дома, «Фамусов», воспринял все это как нечто вполне естественное? Видимо, повторяю, у машины Архипа Архиповича немало неоткрытых и поэтому необъяснимых возможностей.

«Чацкий». Мое имя, которое я уже сообщил внизу человеку, вооруженному длинным жезлом, так называемому швейцару, Евлампий Аристархович Беневольский. Я студент, прибывший в столичный град из Казани. Я прошел полный курс этико-политических наук, политическую историю, политическую экономию, политику в строгом смысле, право естественное, право народное, право гражданское, право уголовное, право римское...

Гена. Да нет, я не так выразился. Я понимаю, что вы не настоящий Чацкий. Вернее, еще не совсем он. Вы пока что только его первый набросок, да? Или как это у писателей называется?

Беневольский *(наконец-то мы можем называть его так).* Я? Набросок? У писателей? Милостивый государь! Я сам писатель и смею думать, имя мое не последнее в России. Я печатаюсь в «Сыне Отечества». Вы, конечно, встречали там мои счастливые опыты, подписанные литерами Е.А.Б., то есть, повторяю, Евлампий Аристархович Беневольский...

Профессор *(негромко, словно бы для себя).* Или Евгений Абрамович Баратынский.

Беневольский. А? Что вы сказали? *(Не получив ответа, снова обращается к Гене.)* Вы читаете «Сына Отечества»?

Гена. Ннет...

Беневольский. Нет?! Ну так «Вестник Европы»?

Гена. Тоже нет.

Беневольский. Помилуйте, а «Музеум»? Вы, конечно, любите «Музеум»? Московский «Музеум»?

Гена. Я больше «Знание – сила» люблю.

Беневольский. Ха! Ха! Ха! Этакое невежество! О, сколь отличны от таких, как вы, мы, поклоняющиеся только чистому искусству! Мы, не желающие служить ничему, кроме муз!

«Молчалин». Позвольте-с! Как это ничему? А государственная служба? Осмелюсь заметить, вы дурно делаете, что не хотите служить. Кто знает, быть может, с вашими знаниями вы со временем попадете в чины. В государственные люди!

Беневольский *(саркастически расхохотался)*. Я?! В чины?!.. *(Вдруг с необыкновенной, хлестаковской легкостью на ходу меняет мнение.)* А что? Однако и это ведь недурно. Отчего ж не стремиться мне вслед за Сюллиями, за Кольбертами, за Питтами, за боярином Матвеевым? Отчего не сделаться мне министром?

Гена. Вот тебе раз! Только-только говорил, что чины презирает, и уже готово? Уже с Молчалиным... ну, то есть с этим типом, согласился?

Беневольский. Ах, не все ли равно, на каком поприще искать славу? Поэзия... Государственная служба... А, быть может, еще лучше пойти в военную? Эврика! О ремесло Цезаря, сына Филиппова! Быть вождем полмиллиона героев! Самому воспевать свои победы! Воин-поэт! Но быть министром! Тоже значительно, завидно. Ну что ж? Разве нельзя все это сдружить вместе? Так, я буду законодателем-полководцем и стихотворцем – все вместе! Решено! Ура!

«Фамусов» Да ты, батюшка, уж не пьян ли часом? Экую ересь понес!

Беневольский. Я? Пьян? Ничуть, ибо упиваюсь одною мечтой, одною поэзией! «О всемогущее вино! веселие героя!..»

И стукнем в чашу чашей,
И выпьем все до дна:
Будь верной дружбе нашей,
Дань первого вина!..

«Фамусов». Ну, ежели не пьян, так, верно, сумасшедший. Изволь сейчас оставить мой дом, не то я велю тебя вывести силой! Да и вы, господа!.. *(Архипу Архиповичу и Гене.)* Как сюда попали? Зачем? Откуда? Возрадовались, что я было совсем ошалел от явления и от бредней этого безумного чудака, да и вторглись?

Значит, мы все-таки ошиблись: безразличие хозяина дома к появлению наших героев без спроса и без доклада объяснялось совсем не способностями машины профессора. Или хотя бы не только ими.

Беневольский. Как? Оставить сей дом, где мечтал я обрести приют? Сей кров, под коим обитают лары и пенаты, хранители домашнего очага?

О Лары и Пенаты!
Вы пестуны мои!
Вы златом не богаты;
Но любите свои
Углы и темны кельи,
Где я на новоселье
Вас мирно тут и там
Расставил по местам...

«Фамусов». Ванька! Петрушка! Федька! Немедля вон его! И их!

Гена. Пожалуйста! Мы и так уйдем. Очень надо!.. Но что ж это делается, Архип Архипыч? Я уже ничего не понимаю.

Профессор. Где ж понять в этаком содоме? Так что наш хозяин очень вовремя проявил свое негостеприимство...

Шум и гам позади. Теперь можно свободно вздохнуть и все наконец выяснить.

Ну, Геночка? По-прежнему будешь уверять, что это напоминает тебе «Горе от ума»?

Гена. Вы что, смеетесь? Теперь-то уж, конечно, не буду.

Профессор. А напрасно. Прежде ты, как я тебе и говорил, был ближе к истине... Что вытаращился? Уверяю тебя, я совершенно серьезен. Ну, разумеется, то, что ты видел и слышал, никакой не черновик «Горя от ума». Это совсем другая комедия, «Студент», написанная Грибоедовым в 1817 году вместе с Павлом Катениным. Но исследователи давно пришли к выводу, что в ней и в самом деле были сделаны как бы первоначальные, еще отдаленные наброски некоторых персонажей будущей великой комедии. Набросок Фамусова, который там носил фамилию Звёздов. Молчалина – он же Полюбин. Даже Скалозуба, ибо в комедии «Студент» бушевал некий гусар Саблин, чем-то его напоминавший... Но разве это всё? Самое интересное, что и сюжет «Студента» – конечно, тоже весьма и весьма отдаленно – все-таки

напоминает сюжет «Горя от ума». Подумай: в доме богатого столичного барина, где есть дочь-невеста и куда вхож ловкий молодой чиновник, в эту дочку влюбленный, – ну, тот, которого ты принял за Молчалина, – в этом самом доме вдруг нежданно-негаданно появляется некий приезжий. Чужой, более того, чуждый всем человек, которого объявляют кто чудаком, кто сумасшедшим...

Гена. Погодите, погодите! Вы что же, хотите сказать, будто этот самый Беневольский все-таки на Чацкого похож?

Профессор. Пока я сказал только то, что его, если угодно, да, как Чацкого, принимают то за чудака, то за безумца. Сходства же, разумеется, нет, хотя бы потому, что Чацкий умница, а Беневольский дурак. Но знаешь ли, что Катенин и Грибоедов в образе этого самого дурака задумали высмеять целый круг замечательных писателей и общественных деятелей? Знаешь ли, *чьи* стихи ты только что слышал из уст этого болтуна?

Гена. Нет... А чьи?

Профессор. Жуковского, Батюшкова – вот чьи! Тех, кто стал гордостью нашей поэзии. Друзей Пушкина. А «Е. А. Б.»... Помнишь, Беневольский называл инициалы, которыми он подписывает свои стихотворения? Ведь так подписывался сам Евгений Абрамович Баратынский, великий поэт и тоже, между прочим, пушкинский друг. Да что там! Тут и самого Пушкина задели насмешкой...

Гена *(сраженный)*. И зачем же Грибоедов сделал такое?

Профессор. Ну, это как раз понятно. В те годы он занимал в литературе позицию, весьма далекую от той, на которой стояли последователи Карамзина и Жуковского. Грибоедов считал, что они вносят в русскую поэзию манерность и сентиментальность, ей чуждые, и потому, скорее, уж был готов дружить с теми, с кем непримиримо воевал молодой Пушкин. С Шаховским. С Шишковым.

Гена. Но он, то есть Грибоедов, был не прав, да?

Профессор. В том смысле, что не сумел угадать, чем окажутся для нашей литературы нововведения Жуковского и Карамзина, – да, не прав. Но мы-то сейчас говорим о другом. О том, что в ранней комедии «Студент» сама, так сказать, расстановка сил совершенно иная, чем в «Горе от ума». Звёздов, Полюбин, Саблин – они, конечно, изображены иронически. Авторы над ними, как ты видишь, смеются, но смеются довольно благодушно и самые острые сатирические стрелы выпускают в чудака, в беднягу Беневольского. А в «Горе от ума»? Чудак *этой* комедии, Чацкий, то есть тот, кого считают чудаком и безумцем, уже изображен, наоборот, с любовью. Грибоедов всецело с ним.

Ему отдает любимые мысли. Ему, только ему сочувствует. А Фамусов, Молчалин, Скалозуб высмеяны. Зло и беспощадно.

Гена (с *пониманием всех сложностей литературного дела).* Понятно. Значит, к этому времени Грибоедов свою позицию уже переменил?

Профессор. Ну, с позицией – это разговор особый. Да главное опять-таки не в этом. Главное, что и его возмужавший гений и сама жизнь заставили Грибоедова иначе взглянуть на того, кто, подобно Чацкому, протестует против пошлости и косности и потому порою неизбежно кажется подозрительным чудаком. Помнишь? «И прослывет у них мечтателем опасным!..»

Гена. Это вы про декабристов?

Профессор. Да, и про них, если хочешь. Не зря среди прототипов Чацкого уверенно называли как раз декабриста, поэта с репутацией опасного мечтателя и, заметь, вновь друга Пушкина...

Гена. Чаадаева?

Профессор. Гена! Стыдись! Петр Яковлевич в самом деле числится среди людей, чьи черты, а отчасти даже и фамилию Грибоедов позаимствовал для своего любимого героя. Был он близок и к декабристам и к Пушкину. Но разве Чаадаев писал стихи?.. Впрочем, сейчас мне не до твоей нелепой ошибки, тем более что уж о ней-то наверняка позаботятся наши юные слушатели, поймут, кого я имел в виду, и пристыдят тебя. А заодно, может быть, назовут замечательную повесть, в которой этот декабрист, пушкинский товарищ, поэт и чудак, изображен... Но сейчас-то я хочу сказать вот что. Литературная позиция, литературная полемика – все это важно и интересно. Однако тут они не могли играть решающей роли. Тут оказалось куда важнее то, *что* воплощали в себе Фамусовы и Молчалины и *за что* были готовы сражаться Чацкие... Это-то тебе хоть понятно?

Гена. Вроде да... Только почему вы сказали, что если мы будем знать эту самую комедию, ну, «Студента», то лучше поймем и смысл «Горя от ума» и историю его создания?

Профессор. Да ведь в том-то и штука, Геночка, что как раз сравнение двух комедий, как раз то, что в первой из них чудак, противостоящий всем этим Звёздовым и Полюбиным, не то что им, но даже самому Грибоедову казался фигурой смешной и жалкой, а во второй стал фигурой героической, – именно это и говорит нам, до какой же степени открытие, сделанное Грибоедовым, было *новым, неожиданным...*

ЧИЧИКОВ НАЧИНАЕТ ГОВОРИТЬ СТИХАМИ

Гена. Архип Архипыч, здрасте!

Профессор. Здравствуй, здравствуй!.. А что за книгу ты так таинственно прячешь за спину? Сюрприз приготовил?

Гена. Вроде того. Вот, глядите!

Профессор. Что это?.. Издательство «Детская литература»... Год 1979... Старовато для сюрприза! О, да это рассказы Василия Шукшина!

Гена. Вот именно.

Профессор. И, насколько я понимаю, ты прихватил их с собой, чтобы мы совершили путешествие в один из них?

Гена. Вообще-то, неплохая мысль. Только, честно говоря, принес я ее совсем для другого. Понимаете, есть в этой книге один рассказ. Называется «Забуксовал».

Профессор. Любопытно. И что ж там буксует: автомобиль или трактор?

Гена. Не «что», а «кто». Это в переносном смысле сказано. Там один колхозник сидит и слушает, как его сын уроки по литературе готовит. «Русь-тройку» зубрит. Ну, слушал, слушал, а потом вдруг и сообразил: как же это получается? Мчится, значит, птица-тройка, Гоголь ее даже с самой Русью сравнивает. А едет-то

на тройке кто? Чичиков! Мошенник!.. Погодите, сейчас я вам в точности процитирую, по книжке... Вот: «Мчится, – говорит, – вдохновенная богом, а везет шулера! Это что ж выходит?»

Профессор. И вот на этой самой мысли он и забуксовал?

Гена. Ну да! Ходит, думает. Наконец пошел к учителю и говорит ему: «Тут же явный недосмотр!»

Профессор. Я что-то не понял. У кого недосмотр – у Гоголя?

Гена. Наверное. У кого же еще?

Профессор. Совсем интересно! Ну а учитель что ему на это?

Гена. Учитель, по-моему, даже растерялся. В сторону ушел. «Русь, – отвечает, – сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь движение, скорость, удалая езда – вот что Гоголь подчеркивает».

Профессор. Нда... *(Видно, что ему, как говорится, не хочется ронять авторитет учителя, но истина дороже.)* Действительно, очень уж... ну, скажем, отвлеченно.

Гена. В том-то и дело! Вот поэтому он, этот человек, и остался таким ответом неудовлетворенный.

Профессор. А ты?

Гена. И *я*, конечно, тоже!.. *(Опять заводит свою осторожную прелюдию.)* Нет, Архип Архипыч, я понимаю: Гоголь гений, но ведь и у гения же не обязательно все получается. Разве не так? В общем, Шукшин... вернее, этот его герой здорово подметил. Ведь, правда же, несоответствие получается. С одной стороны – птица-тройка, а с другой...

Профессор (в *тон ему)*. Шулер!

Гена. Вот именно! Неужели же он, такой, достоин, чтобы его Русь-тройка везла?

Профессор. А почему ты, собственно, у меня об этом спрашиваешь?

Гена. У кого же еще тогда?

Профессор. Как – у кого? У Николая Васильевича Гоголя. Он ведь оставил тебе свои книги. Свои мысли. Возьми да и углубись в те же «Мертвые души». Сыщи там кого-нибудь, кто лучше всех знает Чичикова и способен дать о нем самые исчерпывающие показания. Ну а уж если убедишься в своей правоте, тогда что ж делать! Исправь гоголевскую ошибку. Ссади Чичикова!.. Или заробел?

Гена *(действительно, не без опаски, хотя предложение, что говорить, соблазнительное)*. Может, правда попробовать?

Профессор. Конечно! Вот, становись к пульту нашей умной машины. Нажми всего-навсего на эту кнопку... Видишь надпись: «Вызов литературных героев. Без приглашения не входить»? И вызывай, кого пожелаешь.

Гена, конечно, тут же следует совету, и столь же немедленно объявляется тот, кого он почему-то захотел выслушать первым. Это...

Собакевич. Мошенники! Христопродавцы! Я вас тут всех знаю, вся Страна Литературия такая! Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет!

Профессор. Ах, вот кого ты пригласил в объективные арбитры?

Гена. А что? Зато уж кто-кто, а он Чичикова как облупленного знает! Ведь правда же, Михаил Семеныч, знаете вы Чичикова?

Собакевич. Чичикова? Как не знать? Ведь это же первый разбойник в мире! Продаст, обманет и пообедает за ваш счет!

Профессор. Ну, неужели у него нет хоть малюсенького достоинства?

Собакевич. У Чичикова? У этой собаки? Тьфу! Сказал бы и другое слово, да вот только что по радио неприлично!

Профессор. И все-таки... Ну, скажем, дамы на губернаторском бале утверждали, помнится, что у него очень симпатичное лицо.

Собакевич. И лицо разбойничье! Вы дайте ему только нож да выпустите на большую дорогу – зарежет, за копейку зарежет!

Профессор. Так уж и зарежет?.. Впрочем, что с вами спорить! Однако, я думаю, и вы не откажете Чичикову в том, что он весьма и весьма не глуп?

Собакевич. Кто это вам сказал? Он только что прикидывается умным, а такой дурак, какого свет не производил! Уж мне ли этого не знать? Кто, по-вашему, ему Елизавет Воробья за мужскую душу спустил? А он проглотил да еще и облизнулся... Экий болван!

Гена. Ну? Видите, Архип Архипыч?

Профессор. Нашел на чье мнение полагаться! Ты бы еще Ноздрева сюда вызвал. Да Собакевич ни о ком никогда ни одного доброго слова не произнес.

И в этот миг в беседу, как ручеек, вливается журчащий, необыкновенно сладкий голос.

Голос. Ах, совершенно, совершенно справедливо изволили вы заметить! Михайло Семенович наипочтеннейший человек, а хозяин таков, какого во всем свете не сыщете, однако ж, что таить, бьшает скор на слово! К чему эти резкости? Не лучше ль,

право, этак соблюдать любезность, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое... э... э... *(Зарапортовался.)*

Профессор. А, ты и Манилова пригласил?

Гена. Так вы же сами объективности хотите!

Манилов. Да-с! Это я-с, позволю себе заметить! Как только заслышал я, что вы изволили завести речь о почтеннейшем друге моем Павле Ивановиче, я тотчас прилетел на крыльях дружественных чувств моих... О, Павел Иванович! Ну что за человек, право! Как это он может этак, знаете ли, повести беседу, наблюсти деликатность в своих поступках...

Собакевич. Деликатность! Мне лягушку хоть сахаром облепи – не возьму ее в рот!

Манилов. Ах, Михайло Семеныч! К чему скрываете вы под напускною грубостию нежнейшую душу свою? Поверьте, господа! Наш Михайло Семеныч только с виду таков, а сам мухи не обидит! Говорю вам, господа, как честный человек!

Собакевич. Что правда, то правда. У нас тут все христопродавцы, один вот он, Манилов, честный...

Манилов. О, благодарю вас, Михайло Семеныч, благодарю! Доброе слово ваше для меня, как майский день! Именины сердца!

Собакевич *(хладнокровно)*. Да и то сказать: что ему остается? Не то чтобы ограбить, чтоб выпросить – хоть какой-то умишко, а нужен. А у него мозгу золотника нет – вот он и честный... Впрочем, и он, если правду сказать, свинья!

Манилов. Как-с? Извините, я несколько туг на ухо. Мне послышалось престранное слово!

Собакевич. Да, свинья! Он да еще этот самый Чичиков – это Гога и Магога.

Манилов *(жалобно)*. Ах! Михайло Семеныч! Ну можно ли этак?

Гена. Ладно, не обращайте внимания. Лучше скажите: вот вам лично Чичиков какое-нибудь жульничество предлагал? Например, мертвые души продать?

Манилов. О нет, нет, никоим образом!.. То есть да, была у нас беседа касательно душ, кои, если так можно выразиться, прекратили земное свое странствие, однако ж, господа, я сразу спросил у Павла Ивановича: не будет ли, дескать, это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, – так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? *(Торжествующе.)* И Павел Иванович совершенно, ну то есть совершенно, меня заверил, что, напротив, это будет хорошо и что казна даже получит выгоды! Вот-с!

Собакевич. Мошенник! Да еще и лгун вдобавок!.. У-у,

христопродавец!

Гена. Ну, Архип Архипыч, слыхали? Конечно, я все это и раньше знал, но решил: уж пусть все по правилам будет. И за и против!.. Нет, вы как хотите, а мы с Шукшиным правы! Не может Чичиков, как ни в чем не бывало, на «птице-тройке» скакать! Это Гоголь чего-то недодумал.

Профессор. Если так, то я ведь уже советовал тебе: исправь его оплошность. Ссади Чичикова с «птицы-тройки».

Гена. А что вы думаете? И ссажу! *(Решительно.)* Пустите-ка меня к пульту...

Неизвестно, какую там Гена нажал кнопку или какой повернул рычажок, но мы вдруг оказываемся в странном, во всяком случае, непривычном мире. Добросовестно стучат копытами лошади, покрикивает на них для порядка кучер Селифан, скрипит, покачиваясь, чичиковская бричка – в общем, с одной стороны, все совершенно реально. Натурально, как сказали бы в те времена. И в то же время звучит прекрасная музыка, чудная, неземная, как опять-таки говаривали тогда, и полный глубокого волнения голос (может быть, самого автора, прямо высказывающегося в так называемых лирических отступлениях?) произносит знаменитые гоголевские слова, к сожалению, давно и для многих уже потерявшие свою «чудность» от обязательной школьной зубрежки.

Селифан. Эй, вы, други почтенные! Эх, вы, кони мои, кони, мчитесь сокола быстрей!

Голос. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, его ли душе не любить ее? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит...

Гена *(он настолько занят мстительным намерением, что как бы и не слышит этой поэзии, да, впрочем, и без «как бы»: улавливает одни слова без их вдохновенного смысла).* Да уж, сейчас вы у меня полетите! Внимание! Включаю произвольное изменение сюжета! Рраз!...

В самом деле, раздается какой-то скрежет, однако ничто не меняется.

Селифан. Эй, вы, кони мои шалые! Пади, пади!

Голос. Эх, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?..

Гена. Архип Архипыч! Машина не сработала! Сломалась, что ли?

Профессор. Ну, не думаю. Просто, может быть, Чичикова не так-то легко ссадить? Может, он не совсем таков, каким ты его представляешь?

Гена. Как это не таков? Вы же сами слышали, даже Манилов проговорился. Шулер он – и больше ничего!

Профессор. Что ж, если ты так уверен, то и машине дай соответствующее задание... Видишь эти клавиши? Да, эти, как у пишущей машинки. Возьми и выстучи на них то, что ты мне сказал. Что Чичиков шулер – и больше ничего.

Гена. Это пожалуйста! *(Стучит, как неумелая машинистка, редко и вразнобой.)* «Чи... чи... ков... шу... лер... и... боль... ше... ни... че... го...». Все!

Профессор. А теперь переключай!

Видимо, Гена все-таки медлит, потому что продолжает звучать тот же глубокий голос, произносящий те же прекрасные слова.

Голос. Эх, кони, кони!.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли мощные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху...

Гена *(решившись)*. Включаю!

Вот на этот раз эксперимент наконец удается. По крайней мере происходит что-то чудовищное: шум, грохот, треск, испуганное лошадиное ржание, человеческие вопли.

(Торжествующе.) Ура! Ссадил! Вон как они вверх тормашками полетели!

Селифан *(кряхтит)*. Вишь ты, как перекинулись! И с чего бы?

«Чичиков» *(хотя, пожалуй, только Гена может продолжать считать его Чичиковым)*.

Куда смотрел? Ворона! Гусь! Чурбан!
Я вижу, ты опять напился пьян?

Селифан *(рассудительно)*. Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян? Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого, и закусили вместе. Закуска – не обидное дело...

«Чичиков».

Молчать! Небось тянул бутылками большими?
Нет! Бочками сороковыми!

Гена *(вот тут засомневался и он).* Архип Архипыч, чего это вдруг Чичиков стихами заговорил? И вообще он вроде какой-то непохожий...

Профессор. Что ж ты удивляешься? Перед тобой именно тот, кого ты запрограммировал. Шулер – и больше ничего. Неужели не узнаешь?

Гена. Да как будто где-то видел... Только где?

«Чичиков» *(живо).*

Вот как? Меня вы знаете? Видали?
У Фамусовых, может быть, на бале?

Гена. Не помню... Может, и у них.

«Чичиков» (с *опаской).*

А коли так, не доходили ль слухи
К вам обо мне от Хлестовой-старухи?
Лгунишка, дескать, я, картежник, вор?
Мол, от меня и двери на запор?..
Не верьте, господа! Во мне души не чают!
Меня везде и всюду привечают!
Я мастер услужить! Я все могу достать!
Не нужно ль вам чего? Извольте лишь сказать!
Как человек порядочный и светский,
Я слово вам даю...

Гена. Так это ж Загорецкий!

Профессор. Слава богу, узнал наконец!.. Нет, нет, господин Загорецкий, нам от вас решительно ничего не нужно.

Загорецкий.

А то – смотрите... Лишь платите деньги,
И я тотчас вам услужить берусь!..
Эй, Селифан! Чурбан! Ворона! Гусь!
Ступай, веди до ближней деревеньки!

Селифан. Это, барин, как вам будет угодно. А только напрасно вы говорите, будто я...

Его рассудительная речь и кряхтение прихрамывающего шулера удаляются.

Профессор. Ну? Доволен своим экспериментом?

Гена. Да вообще-то не очень получилось...

Профессор. А все потому, что ты слишком примитивно представил себе Павла Ивановича Чичикова, слишком неверное задание дал машине, – вот она добросовестно и выполнила его: заменила неподдающегося Чичикова обыкновенным, хоть и знаменитым шулером... Ладно, теперь моя очередь. Твоих свидетелей мы выслушали, послушаем и моего. Включаю! «Мертвые души». Том второй!.. *(Обращается к кому-то с большим почтением.)* Добро пожаловать, уважаемый Афанасий Васильевич! Простите великодушно, что мы вас побеспокоили!

Старческий голос. Полноте! Ежели я вам понадобился для благородного дела, то я весь к вашим услугам!

Гена *(шепчет)*. Архип Архипыч, это кто ж такой? Что-то я его даже и не запомнил.

Профессор *(тоже вполголоса)*. Это как раз неудивительно. Афанасий Васильевич Муразов вышел у Гоголя далеко не так живописно, как твои Собакевич или Манилов, зато уж от него-то мы можем услышать нечто весьма существенное. Однако хватит шептаться, это неприлично!.. Итак, вот наша просьба, Афанасий Васильевич! Скажите, пожалуйста, что вы думаете о Чичикове?

Муразов. Бедный, бедный молодой человек!

Гена. Кто бедный? Чичиков? Да ведь он же мошенник!

Муразов. Увы! Он, точно, не без греха. Как ослепила его эта страсть к богатству! Из-за нее он и души своей не слышит. Но ведь есть же у него душа! Ах, господа, Павел Иванович для меня, признаюсь, презагадочен.

Гена. Что это в нем, интересно, такого загадочного?

Муразов. Как что? А сила его? А ум? А воля? Да если бы с такой-то волею и настойчивостию да на доброе дело! Какой бы из него был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизался он на добрый труд и для лучшей цели! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как Павел Иванович для добыванья своей копейки!

Гена. Вот в том-то и дело, что он ради одной копейки и живет!

Муразов. Да, к несчастию... Однако ведь в том не только вина его, но и беда! Ибо прискорбно видеть столь могучие душевные силы, кои тратятся столь неразумно, дабы...

Гена *(перебивая).* А! Это все слова!

Профессор. Гена! Имей уважение к возрасту!.. Не обижайтесь на него, любезнейший Афанасий Васильевич: как говорится, молодо-зелено. А я весьма признателен вам. Вы мне очень помогли. Спасибо!..

Архип Архипович и Гена остаются одни.

Гена. Вот трепач высокопарный! И вы всерьез думали, что он меня убедит?

Профессор. Нет, на это я не очень надеялся. Говорю же тебе, что сам Муразов вышел у Гоголя не слишком убедительным, а говоря по правде, и совсем неубедительным. Безжизненным, плоским. Этаким добродетельным манекеном. Видишь, я тоже не боюсь признавать, что у великого писателя не все может получиться. Но мысли-то, которые он высказывал – в самом деле, довольно-таки ходульно, – они ведь не чьи-нибудь, а гоголевские! Неужели ты, читая и перечитывая «Мертвые души», хохоча и заливаясь, не заметил, что кого бы Гоголь ни выводил, он всегда не только смеется над ним, не только сердится, но и сожалеет, скорбит?

Гена. Скажете тоже: всегда! Что ж, он и о Собакевиче тоже скорбит?

Профессор. А как же? Может быть, кто-нибудь из самых сердитых сатириков, допустим, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин или Александр Васильевич Сухово-Кобылин, над ним только зло рассмеялись бы, но Гоголь совсем другое! Глядя на Собакевича – даже на Собакевича! – он не перестает думать: как человек дошел до жизни такой? И мог ли стать иным, сложись его жизнь совсем иначе? Понимаешь ли, *человек,* которым Собакевич, эта мертвая душа, был когда-то рожден матерью на свет... И на дубинноголовую Коробочку Гоголь глядит с тоской и печалью, хотя честно и беспощадно показывает, как она смешна. И в Ноздреве, уж на что озорник и враль, видит что-то доброе – пусть оно едва-едва, почти незаметно в нем проглядывает. И даже в Плюшкине замечает безнадежно погубленную, трагически умершую душу... Хотя почему «даже»? Ты и сам, наверное, помнишь, какие печальные, прямо-таки рвущие сердце страницы Николай Васильевич посвящает далекому прошлому Плюшкина, когда тот был добрым мужем, отцом, товарищем – словом, был *человеком...*

Гена. А в Чичикове Гоголь тоже погибшую душу видит?

Профессор. Разумеется. Ты же сам только что слышал Муразова.

Гена. Так то Муразов! Тоже расчувствовался: Чичиков у него, видите ли, бедный! Нашел бедняжку!

Профессор. Но ведь и сам Гоголь именно так называет Чичикова, угодившего в беду: «бедным Чичиковым»!.. Да разве только это? Вот послушай-ка, я тебе прочту из второго тома «Мертвых душ» – я даже нарочно сделал закладку... «Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему; как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно». *(Он перестал читать и выжидательно молчит.)*

Гена. Вообще-то, да... как-то трогает.

Профессор. И не может не трогать. Разве не видно, сколько бед свалилось на Чичикова, сколько зол пришлось ему испытать? Сколько было у него причин стать таким, каким он стал?

Гена *(в нем пробудился боевой дух)*. Это что ж, по-вашему, из-за этого ему все прощать надо? Да если на такую точку зрения стать, то вообще...

Профессор. Успокойся и обойдись без ненужных обобщений. Тем более, кто тебе сказал, что Гоголь прощает? Но он проницательно видит в Чичикове не только мошенника, которым тот, бесспорно, стал, но и человека, которым он мог, которым должен был стать. Понимаешь? Того человека, который не сумел найти иного, лучшего применения своим недюжинным силам. И, глядя на него, думает с болью... Помнишь слова Муразова, показавшиеся тебе сентиментальной болтовней?

Гена. Это какие? Что, мол, как бы хорошо, если бы Чичиков не за копейкой гнался, а за добром для людей!

Профессор. Вот-вот! Видишь, хоть ты и заворчал на них, а все-таки именно они тебе вспомнились. Гоголь как раз и думает с болью о том же: сколько человеческих сил тратится понапрасну, тех сил, которые могли бы осчастливить и родную страну и все человечество! И мечтает о тех временах, когда этого, к счастью, уже не будет... Скажи, кстати: ты когда-нибудь задумывался всерьез, с чего бы это Гоголю пришло в голову окрестить свои «Мертвые души» не романом, не повестью, а... Как именно, помнишь?

Гена *(снисходительно)*. Ну, этого-то кто ж не помнит? Поэмой... Только, по правде говоря, всерьез, нет, не задумывался. Так, немножко только. Ведь действительно странно: поэма, а не

стихи!

Профессор. А между тем в самом этом определении – «поэма» – как раз и притаился ответ на вопрос, который сегодня заставил нас потревожить персонажей «Мертвых душ». На вопрос, каким же это образом Чичиков, этот – как там у тебя? – «шулер и больше ничего», вдруг может оказаться седоком птицы-тройки, а Гоголь именно в этот момент скажет нежные и гордые слова надежды о Руси, о ее славном будущем. В том-то и дело, вернее, в том-то и чудо, что «Мертвые души» – книга смешная, горькая, может быть, даже и злая, все это так, но она еще и *поэтическая* книга, к которой нельзя подходить с привычной меркой. Да, поэтическая, хотя, как ты тонко заметил, не стихи... А разве стихи – это непременно поэзия?

Гена. Почему непременно? Конечно, если кто их писать не умеет...

Профессор. Да я не о том! Антон Антонович Загорецкий, которого ты ненароком посадил на Селифанову тройку вместо Чичикова... Или наоборот: которого ты ссадил с нее вместо Чичикова... В общем, уж он-то говорит совсем недурными стихами, – конечно, в комедии Грибоедова, а не у нас с тобой. Сегодня он как раз был... гм... не в ударе. Но разве от этого он становится поэтическим героем? Ведь нет же?

И Гене вновь ничего не остается, как признать свое поражение. Или порадоваться победе? Как-никак он понял нечто новое для себя, а это трудно назвать поражением.

КАК БЫТЬ СО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

На этот раз все начинается и обычно, и необычно – посмотрим, как будет продолжаться. А пока в квартире профессора Архипа Архиповича появляется, как всегда, Гена. Но вот загвоздка: сам хозяин куда-то подевался.

Гена. Архип Архипыч! Это я!.. Вы что, спрятались, что ли?.. Вот тебе раз! И не задержался я сегодня как будто...

В подтверждение правдивости его слов бьют настенные часы.

Ну да! Минута в минуту пришел!.. А! Вроде записка какая-то... Может, мне? Точно! «Гене в собственные руки...». Поглядим, чего у него стряслось... *(Шелестит листом бумаги и читает.)* «Дорогой Геночка! Я решил, что наступила наконец и моя очередь опоздать, или, как ты деликатно выражаешься на свой счет, задержаться. Не тебе же одному пользоваться этой привилегией. Шутка...». *(Ворчит.)* Ничего себе шуточки! «...а говоря серьезно, меня отвлекли и увлекли дела, связанные с подготовкой к нашим следующим путешествиям. Не стану опережать событий, скажу только, что для этого мне надо углубиться в первую жизнь одного литературного героя и во вторую жизнь второго. Понимаю, что пока это звучит туманно и даже несколько дико...». Да уж! «...но потом все разъяснится. Постараюсь управиться побыстрее. Впрочем, уверен, что ты и сам сумеешь разобрать свежую почту. А если не сумеешь...». Еще чего, не сумею! «...тогда тебе поможет наш давний друг Сэм Уэллер со своим Почтовым Дилижансом.

Желаю успеха. Твой Архип Архипович»... Да-а... *(Неуверенно.)* Ну, справиться-то я, конечно, справлюсь, и без Сэма, вот только... Кстати, а где же Сэм-то? Письма-то где?

Но только Гена, на которого сегодня возложена такая серьезная ответственность, начинает сердиться, вернее, заводить сам себя, как вдали раздается бесхитростная песенка Сэма Уэллера – та самая, какую вот уже немало лет он распевает по радио, восседая на козлах своего Дилижанса. Между прочим, музыку для нее сочинил композитор Владимир Энке.

Сэм *(его голос звучит все ближе и ближе).*

Зачем колеса вертятся?
Зачем поет рожок?
Затем, что время встретиться
Опять пришло, дружок.
Нельзя нам быть неточными,
Поскольку каждый раз
Нагружен свежей почтою
Наш старый Дилижанс.
Стать нашим другом истинным
Не так уж и хитро:
Вы только шлите письма нам,
Беритесь за перо!
Успеть к нам на свидание
У каждого есть шанс.
Придет без опоздания
Почтовый Дилижанс.

Тпру-у, любезные! Приехали!

Гена *(явно важничая)*. Наконец-то! Ничего себе: «придет без опоздания»! Да что это вы все, сговорились, что ли? У нас тут дел невпроворот, а вы с Архипом Архиповичем...

Сэм *(неопределенно)*. Оказывается, у меня дел выше головы, сказал землекоп, провалившись в яму, которую позабыл закопать.

Гена *(подозрительно)*. Это вы на кого намекаете?.. Хотя ладно. Некогда. *(С удовольствием играя в «самого главного».)* Ну, мистер Уэллер! Письма от слушателей привезли?

Сэм. В целости и сохранности, сказал кучер, вывалив седока на дорогу.

Гена. Честное слово, не до острот ваших сейчас!.. Посмотрим, что там у нас сегодня. *(Вскрывает письмо.)* «Здравствуйте, Архип Архипович и Гена! Пишет вам Недикова...».

Или Недикова? Или Недикова? В общем: «Пишет вам Оля из города Касимова Рязанской области. Слушала вашу передачу и решила ответить на ваш вопрос. Гена, ты хотел сказать о прекрасном произведении Чернышевского «Что делать?»...»

Да, был такой случай, просто он, как и многие другие, не попал сюда. Не уместился. Профессор и Гена толковали о русских книгах, сами названия которых звучали как вопрос, обращенный прямо к читателю: «Кому на Руси жить хорошо?», «Кто виноват?», «За что?». И попросили слушателей вспомнить еще одну книгу, озаглавленную таким же требовательным вопросом. Слушатели, разумеется, и вспомнили.

Сэм *(бесцеремонно перебивая Гену)*. Как, вы сказали, называется эта книга? «Что делать?» Право, чрезвычайно заманчивое название! Так вот и хочется узнать, что же за ответ кроется за столь загадочным вопросом.

Гена *(снисходительно)*. Да нет, мистер Уэллер, вы не то подумали. Как раз для вас-то эта книга... ну, чересчур сложная, что ли.

Сэм. «Вы считаете меня дураком?» – спросил подсудимый, когда ему предложили во всем признаться.

Гена. Ну что вы! Не в этом дело. Просто... *(Ищет и никак не может найти подходящее слово.)* Просто она не для вас, вот и все. И вообще, знаете, чего вам тут зря время терять? У вас же у самого небось дела есть. Вы поезжайте, а я тут сам все письма разберу.

Сэм. Гм... Дела у меня найдутся, что говорить, но, честное слово, мне не дает уехать любопытство. Хоть скажите: о чем эта книга?

Гена. Ну-у, это долго рассказывать!

Сэм. Экая беда! Тогда, может быть, вы расскажете мне хотя бы самое ее начало?

Гена. Что с вами делать!.. Ладно. Если уж так хотите, даже прочту. По книжке. Где она тут у Архипа Архипыча? Ага, вот!.. *(Читает.)* «Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге...».

Сэм. Уже дух захватывает!

Гена. Не перебивайте!.. «Накануне, в девятом часу вечера, приехал господин с чемоданом, занял нумер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтоб его не тревожили вечером...». Нет, подряд читать – это долго получится. В общем, утром к нему приходят, чтобы будить, стучат – он не

отзывается... *(Впечатлительный Сэм ахает.)* Тогда они зовут полицию, ломают дверь, глядят – нету его. На столе лист бумаги, а на нем вот что написано: «Ухожу в одиннадцать часов вечера и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту, между двумя и тремя часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь».

Сэм. Роман приключений! Книга загадок! Ах, что может быть лучше! Не зря загадки и приключения так обожал мой великий создатель, Чарлз Диккенс!

Гена. Да нет! Говорю же вам, это не то, что вы подумали! *(Решив схитрить)*. Да! Я и забыл совсем! Архип Архипыч просил вам передать, чтобы вы срочно за новыми письмами ехали.

Сэм *(неохотно)*. Говорите, сам господин профессор? Что ж... «Ничего не попишешь», – сказал ученик учителю, нарочно сломав карандаш во время диктанта. Счастливо оставаться!

Гена действительно остается один и если не счастлив, то уж безусловно доволен этим.

Гена. Ну, вот! Так-то лучше. А то... *(Передразнивает Архипа Архиповича.)* «Если, Геночка, не справишься, тебе Сэм Уэллер поможет». Сказано, обойдемся без всяких Сэмов... Какие у нас тут еще письма? *(Берет одно за другим, просматривает, читает на выборку.)* «Свой роман «Что делать?» Н. Г. Чернышевский писал в тюрьме. Остается лишь поражаться, как смог человек, находящийся в мрачных застенках, рассказать читателю о прекрасной, полной света и радости жизни, которая обязательно наступит после свершения революции. Гальцева Наталья, город Ростов-на-Дону»... Ясно. «Труды Чернышевского, сыгравшие громадную роль в развитии русской мысли, имеют для нас не только историческое значение. Во многих вопросах Чернышевский значительно опередил свою эпоху и является нашим современником. Его произведения и сейчас волнуют советских читателей. Проповедуемый им моральный кодекс...». *(Спотыкается, но дочитывает – не столько из добросовестности, сколько из уважения.)* «...кодекс революционных демократов не потерял своего актуального значения и для нас... С комсомольским приветом Арзамасова Тамара, ученица девятого класса Яльчинской средней школы Яльчинского района Чувашской АССР»...». Ну и здорово же! Умные девочки! Я бы, наверное, так даже и не сумел...

Он говорит это совершенно искренне, тем более что думает, будто его никто (разумеется, кроме радиослушателей) не слышит, но ошибается и в том и в другом.

Профессор. Хвалю за самокритичность! *(Не удержав вздоха, Гене непонятного.)* Хотя, думаю, ты не прав. Сумел бы. Или сумеешь.

Гена. Ой! Я прямо вздрогнул! Архип Архипыч, вы тут когда появились?

Профессор. Да уже несколько минут назад. Стою и слушаю.

Гена. И стоит послушать, Архип Архипыч. Здорово секут, правда?

Профессор *(почему-то без особого воодушевления).* Да… Конечно… Ну, и что же они еще пишут? Кстати, давай-ка для быстроты и я буду разбирать почту.

Гена. Еще? Пожалуйста! «Сочинение Чернышевского немедленно запретили. Но было поздно. Роман вырвался из стен тюрьмы на волю и стал программой революционного движения того времени, а образ стойкого борца за дело народа Рахметова – идеалом революционера для молодежи. Велика была воздействующая сила этого поучительного произведения. Не одно поколение революционеров испытало на себе мощное влияние идей «Что делать?». Старкова Светлана, город Алма-Ата»…

Профессор *(несколько рассеянно).* Так… Так… Очень хорошо… Да, Гена, а где же наш Сэм Уэллер?

Гена. Он… Знаете, Архип Архипыч, я его сплавил. *(Видя изумление профессора, спешит оправдаться.)* А что такого? Что ж, я один, что ли, письма не разберу? И потом… ну разве Сэму Уэллеру хоть что-нибудь в Чернышевском понять? Представляете, я ему начало прочел, чтобы…

Профессор. Отвязаться?

Гена. Почему обязательно отвязаться? Он просил, я и прочитал… Так он решил, что это чуть ли не приключенческий роман. Вот чудачина, верно?

Профессор. Думаешь, так?.. *(Вдруг радостно вскрикивает.)* А! Вот письмо, которое я надеялся найти. Слушай!.. «Здравствуйте, Архип Архипович и Гена! Я, Лена Сибирина из города Александрова Владимирской области, решила ответить на ваш вопрос…». Ну, это пропустим… «Мне очень понравилась эта книга. Хотя начинать ее читать мне не очень хотелось. Но теперь я не жалею, что прочла ее. «Что делать?» стоит теперь на моей книжной полке среди любимых произведений, среди «Овода» Войнич, «Тараса Бульбы» Гоголя, произведений Пушкина и других». *(Убежденно.)* Прекрасное письмо!

Гена. Да… Ничего… Только чем оно вам так уж особенно понравилось? А другие что, хуже? Вон умные какие!

Профессор. Кто же спорит? Но… Понимаешь ли, все они

написаны с большим уважением к великому, мужественному, чистому человеку Николаю Гавриловичу Чернышевскому...

Гена. Вот именно!

Профессор. Да. С уважением – не меньше, но, пожалуй, никак и не больше того. А Лена Сибирина написала с любовью! Может быть, не случайно те письма целиком состоят... ну, скажем, из не совсем собственных слов. Да что там хитрить! Попросту из чужих. Их тех, которыми обычно и пишутся типовые предисловия к книге Чернышевского. А Лена написала по-своему, от себя. Только от себя одной! Она прямо признается, что ей не очень хотелось браться за роман «Что делать?». И как, по-твоему, Геночка, не оттого ли, что его окружили слишком уж почтительным уважением и слегка позабыли, что это – роман, книга, которую можно еще и любить, увлекаться ею?..

Гена. Может быть. Откуда я знаю?

Профессор *(опять почему-то вздохнув)*. Вот и я не знаю... Но так или иначе Лена увлеклась, полюбила – и хорошо сделала! Скажи-ка честно, дружок, вот ты крепко помнишь сюжет этой книги?

Гена. Ну... Как вам сказать...

Профессор. Не продолжай. Понятно. Тогда ставлю вопрос иначе: что ты помнишь в ней лучше всего?

Гена *(уверенно)*. Ну, это-то ясно! Сны Ве...

Профессор *(так поспешно, словно хочет закрыть ему рот ладонью).* Сны? Великолепно! В таком случае – вот тебе один из снов героини!

Конечно, по самой этой торопливости мы сразу понимаем, что знаменитых снов Веры Павловна тут ждать не приходится. Очень скоро поймем и то, в чье сновидение решил отправить Гену, а заодно и нас Архип Архипович (конечно, сочиненное вовсе не им, а Чернышевским). Как говорится, спит и видит здесь мать Веры Павловны, Марья Алексеевна, существо, напомню, грубое, вульгарное и корыстное. В романе она смешна, и сон ее смешон, даже кошмар, от которого асе мы, случается, просыпаемся в холодном поту (проснется, дайте срок, и Марья Алексеевна), выглядит, как пародия.

Марья Алексеевна. Да что же это такое? Сплю я, что ли? Или не сплю? Ущипнуть себя нешто?.. Нет, и этого не могу. Рука не подымается. Сплю, стало быть. И сон-то, батюшки мои, до чего прелестный... Гляди-ка, карета по нашей улице едет, да какая отличная! Останавливается, ей-богу, возле меня останавливается! А вот и дама из ей выходит, пышная такая, ровно пава али пион, а

одета, одета как – вот бы моей Верочке али еще лучше мне... Святители-угодники! Никак, это Верочка и есть!

Вряд ли нужно говорить, что никакого отношения к подлинной Вере Павловне ее собеседница не имеет: самодовольная, жеманная, сытая – словом, такая, какой и хочется видеть свою дочь Марье Алексеевне.

Верочка. Посмотрите, мамаша, как меня муж наряжает! Одна материя пятьсот целковых стоит...

Марья Алексеевна *(ахнув)*. Пять... сот?!

Верочка. Никак не меньше, мамаша, и это для нас пустяки: у меня таких платьев целая дюжина; а вот, мамаша, это дороже стоит, вот на пальцы посмотрите...

Марья Алексеевна. Царица небесная! Брильянтов-то, брильянтов!

Верочка. Этот перстень, мамаша, стоит две тысячи рублей, а этот, мамаша, дороже – четыре тысячи рублей, а вот на грудь посмотрите, мамаша, эта брошка еще дороже – десять тысяч рублей! Вот вам и муженек мой, Дмитрий Сергеевич Лопухов, подтвердит нарочно!

Лопухов, конечно, тоже точно таков, о каком зяте мечтает мамаша.

Лопухов. Да-с! Это все для нас еще пустяки, милая маменька, Марья Алексеевна! А настоящая-то важность у меня вот в кармане: посмотрите, милая маменька, бумажник...

Марья Алексеевна *(жадно).* Да толстый какой!

Лопухов. Натурально, маменька! Все одними сторублевыми бумажками набит, и этот бумажник я вам, мамаша, дарю, потому что и это для нас пустяки!

Верочка. Пустяки, пустяки, пустяки!..

Верочка уже совсем даже не Верочка, хоть и такая, какой привиделась своей алчной маменьке; она – безликое и безглазое эхо, монотонно повторяющее слова супруга.

Марья Алексеевна. Батюшка! Дмитрий Сергеич! Вот спасибо-то! И то сказать: умели вы составить счастье дочери и всего семейства нашего, – только откуда же вы такое богатство получили?

Лопухов. А я, милая мамаша, пошел по откупной части!

Марья Алексеевна *(радостно)*. По откупной?

Лопухов. Точно так, мамаша, по откупной... По откупной... Откупной... Откупной...

Вот он и сам уже теряет реальные очертания, превращаясь в собственное эхо, а Верочка вторит ему отголоском: «По откупной... Откупной... Откупной...», пока все не обрывается каким-то дьявольским хохотом.

Марья Алексеевна. Ай! Где это я? Чур меня, чур! Сохрани и помилуй!.. А бумажник, бумажник-то где? Бумажник-то... *(Смачно плюнув.)* Тьфу, прости господи, жизнь проклятущая! В кои-то веки богатство в руки ухватить, да и то – тьфу! – во сне...

Голос ее постепенно исчезает.

Профессор. Что, Гена, как тебе этот сон?

Гена. Смеетесь? Да?

Профессор. Я? Над кем же?

Гена. Известно, над кем. Надо мной. И еще...

Профессор. Договаривай, договаривай! Может быть, еще и над любимыми героями Чернышевского?

Гена. А то нет! Разве они, Вера Павловна и ее Лопухов, такие? Гуси какие-то раскормленные! Важные, пошлые...

Профессор. Вот! Вот именно – пошлые!.. Только, разумеется, не настоящие Лопухов и Вера Павловна, а... Нет, я вижу, ты и впрямь забыл, что в романе Чернышевского есть не только знаменитые сны Веры Павловны, где в идеальном, символическом виде предстает будущее, как оно виделось ей и самому Николаю Гавриловичу, а вот, пожалуйста, еще и сон ее мамаши, в котором предстала совсем другая сторона жизни, изнанка другой души, убогие мечты о счастье только как о сытом и роскошном довольстве. То есть ты позабыл, что роман многообразен, что он не только, так сказать, учебник жизни, который нужно изучать, а, повторяю, именно роман, где живут, влюбляются, страдают его персонажи, за приключениями которых не только полезно, но даже интересно следить...

Гена. Ну, вы тоже скажете, Архип Архипыч! За приключениями! Как будто это детектив какой. Прямо как Сэм Уэллер...

Профессор. Слово-то можно подыскать и другое, не в нем загвоздка. А нашего милейшего Сэма ты, полагаю, спровадил совершенно напрасно. Его простодушный интерес ни чуточки не оскорбителен для Чернышевского. В романе действительно есть и приключения. Завязка его в самом деле загадочна, и

исчезновение Лопухова, который ради счастья близких ему людей притворился, что ушел из жизни, в свое время увлекло и заинтриговало читателей. Причем таких, которые были не менее, если не более, непосредственны, чем наш Сэм!

Гена *(скептически)*. В свое время… Откуда вам известно?

Профессор. Да хотя бы из драмы Льва Николаевича Толстого «Живой труп». Может быть, помнишь, там есть цыганка Маша, девушка, которую любит герой пьесы Федор Протасов, и, когда он оказывается в отчаянном, безвыходном положении, Маша предлагает ему такой выход… Погоди, я возьму с полки том. Слушай. «Читал ты «Что делать?» – это Маша спрашивает у своего Феди. Тот отвечает: «Читал, кажется». Тогда она ему говорит, что, дескать, одно там «очень, очень хорошо. Он, этот Рахманов, взял и сделал вид, что утопился…».

Гена. Какой еще Рахманов? Это она напутала! Наверное, Лопухова с Рахметовым смешала, вот и получился какой-то Рахманов!

Профессор. Что ты к ней придираешься? Не забывай: Маша – цыганка, девушка из хора, а не дворянка какая-нибудь, не разночинка даже, она ни гимназии, ни Института благородных девиц не кончала. Между прочим, она нелестно отзывается о самом романе… Правда, я думаю, это ей Лев Николаевич подсказал, он с Чернышевским основательно-таки спорил, если не сказать больше. Но вот что важно: она, *даже она* этот роман читала. И запомнила. Он для нее стал тем, чем, кажется, не стал для тебя: книгой со своими достоинствами, со своими, что естественно, недостатками, живой книгой, картиной живой жизни, а не одних только возвышенных мечтаний. И портретами живых людей, хоть все той же Марьи Алексеевны, которую ты зря выбросил из своей памяти.

Гена. Почему выбросил? Просто я…

Профессор. Просто ты этот роман не столько читал, сколько *проходил,* – вот и прошел мимо чего-то, без чего книга уже совсем не та. Ничего, я тебя верну. Собирайся!

Гена. Куда?

Профессор. Разумеется, в гости!

Но время для своего визита они выбрали, кажется, неподходящее: мы слышим звуки увесистых ударов, жалобные крики одного и яростные другой – одним словом, шум хорошей драки. Впрочем, кто знает? Может быть, Архип Архипович нарочно подгадал появиться именно в эту горячую минутку?

Марья Алексеевна *(истошно вопит)*. Осел! Подлец! Зарезал!

Вот же тебе! *(Оглушительная пощечина.)* Вот же тебе! *(Другая, не легче.)* Вот как тебя надобно учить, остолопа! За волоса тебя, разиню, за волоса!

Гена. Архип Архипыч! Вы не ошиблись? Это же прямо «Недоросль» какой-то! Госпожа Простакова!

Профессор *(смеется)*. А что? В самом деле похоже! Ишь как Марья Алексеевна простоватого своего супруга тузит!

Марья Алексеевна. Что это? Кто здесь? Ах ты ослиная голова! И дверь не запер! В таком виде чужие люди застают! Стыдился бы, свинья! Пшел вон! Не срами меня своим видом... Однако ж, сударь мои, чего пожаловали? По делу али как?

Профессор *(очень значительно, чем сбивает ее с толку)*. По делу, почтенная Марья Алексеевна, и весьма важному. Простите, что мы застали вас в самом жару... гм, гм... преподавания. По-видимому, ваш муж сильно перед вами провинился?

Марья Алексеевна. Еще бы не провинился, ворона! У меня, изволите ли знать, дочка есть. Верочка...

Гена. Да знаем!

Марья Алексеевна. А коли знаете, чай, сами судить можете: не чучела какая, а вся как есть из себя барышня. Ну, и то сказать: я для родного дитю последних денег не жалею. От расходов на нее уж все животы подвело. Намедни суприз ей сделала: в оперу повезла, во втором ярусе, шутка ли, билет взяла, где все генеральши бывают. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепьянщику-то сколько! А она, неблагодарная, ничего не чувствует... *(Жарким шепотом.)* Надо вам знать, сударь мои, сынок-то хозяйский, у кого мой дурак в управляющих, в Верочку возьми и влюбись. Все ей: «амур» да «шарман». Как есть, по уши врюхался!

Гена *(тихо)*. Ну и словечки! Прямо купчиха какая-то из Островского!

Профессор *(так же)*. Молодец! Верно замечено.

Марья Алексеевна. Ну, я себе думаю: коли до «амуру» да до «шарману» дело дошло, ты у меня, голубчик, не вывернешься. Не на таковскую напал. Я тебя в бараний рог согну. В мешке в церковь привезу, за виски вкруг налоя обведу, да еще рад будешь. Стало быть, думаю так про себя, за дочку родную радуюсь, плоть от плоти моей, а она-то, страмница, от этакого богатства рожу свою смазливую воротит. Да еще простофиля этот, муженек мой, чтоб ему... Все норовит изгадить! Хозяйка-то, женишка нашего богоданного мать, изволила призвать к себе дурака моего и велит ему, чертовка...

Профессор. Знаю, знаю, Марья Алексеевна. Велела ему, чтобы вы выбросили из головы свою затею, а он испугался и

согласился.

Марья Алексеевна. Ишь! И вправду знаете! Откудо-ва же это? А!.. Ах, я дура, дура! Да вы, сударь мои, не из полиции ли будете?

Гена *(обиженно)*. Кто?! Мы?!

Марья Алексеевна *(льстиво)*. То-то хороших людей сразу видать! А я-то думаю: что это меня, простоту, словами все несет да несет?.. Не судите меня строго, батюшки мои! Мать я все-таки! Мать! Думаете, злая я? Да, злая, только нельзя не быть злой! Тяжелая моя жизнь. Не хочу, чтобы и Верочка так жила. Пусть богато живет. Я сколько мученья приняла, и-и-и, и-и-и, сколько! Как я с Верочкиным-то отцом жила, когда он еще не был управляющим! Бедно, и-и-и, как бедно жили, а я тогда была честная! Это теперь я нечестная – нет, не возьму греха на душу, не солгу перед вами, отцы мои, не скажу, что я теперь честная! Где уж, то время давно прошло. Вот Верочка моя ученая, а я неученая, да я знаю все, что у ней в книгах написано, – то там и написано, что не надо так делать, как со мною сделали...

Гена *(снова тихо)*. Знаете, Архип Архипыч, а мне ее вдруг чего-то жалко стало!

Профессор. И в этом ты тоже прав. Ведь она еще не рассказала всего, что с ней делали и как обижали. Да и не расскажет – нас постесняется. Тут уж тебе не то что Простакова или купчиха Островского вспомнились бы, а, глядишь, и какая-нибудь героиня Достоевского...

Марья Алексеевна. Да... Ну, вот и стала я злая. А как стала, все и пошло хорошо. Мужу, дураку, должность доставил кто? Я доставила. А в управляющие кто его произвел? Я про... *(Вдруг обрывает сама себя, охваченная внезапным – и, разумеется, справедливым – подозрением.)* Что это вы на меня этак жалостливо поглядываете? Да вы, сударики, точно ли из полиции будете?

Гена *(с благородным негодованием)*. Конечно, нет – выдумали тоже! Откуда вы это вообще взяли?

Марья Алексеевна. А-а-а! Ах я тетеря! Так что ж я вам тут все выкладываю? Прочь из моего дома! Болтаются тут!.. Вот я сейчас настоящую-то полицию кликну! Эй! Кто там дома? Ты, ворона? Что глаза лупишь, остолоп? Беги за квартальным! Кому говорят! Ах ты!..

И опять звенят пощечины.

Гена *(смеется, находясь уже в полной безопасности)*. Вовремя мы с вами ноги унесли! А я-то еще сочувствовать ей вздумал!

Профессор. Не стыдись этого. В некотором смысле она

действительно заслуживает сочувствия: сама же сказала, что это жизнь сделала ее такой. Тяжелая, скверно устроенная жизнь. Такая, рядом с которой или, вернее сказать, в борьбе с которой самые идеальные мечты и планы Веры Павловны и ее друзей оказываются столь понятными… Между прочим, ведь не только же ради этой Марьи Алексеевны я затащил тебя к ней в гости. Не ради нее одной я прошу тебя ни в коем случае не относиться к роману «Что делать?», да и к каждой книге, которую ты *проходишь* в школе, как к некоему величавому и, увы, мертвому монументу, до которого даже не дотянешься, хоть становись на цыпочки. Ну, разве что уткнешься носом в почтительную надпись на постаменте. Нет, я прошу тебя относиться к этому роману свободно, не стесняя себя никакими выдуманными правилами примерного поведения, прямо признаваясь, что нравится, а что не нравится, – ради тех же Лопухова, Рахметова, Веры Павловны, которые возникали среди той мерзкой действительности, вырастали из нее, против нее восставали и, честное слово, никак не заслуживают того, чтобы из них делали учебные пособия. Сам посуди: разве могла бы эта знаменитая книга буквально перевернуть жизнь многих людей, если б они не читали ее с жадностью? Не спорили о ней? Не воспринимали ее как живое слово о живой жизни? Такого чуда, Геночка, никакая почтительность не совершила бы. Только – любовь. Только – живой интерес… Скажешь, что я повторяюсь? А мне никогда не надоест повторять это слово: «живой»…

ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ БОСЯКА САТИНА

Может быть, вы уже и забыли, какое странное путешествие пообещал Архип Архипович Гене в самом начале путешествия предыдущего. Если так, не смущайтесь: гораздо более странно, что об этом забыл сам Гена. Потому что как иначе объяснить вопрос, с которым он заявился к профессору?

Гена *(очень по-деловому)*. Ну? Куда сегодня, Архип Архипыч?

Профессор *(лаконично)*. На дно.

Гена. На какое дно? В каком смысле?

Профессор. В прямом... То есть нет, прости, пожалуйста. Наоборот, в метафорическом.

И не успел Гена понять, что это значит, как слышит – и мы вместе с ним – очень знакомые слова.

Сатин. Человек свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за все платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не

ты, не я, не они... нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! Понимаешь? Это – огромно!.. Это звучит... гордо!

Короче говоря, слышим монолог Сатина из пьесы Горького «На дне». Настолько знаменитый, что Гене уже просто нельзя не догадаться, куда именно завлек его Архип Архипович, а мы в самом деле можем быть короче, не приводя здесь того, что слишком известно.

Барон. Ты – рассуждаешь... Это хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня – нет этого... я – не умею! Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому – что же дальше?

Сатин. Пустяки! Кого бояться человеку?

Барон. Иногда я вспоминаю наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... богатство... сотни крепостных... лошади... повара... Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами...

Сатин. Забудь о каретах дедушки... в карете прошлого – далеко не уедешь...

Барон. Черт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно... А у меня... кажется, нет характера...

Сатин. Заведи. Вещь – полезная.

Барон. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не понимаю! Учился – носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... Женился – одел фрак, потом – халат... а жену взял скверную – и зачем? Не понимаю... Прожил все, что было, – носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, фуражка с кокардой... растратил казенные деньги, – надели на меня арестантский халат... потом – одел вот это... И все... как во сне... а? Это... смешно?

Сатин. Не очень... скорее – глупо...

Барон. Да... и я думаю, что глупо... А... ведь зачем-нибудь я родился... а?

Сатин. Вероятно... Человек рождается для лучшего!

Их голоса умолкают, и ненадолго воцаряется молчание.

Профессор. Ты, я вижу, задумался, Геночка?

Гена. Да... Знаете, что мне в голову пришло? Нам ведь всегда интересно, когда мы какую-нибудь книгу дочитаем или пьесу досмотрим: а что с героем дальше будет?

Профессор *(его голос полон какого-то предчувствия и словно бы страха, что предчувствие не сбудется).* Ну-ну? И что же?

Гена. А ведь интересно-то не только, что *после* было, но и то, что *до*!

Профессор. Ай да я!.. *(Сам себе объясняя свою непонятную радость.)* Впрочем, что ж? Слава богу, пора мне уже угадывать твои реакции – не первый год тебя знаю!

Гена *(с искренним недоумением).* Это вы о чем?

Профессор. Не обращай внимания. Пустяки... Насколько я понял, эту мысль у тебя вызвал рассказ барона?

Гена. Ну да! Вот он рассказал, и сразу ясно стало, откуда он такой взялся. Вернее, почему таким стал. А Сатин? Все-таки жалко, что он ничего такого про себя не рассказывает... Или, может, я забыл? Может, в другом месте пьесы есть что-нибудь такое?

Профессор *(с нажимом).* В *пьесе* об этом почти ничего нет.

Гена. Ах, все-таки почти? Значит, есть что-то такое?

Профессор. Есть. Допустим, Сатин упоминает вскользь, что в молодости был телеграфистом. Много читал. Говорит, что был веселым, прекрасно плясал, даже играл на сцене, разумеется, на любительской...

Гена. В самодеятельности, что ли?

Профессор *(смеется).* В этом роде. Сообщает он о себе и более серьезные вещи: оказывается, пришлось ему сидеть в тюрьме. Как он выражается, «за подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении». А за что убил, только намекает. Дает понять, что тот каким-то образом обидел его сестру. Вот и всё.

Гена. Да... Немного. Нет, если бы он подробно рассказал, как попал на это самое дно – вот вроде барона, – лучше было бы.

Профессор. Что делать, чего нет, того нет. Правда, на этот счет существуют свидетельства в других произведениях. Например, вот что рассказывает в своей книге «Моя жизнь в искусстве» Константин Сергеевич Станиславский. «Оказывается, – пишет он, – что босяк, с которого Горький писал роль Сатина, пострадал из-за самоотверженной любви к сестре. Она была замужем за почтовым чиновником. Последний растратил казенные деньги. Ему грозила Сибирь. Сатин достал деньги...».

Гена. Сатин? У него что, и фамилия такая была?

Профессор. Да нет. Станиславский называет его так условно, для ясности, имея в виду, что этот человек был прототипом героя

пьесы «На дне». Но дальше. «Сатин достал деньги и тем спас мужа сестры, а тот нагло предал его, уверив, что Сатин нечист на руку. Случайно подслушав клевету, в порыве бешенства Сатин ударил предателя бутылкой по голове, убил его и был присужден к ссылке. Сестра умерла. Потом каторжанин вернулся из ссылки и занимался тем, что ходил с распахнутой грудью по Нижнему Новгороду с протянутой рукой и на французском языке просил милостыню у дам, которые ему охотно подавали за его живописный романтический вид».

Гена. Интересно… Но вы же сами говорите: это не о том Сатине, который в пьесе. Это о его прототипе. Вот если бы про настоящего Сатина узнать…

Профессор *(неожиданно)*. Знаешь, Гена, что замечательно? То, как ты сейчас выразился: про настоящего!.. Какое это чудо, что о литературном герое, который вроде бы с головы до ног придуман писателем, мы можем сказать «настоящий», будто он еще более живой, чем тот реальный человек, который взят за его основу. Вот она, сила искусства!.. *(Немного сбавляет тон.)* Но это я так, в сторону. Прости… Значит, тебе хотелось бы знать, как горьковский Сатин шел *по пути на дно? (Последние слова он опять произносит с заметным, но пока еще непонятным для Гены нажимом.)*

Гена. Конечно! А вам не хотелось бы?

Профессор. Мне? Видишь ли, я это знаю.

Гена. То есть догадываетесь?

Профессор. Не то что догадываюсь, а… В общем, если хочешь, послушай. Итак, в молодости Сатин служил телеграфистом. И однажды, когда он вечером сидел в своей комнате и читал книгу, вызывавшую у него самые радужные, самые восторженные мысли, к нему постучалась квартирная хозяйка. Вошла и сказала буквально следующее – я тебе передаю дословно…

Гена. Дословно! Ничего себе, как это вы уверенно говорите. Как будто вам сам Сатин рассказал!

Профессор. Ну если не Сатин, то человек, осведомленный не меньше его. Так или иначе – не перебивай… «Должна снова предупредить вас, – это ему хозяйка говорит, – завтра дом и все имущество мое продадут с аукциона и я с дочерью буду выброшена на улицу». А ко всему прочему, надо тебе знать, что дочь хозяйки, совсем юная девушка, была, к несчастью, калекой. Не могла ходить без костыля…

Гена. Представляю, как Сатину их жалко стало!

Профессор. Естественно. Но чем он мог им помочь? Правда, ему пришла в голову одна мысль, увы, не слишком удачная. Он

пересчитал все свои деньги, убедился, что их ничтожно мало и отправился в игорный дом. Причем сначала-то ему повезло. Деньги к нему повалили. Но потом...

Гена *(горестно)*. Проиграл!

Профессор. Да. Некий богатый толстяк ободрал его как липку – даже без часов оставил. Ободрал да поднял на смех.

Гена. Вот гад!

Профессор. Сильно сказано, но справедливо. А дальше события развивались так. Сатин, хмельной, бредет восвояси. Его догоняет один из партнеров по карточному столу и говорит: «Я тоже проиграл. Но выигрыш можно вернуть». «Как?» – спрашивает Сатин, и в это время мимо них на извозчике проезжает тот самый толстяк. Оба проигравших бегут, чтобы опередить его, подстерегают и...

Гена *(то ли с ужасом, то ли в предвкушении страшной мести, – не поймешь)*. Убивают?!

Профессор. Ну, почему? Еще этого не хватало. Достаточно и того, что отнимают у него деньги.

Гена. И что потом?

Профессор. Потом... Что ж, развязку лучше увидеть собственными глазами.

Голос Сатина, но гораздо звучнее и моложе, чем был в отрывке из драмы «На дне».

Сатин. Сударыня! Я достал для вас немного денег – вот они. Может быть, вы возьмете?

Хозяйка *(она и тронута до слез, и стесняется, и в сомнении)*. Это очень великодушно, но... вы сами бедный человек. Я понимаю, вам жаль нас, но...

Сатин *(мрачно)*. Я не хочу унижать вас жалостью.

Хозяйка. Я не то хотела сказать... Позвольте, я позову мою дочь. Лиза!

Дочь *(у нее очень юный и очень строгий голосок уже настрадавшегося человека)*. Ты звала меня, мама?

Хозяйка. Да! Видишь, Лиза, господин Сатин так добр, что предлагает нам эти деньги... Ведь если мы их возьмем, мы спасены! Мы не останемся без крова!

Дочь. Откуда у вас эти деньги? Это ваши, это честные деньги?

Сатин *(с вызовом)*. Да, честные. Я заплатил за них моей честью.

Дочь. Это двусмысленно... Мама! На минутку!

Гена. Понятно... Значит, они вроде брезгуют его деньгами,

да?

Профессор. Во всяком случае, эта девочка – безусловно.

Гена *(вскрикивает, забыв о необходимости оставаться всего лишь незаметным наблюдателем).* Ой! Архип Архипыч, да что же он делает? Смотрите, он деньги ногами топчет! На куски рвет! Что это с ним?

Профессор. Только то, что и он, значит, брезгует краденными деньгами. Они ему руки жгут...

Повелительно-громкий стук в дверь – совсем не такой, когда стучит квартирная хозяйка.

Сатин. Эй, кто там? Не заперто!

Грубый голос. Полиция!..

И всё.

Гена *(убито)*. Теперь они его в тюрьму?

Профессор. Куда же еще?

Гена. Эх, как все глупо вышло... *(Спохватившись.)* Постойте, Архип Архипыч! Вообще-то вы это ничего придумали...

Профессор *(очень смиренным голосом)*. Спасибо, Геночка!

Гена. Погодите благодарить... Только неувязочка вышла. Где ж тут сестра, из-за которой он какого-то там подлеца убил?

Профессор. Ей-богу, не знаю. Может быть, история с квартирной хозяйкой случилась позднее? По крайней мере у Горького об этом ничего нет.

Гена. У какого Горького?

Профессор. Вот тебе раз! У Алексея Максимовича... Не понимаешь? А все проще простого. То, что ты принял за мою собственную выдумку, столь снисходительно ее полуодобрив, на самом деле рассказано в киносценарии, который Горький написал где-то между 1928 и 1930 годами и назвал его «По пути на дно». Между прочим, там не один Сатин. Там и барон, и Лука, и содержатель ночлежки Костылев, и полицейский Медведев, и Василиса, и Настя, и другие, разумеется, все намного моложе, чем в пьесе.

Гена. И кино такое есть?

Профессор. Нет, фильма не сняли. Горький даже и не закончил сценария. Но, как видишь, он словно бы предусмотрел твое страстное желание узнать, что с героями «На дне» было, как ты говоришь, *до.* То есть и его самого этот вопрос волновал. Он не хотел расставаться с созданными им персонажами: ни с их прошлым, ни с их будущим.

Гена. С будущим? Так его-то здесь нету... Или, может, он и про будущее сценарий сочинил?

Профессор. Нет. Просто я лично думаю, что Горький отправился в прошлое своих героев отчасти затем, чтобы яснее увидеть их будущее.

Гена. Как это? Что-то вы меня запутали, Архип Архипыч!

Профессор. Сейчас распутаю. Только сначала прочту несколько фраз из горьковского письма, относящегося, кстати сказать, к тому же самому 1928 году, когда он, судя по всему, и задумал свой сценарий. Горький отвечает группе красноармейцев: «Товарищи! Вы спрашиваете: «Почему в пьесе «На дне» нет сигнала к восстанию?» Сигнал этот можно услышать в словах Сатина, в его оценке человека... Я хотел – и хочу – видеть всех людей героями труда и творчества, строителями новых, свободных форм жизни...» Но дальше Алексей Максимович добавляет: «Само собою разумеется, что проповедь социализма я не мог вложить в уста людей, разбитых жизнью, не способных к труду, готовых поддаться всякому утешению»... Понимаешь, куда я клоню? Или пока не очень? Хорошо, давай вместе подумаем, что говорят о молодом Сатине его поступки.

Гена. Ну... Он добрый!

Профессор. Так. Дальше.

Гена. Он благородный, только... Я не знаю, как сказать. Ну, слабый, что ли. Хотел, как лучше, а и хозяйке с дочерью не помог и себе навредил. Потому что не тем путем шел.

Профессор. Что ж, примерно так. Положим, другого пути для немедленной помощи бедным женщинам он и не мог найти, но главное дело в том, что он вообще не восставал на жестокость жизни, а как бы попробовал действовать по ее же бесчестным правилам. Да, он полон благородных чувств, он хочет совершать благородные поступки, но для этого у него нет не только возможностей, но и внутренних сил. Он, на свою беду, не способен бороться с жизнью. Он ее жертва...

Гена. Как Горький сказал, «разбитый жизнью»...

Профессор. Вот-вот. И поэтому, когда читатели спрашивали, почему, дескать, в пьесе «На дне» нет прямого сигнала к восстанию, этот вопрос был, конечно, очень и очень наивным. Если угодно, сигнал, призыв звучали в том, *как* Горький изображал людей, разбитых жизнью, с какой горечью, с каким гневом, но тот же Сатин, уж конечно, не мог бы стать одним из тех, кто готовил, а потом и поднял восстание. И вот, может быть, – я говорю очень осторожно: может быть – для того, чтобы это стало совсем ясно, Горький пишет свой сценарий.

Гена. А из пьесы это разве не было ясно?

Профессор. Было, но, как видишь, не всем. А Горький не хотел разночтений. Он хотел, чтобы его замысел был предельно ясен всем и каждому, даже тем, кто еще очень слабо ориентируется в литературном океане. Чтобы его герои предстали не только в один-единственный миг своей жизни, но в движении, чтобы было видно, куда они движутся, куда могут – и куда не могут – прийти. Ради этого Горький и заставил Сатина прожить еще одну, так сказать, первую жизнь, что, между прочим, не такая уж редкость, как может показаться. В истории литературы случалось, что иной герой ухитрялся прожить, наоборот, новую жизнь – вторую, третью, четвертую... Но об этом уж давай в следующий раз.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОМЕЩИКА НОЗДРЕВА

Вот он, этот самый раз. И начинается он, мягко говоря, странно. Не успел Гена выпалить свое: «Здрасте, Архип Архипыч!» – как к нему кидается Ноздрев.

Ноздрев. Ба, ба, ба! Какими судьбами?
Гена *(ошарашенно)*. Это... вы мне?

Ноздрев. И он еще спрашивает! Да я, не поверишь, только что сказал вот ему: «Ну, говорю, брат Архип, смотри, говорю, ежели сию минуту к нам сюда не заявится... этот...» Как бишь тебя! Евстигней? Селифан? Акакий? Э, да все равно! Позволь, душа, я тебе влеплю один безе! Да, да, ты уж не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Гена. Отстаньте от меня! Не хочу я с вами целоваться! Архип Архипыч, что тут у вас происходит? Я думал, вы к новому путешествию готовитесь, а тут, оказывается...

Профессор. Успокойся, Геночка! Ты не ошибся. Я действительно окончательно обдумывал, даже обкатывал наш новый маршрут, и вот для репетиции, на пробу пригласил этого господина...

Гена. А! Значит, мы сегодня в «Мертвые души» отправимся?

Профессор. Почему ты так решил?

Гена. Как почему? Шутите? А зачем же тогда здесь Ноздрев-то?

Ноздрев *(одобрительно).* А ты, брат Архип, я вижу, в самом деле шутник! Хвалю! Ты мне сейчас точь-в-точь напомнил штаб-ротмистра Поцелуева, тот тоже, бывало... Вообрази: бордо называет просто бурдашкой. Каково? А? «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки...». Этакая бестия! *(Хохочет.)* А твой Евстигней...

Профессор *(сбитый с толку).* Какой Евстигней?

Ноздрев. Как это какой? Натурально, вот этот, который изволил пожаловать!.. Так вот, твой Евстигней ни дать ни взять поручик Кувшинников. Такой же мошенник, ей-богу!

Профессор. Нет, я вижу, так у нас дело не пойдет. Ноздрев не даст. Что ж, как было сказано, я его породил, то есть вызвал сюда, я и...

По-видимому, он нажал на какую-то хитрую кнопку – как бы то ни было, Ноздрев действительно испарился.

Так-то оно спокойнее.

Гена. И все-таки я вас не понимаю. Зачем же он тогда вам понадобился? Что ли, вы его характера не знаете? Тем более если даже и не собирались сегодня «Мертвыми душами» заниматься... Да, между прочим: а куда же мы отправимся? В какую-нибудь другую книгу Гоголя?

Профессор. Нет, не Гоголя. Салтыкова-Щедрина.

Гена. Тогда я вообще понимать отказываюсь. К Щедрину-то Ноздрев какое отношение имеет?

Профессор. Да имеет некоторое... Видишь ли, дружок, в 1881

году Михаил Евграфович начал публиковать в журнале «Отечественные записки» «Письма к тетеньке»...

Гена. Письма – и публиковать? А к какой тетеньке-то? К своей, что ли?

Профессор *(раздосадованно).* Да нет! Неужели не понятно! «Письма к тетеньке» – так называется знаменитое произведение Щедрина. Цикл его сатирических очерков. Просто написаны они были в форме писем – это вообще довольно часто встречается в литературе. Помнишь, например, «Бедных людей» Достоевского?.. Словом, это щедринское сочинение написано от лица некоего жителя Петербурга, который сообщает своей, так сказать, тетеньке...

Гена *(придирчиво).* Почему «так сказать»?

Профессор. А потому, что под тетенькой подразумевалась не какая-нибудь пожилая дама, а некто... вернее, нечто совсем иное. Как полагают исследователи – да это, в общем, даже несомненно, – тут прямо имелось в виду само тогдашнее российское образованное общество. Тот есть та его часть, которая была преисполнена предрассудков, этаких, если так можно выразиться, *тетенькиных,* мягкотелых иллюзий и готовности немедленно приспособиться к новой и очень жесткой политике самодержавия. Ведь это пора, когда только-только бомбой, брошенной народовольцами, убит царь Александр Второй и на трон вступил его сын Александр Третий, настроенный, как понимаешь, весьма нешуточно. Вот Щедрин и... Да что я тебе взялся лекцию читать! Туда! В ту эпоху и в язвительную прозу Салтыкова-Щедрина!..

И как всегда, без проволочки возникает голос щедринского Племянника. Впечатление таково, будто он сидит и скрипит пером, сочиняя взаправдашнее письмо своей взаправдашней провинциальной тетеньке, и в то же время можно уловить (даже нельзя не уловить), как он словно бы потешается и над тетенькой, и над собою самим, и над своим занятием.

Племянник. Милая тетенька! Помните ли вы, как мы с вами волновались? Это было так недавно. То расцветали надеждами, то увядали, то поднимали голову, как бы к чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно все, что нужно, услышали, то устремлялись вперед, то жались к сторонке... И бредили, бредили, бредили – без конца!

Ах! Весело тогда было. А ныне...

Вы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мне живется? Хорошо-то хорошо, а все-таки не знаю, как сказать. Притеснений нет, свобода самая широкая, даже трепетов нет – помните, как в

те памятные дни, когда, бывало, страшно одному в квартире остаться, – да вот поди ж ты! Удивительно как-то тоскливо. Атмосфера словно арестантским чем-то насыщена, света нет, голосов не слыхать, сплошные сумерки, в которых витают какие-то вялые существа. Все вдруг как-то переменились – и даже...

Представьте себе, тетенька, кого я на днях встретил! Ноздрева!..

Гена. Кого?

Племянник *(словно нарочно откликаясь на его удивленный вопрос)*. Именно Ноздрева, того, с которым мы когда-то у Гоголя познакомились! Не пугайтесь, однако ж: это далеко уж не тот будет Ноздрев, которого мы знавали в цветущую пору молодости, но солидный, хотя и прогоревший консерватор. Штука в том, что ему посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный донос, а потом дальше да шире – и вдруг с ним совершился спасительный переворот! Теперь он говорит только трезвенные слова, и обе бакенбарды, которые – помните, тетенька? – из-за трактирных потасовок были у него одна короче другой, ныне одинаковой длины и одинаковой пушистости... Словом, встретились мы на Невском, и, признаюсь, первым моим движением было бежать. Однако вижу, что человек совсем-таки переродился – делать нечего, подошел...

Профессор. Знаешь, Гена, сдается мне, что и этот монолог уже на лекцию смахивает. Как говорится, не будем останавливаться на достигнутом, двинемся дальше, туда, где можно не только услышать, но и увидеть!..

И, поскольку со стороны Гены возражения, естественно, не последовало, они в самом деле видят того же Ноздрева.

Ноздрев. Ба, ба, ба! Какими судьбами?

Впрочем, что значит «того же»? Ведь нам уже сказали: с одной стороны, да, «именно того», а с другой – нет, «это далеко уж не тот будет Ноздрев». Словом, и тот и не тот. Даже свое знаменитое «ба, ба, ба» он хоть и по-прежнему произносит, но уже иначе, куда солиднее. Поэтому мы и будем именовать его Ноздревым Вторым, а того, гоголевского – Ноздревым Первым.

Племянник *(несколько принужденно)*. Кого я вижу? Уж не Ноздрев ли собственной персоной?

Ноздрев Второй. Кому ж и быть, как не мне? Неужто так переменился?

Племянник. Признаюсь, не без того... Вот и бакенбарды ваши

не те, что прежде...

Ноздрев Второй *(благодушно)*. Эва что вспомнил! Бакенбарды! Нет, брат, теперь я уж не того... Хотя, впрочем, и старину бывает недурно-таки вспомнить, не так ли? Как мы, бывало, на ярмарке-то с ротмистром Поцелуевым да с поручиком Кувшинниковым кучивали, припоминаешь, старый греховодник? Или как с Чичиковым поросенка на постоялом дворе ели? Помнится, ты, шельмец, тогда возьми да и скажи покойнику Павлу Ивановичу...

Племянник. Я? Нет, я... То есть я помню, как вы с Чичиковым на постоялом встретились, но меня там в ту пору... *(Желая замять неловкость.)* А кстати спросить, почему покойнику? Неужели Павел Иванович...

Ноздрев Второй. А ты не слыхал? Да уж давненько. И один ли Чичиков? Плюшкин... Петух Петр Петрович... Генерал Бетрищев... Костанжогло... Полицеймейстер, тот, которого, помнишь ли, отцом и благодетелем города почитали...

Племянник. Как? И он?

Ноздрев Второй (с *благочестивым вздохом)*. Что делать? Все там будем... Далее: председатель гражданской палаты... Дама приятная во всех отношениях... Дама просто приятная... *(Всхлипывает – без особой, впрочем, искренности.)* Всё, брат, примерло. Всё на кладбище свезено.

Племянник. Значит, вы один остались?

Ноздрев Второй. Нет, зачем? Вот, к примеру, Собакевич жив. И вообрази: он по смерти своей Феодулии Ивановны воспользовался ее имением да, не будь дурак, на Коробочке женился – с тем, чтобы и ее имением воспользоваться. Молодец, право, молодец; я, признаюсь, в прежние времена к нему несправедлив бывал... Да вот еще зять мой Мижуев живехонек – помнишь фетюка? В мировые судьи подался. А Петрушка чичиковский при нем письмоводителем состоит и с женою его, вообрази, в самых приятельских отношениях!

Племянник. Любопытно. Однако ж... Простите меня, но, быть может, вы по старой своей привычке несколько...

Ноздрев Второй *(необидчиво и беззлобно)*. Да уж договаривай, не бойся! Прилгнул, что ли? Нет, брат, говорено же тебе: я уж не тот. Ей-богу, как вспомню себя тогдашнего, так – тьфу! – плюнуть хочется. А теперь – шалишь! Теперь я попусту более не мелю, чтобы на бобах не остаться. Вот Манилов, тот ни в какую не переменяется, все своими бреднями занят, и что ж вышло? Вообрази, живет со своей благоверной в Кобеляках, нищета страшенная, потому что сынишка их Фемистоклюс все имение промотал и теперь сам служит в трактире Лопашова. В

швейцарах.

Племянник. Ну а вы-то сами как? Служите?

Ноздрев Второй. Разумеется, служу. Как нынче без этого?

Племянник. И где же?

Ноздрев Второй. Да уж, понятное дело, не в трактире. Ха-ха-ха!.. *(Смеется со вкусом и веско заключает.)* В Обществе частной инициативы спасения.

Племянник. Как, как?

Ноздрев Второй. Или, ежели точнее выразиться, в учрежденной при оном Обществе Комиссии для разбора обывательских содействий.

Гена. Честно говоря, Архип Архипыч, я тоже не разобрал. Какое такое общество? Какая комиссия?

Профессор. Ах, Геночка, не в названии же соль! Салтыков-Щедрин просто-напросто высмеивает здесь учреждения, возникавшие в ту пору и притворявшиеся ужасно деятельными и полезными, а в реальности, конечно, являвшиеся пародией настоящей деятельности. Ты, дружок, лучше вглядывайся в этого, нового Ноздрева, вслушивайся, *как* он говорит. С каким пафосом несет свою бюрократическую околесицу... Тем более что до нее-то дело наконец и дошло!

Ноздрев Второй. Да-с. Состою главным делопроизводителем этого отличнейшего учреждения, получаю прекраснейшее содержание, пользуюсь, вообрази, любовью подчиненных – у-у, они за мной, коли понадобится, хоть в огонь, хоть в воду – и, ежели пожелаю, могу жениться на купчихе с хорошим состоянием.

Племянник. Что ж, большому кораблю большое плаванье... И все же не откажите пояснить, в чем сущность вашего учреждения? Вашей комиссии?

Ноздрев Второй. Поясню, изволь. Комиссия наша – учреждение не частное, но и не казенное...

Племянник. Как так?

Ноздрев Второй. А вот так! С одной стороны, как будто частное, но с субсидией; с другой стороны, как будто казенное, но с тем, чтоб никому об этом не говорить. Для начатия действий у нас открыто только два отделения: одно под названием «Что Нужно?», а другое под названием «Что Ненужно?». В ближайшем будущем предполагается, впрочем, открыть еще третье отделение, под названием «И Да и Нет, или Ненужное не нужнее ли Нужного?». Однако поелику...

Ноздрев продолжает развертывать перед Племянником картину деятельности своего странного учреждения, но мы его

уже плохо слышим, – вероятно, причиной уличный шум. Не забудем: мы сейчас на людном Невском проспекте… Вернее, не совсем так: мы – в сатирической прозе Салтыкова-Щедрина, а уж ее персонажи сошлись на Невском. Ведь Москва в «Горе от ума» – не просто Москва, а Москва Грибоедова; Петербург у Гоголя, Достоевского или Щедрина – тоже их Петербург.

Впрочем, как бы то ни было, сейчас-то важно одно: среди шума улицы профессор и Гена могут говорить о своем, не мешая Ноздреву. И он не мешает им.

Гена. «Не нужнее ли Ну…». *(Поперхнулся.)* Ну и ну! Это же абракадабра какая-то!

Профессор. Совершенно верно. Что и хотел доказать Щедрин.

Гена. Да… Это вы правильно про бюрократическую околесицу сказали. Нет, это ж надо! Вы только подумайте: Ноздрев, этот гуляка, врун – и вдруг таким бюрократом заделался!

Профессор. Во-первых, не вдруг, а во-вторых, бывает и такое. Подчинился моде нового времени.

Гена. И все-таки странно. Небось если бы этот Ноздрев себя тогдашнего встретил, он бы ему… то есть себе самому даже руку не подал. Слыхали, как он сказал? Как, говорит, вспомню себя прежнего, аж плюнуть хочется!

Профессор. Слыхал, слыхал… Постой! Как ты выразился? Если бы встретил себя?.. А что! Пусть плюнет!

И, как нетрудно догадаться…

Ноздрев Первый. Ба, ба, ба! Сколько лет! Сколько зим? Куда? Откуда? А я – с ярмарки! Поздравьте: продулся в пух! Верите ли, что никогда в жизни так не продувался! А ведь будь только двадцать рублей в кармане, именно не больше как двадцать, я отыграл бы все, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник!.. Эх, брат, ну что бы тебе стоило приехать?

Племянник (с *изумлением)*. Мне?

Ноздрев Первый. Вестимо, тебе! Уж я знаю, первее тебя картежника нет: ты и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь…

Племянник. Я?!

Ноздрев Первый. Ишь, притворяется, шельма! Ну, дай обнять себя! Приди на грудь мою!..

Смачный поцелуй и звуки, свидетельствующие о том, как

барахтается Племянник, норовя вырваться из дюжих ноздревских объятий.

А уж тебя-то, брат, как я рад видеть! Что ни говори, родная кровь! Одного корню! Одного помету! Что ж ты сторонишься? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Да что ж ты? Аль не признал?

Ноздрев Второй *(сухо и даже с отвращением).* Именно что признал. И как раз оттого не желаю с вами лобызаться. Уберите подалее ваши мокрые губы и извольте взглянуть на себя. Как вы одеты? Что на вас за архалук? А бакенбарды? Они в таком виде, будто вас только что оттаскали за шулерскую игру! Да, к несчастью, мы в некотором родстве. Я знаю вас, но не желаю знать!

Ноздрев Первый. Что? Что-о-о? Да коли так, ты скотина, ей-богу, скотина! Экий скалдырник! Подлец! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил! Ну, погоди, ракалия! Вот тебе на первый, случай – тьфу!.. *(Звучный плевок.)* Что, получил прямо в рожу? А на второй случай... Эй! Где мои люди? Порфирий! Павлушка! Бейте его!..

Ноздрев Второй. Полиция! Квартальный! Взять этого негодяя!

Племянник. Господа! Господа! Что вы делаете? Вспомните, что вы не чужие друг другу!.. Господин Ноздрев, вот, если угодно, мой платок, оботрите лицо!.. А вам, господин Ноздрев, должно быть стыдно, ибо...

Шум потасовки перекрывает его слова, и вновь Архип Архипович и Гена получают возможность разговаривать, не заглушаемые Ноздревым и Племянником.

Гена *(смеется).* Точно! Что я говорил? Так и есть – плюнул!.. Правда, не тот в этого, а этот в того, но все равно... *(Вдруг, обрывая себя, уже совсем другим тоном.)* А знаете, Архип Архипыч, все-таки Салтыков-Щедрин зря, по-моему, в своих «Письмах к тетеньке» Ноздрева вывел!

Профессор. Вот как?! Ничего не скажешь, неожиданная реакция на эту бурную сцену.

Гена. Почему неожиданная? Нормальная. Я ведь что хочу сказать? Что если уж Гоголь придумал *своего* Ноздрева, такого, какой он есть, то его уж ни повторять не надо, ни так делать, как Щедрин сделал. Смотрите: фамилию ту же оставил, а человек-то совсем другой получился!

Профессор. Вот ты о чем... Ну, прежде всего должен по

справедливости сказать, что подобное – вовсе не личная выдумка Щедрина. Так бывало и до него и после него. То есть очень часто литературный герой, созданный одним писателем, – разумеется, знаменитый герой – перекочевывал с той или иной целью в произведение другого.

Гена. Что значит: с той или иной?

Профессор. То и значит, что с самыми разными целями. Допустим, вот что случилось с Дон Кихотом. Стоило Сервантесу выпустить в свет первую часть романа о благородном рыцаре Печального Образа, как некий человек, укрывшийся под длинным псевдонимом Алонсо Фернандес де Авельянеда, напечатал вторую, поддельную, часть, притом для того, чтобы его фальшивый Дон Кихот сразился с настоящим, сервантесовским. Потому что роман этого самого Алонсо ставил своей целью осмеять книгу Сервантеса и его героя.

Гена. Так это же совсем особый случай!

Профессор. Все случаи особые, потому что цели разные. Вот, если угодно, пример прямо-таки противоположный... Какого бы героя выбрать, чтоб ты его хорошо знал? Ага! Известно ли тебе, что в годы нашей Великой Отечественной войны в советской литературе вновь возродился бравый солдат Швейк?.. Да, да! Только на сей раз с его помощью зло осмеивалась армия уже не императорской Австрии, а гитлеровской Германии, и, право же, ни Ярославу Гашеку, ни его герою не пришлось бы жаловаться на то, что Швейк получил *вторую жизнь.* Понимаешь? Он и без того бессмертное литературное создание, а тут еще такое везение: другая жизнь, отличная от первой, В иных обстоятельствах. В иное время. Точь-в-точь как у Ноздрева из «Писем к тетеньке»... *(Повышает голос.)* Так что на месте этого буйного господина я бы отнюдь не скандалил, а только радовался и благодарил!

Ноздрев Первый. Радовался? Чему это?

Профессор. Второй жизни, разумеется. Помните, как вы показывали Чичикову свои владения? Дескать, вот граница! Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое. И даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое!

Ноздрев Первый (с *вызовом).* Да! Так и есть! Точно, что мое и ничье более! А ежели эта тряпка, этот болтун, этот женин башмак, этот фетюк Мижуев сказывал вам, будто я лгу, так я его...

Профессор. Понятно, понятно, тем более что я не об этом. С лесом разбирайтесь сами, но уж тут-то вы действительно вправе заявить, будто все это ваше. Все это – вы, и в границах гоголевской поэмы и даже в границах сатиры Салтыкова-Щедрина!

Ноздрев Первый. В самом деле? Так, стало быть, мы тут

понапрасну задрались?

Профессор. Совершенно понапрасну!

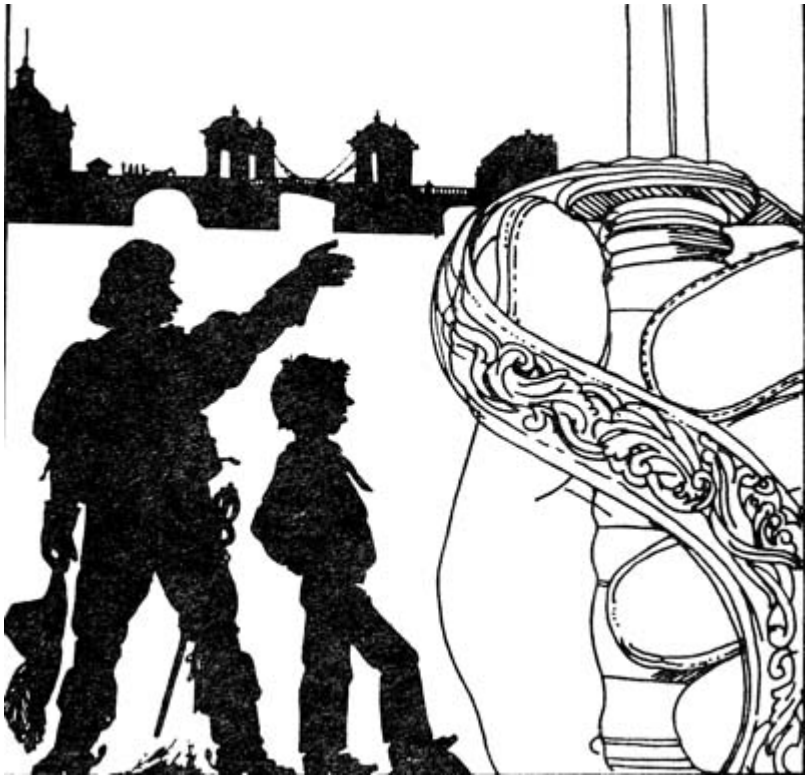
Ноздрев Первый. А? Ты слышишь, брат? Все – мое! Всюду – я! То-то! А ты, брат, рожу воротишь! Нехорошо! Давеча я в тебя плюнул, а уж теперь, как хочешь, позволь, душа, я влеплю тебе безе! Одну-то безешку ты мне позволь напечатлеть...

Снова шум, снова что-то похожее на назревающую драку, снова, как пишут комментаторы литературных текстов, «нрзбр». – неразборчиво.

Профессор. Видишь, дружок? Даже Ноздрева – и того мне удалось убедить, что Щедрин не зря сделал его персонажем своей сатиры. А если говорить совсем серьезно, то ведь в этом немалый смысл, вернее, развитие того смысла, который и заложил в своего героя Гоголь. Его Ноздрев, каким бы он ни был шумным буяном, тоже, как и Плюшкин, и Собакевич, и Коробочка, из числа *мертвых душ,* он – воплощение пустоты и бессмыслицы. И что же такого странного, если в другие, в щедринские времена эта пустая душа, не наполненная ничем таким, о чем тосковал и чего желал русскому человеку Гоголь, заполнится тем, чем и как захочет новое время? Заполнится без всякого сопротивления, послушно, «повадливо», как выражался Салтыков-Щедрин; потому и повадливо, что пустая... Нет, Гена, Щедрин не нарушил авторского права Гоголя. Он использовал свое право, а может быть, даже и свою обязанность. Обязанность литератора ощущать себя продолжением того, что сделано до него.

КОГДА БЕССИЛЬНА ШПАГА СИРАНО

Вновь квартира профессора Архипа Архиповича. Но ни его самого, ни, что, конечно, менее удивительно, Гены в помине нет. Зато мы слышим голос человека и стук колес экипажа, которых, то есть и экипаж и человека, не так-то легко вообразить на улице нашего современного города. Тем не менее...



Сэм Уэллер *(его голос звучит пока вдалеке, постепенно приближаясь)*. Тпрру! Стой, мои хорошие! Приехали, куда велено. Теперь вам и отдохнуть не грех... А ну, коренной, не балуй! Вот я тебя! Ладно, ладно, не обижайся, на сахарку – для тебя, озорника, припас!.. Эй! Господа хорошие! Мы с моими лошадками прибыли – и секунда в секунду, тютелька в тютельку! Кто из вас нынче с нами в дорогу? А? *(Никто ему не отвечает.)* Вот тебе раз! А я-то спешил, чтобы письма вовремя доставить... Мда! Точность – вежливость королей, как сказал король Людовик Пятнадцатый, подстрелив на охоте вместо оленя своего придворного...

Гена *(вбегает запыхавшись)*. Ой! Здрасте, мистер Уэллер! Чуть-чуть не опоздал!

Сэм. Не опоздали? Вы это так называете, молодой человек? А кто в прошлый раз... *(Наверное, хотел напомнить, как Гена тогда важничал перед ним и ругал за опоздание, но смягчился.)* Чего там, с кем не бывает! «Что за счеты между своими», – сказал старший брат, отбирая у младшего его порцию пудинга... А где же остальные? Они когда прийти соизволят?

Гена. Какие остальные?

Сэм. Те понимающие люди, которые способны и в письмах разобраться и решить, куда на сей раз Дилижансу ехать.

Гена. Понимающие?.. Ну, как вам сказать... В общем, сегодня это я!

Сэм *(присвистнув).* Вот оно что! *(Неопределенно.)* Ну, что ж, говорят, было однажды, что и йоркширский поросенок девонширского волка загрыз!

Гена. Что-что? Это вы о чем?

Сэм. Так, пустяки. Вспомнил одну английскую пословицу.

Гена. А, пословицу? Понятно! Это, наверное, то же самое, что по-русски: дай бог нашему теляти волка задрати... Здорово сказано, правда? *(Смеется, но внезапно понимает что-то и обижается.)* Постойте, постойте! Это вы что хотите сказать? Значит, по-вашему, я поросенок? Телятя? А-а, это вы мне все прошлый раз забыть не можете?

Сэм. Что вы, дорогой Гена, разве я позволил бы себе...

Гена. Нечего, нечего! Знаю, что вы подумали: что я один не справлюсь, да?.. Ну, может, и не справился бы, врать не буду, но только Архип Архипыч мне все заранее объяснил – про того человека, о котором мы у слушателей спрашивали. Часа три со мной провозился. Не бойся, говорит, Гена, это будет вроде как твоя стажировка!

Сэм. Ну, так бы и сказали! Итак, едем вдвоем? Эй, любе...

Гена. Почему вдвоем? Необязательно. Архип Архипыч мне так и сказал: действуй, говорит, Гена, глядя по обстановке! А чтобы вам с Сэмом Уэллером веселее было, подберите себе по дороге попутчика.

Сэм. «Что ж, два хорошо, а три еще лучше», – сказал ученик, получив единицу... Эй, любезные! Нно! В дорогу!

Едут.

Гена *(устраивается поудобнее).* Та-ак... Теперь посмотрим, какие у нас тут письма... «Здравствуйте, Архип Архипович и Гена! Отвечаю на ваш вопрос. Он нетрудный. Вы говорили о Вильгельме Кюхельбекере и о книге Юрия Николаевича Тынянова «Кюхля». Кюхля – это прозвище, которое Кюхельбекер получил от своих товарищей в Царскосельском лицее. Он был другом А.С. Пушкина. Сережа Одинец, десять лет, город Минск».

Сэм. Какой юный и уже какой осведомленный джентльмен!

Гена. Думаете, он один такой? Вот, пожалуйста, Денис Лопатин из Москвы – ему-то вообще девять. Он тоже правильно ответил. А Оля Боканча – она в Молдавии, в Каушанах, живет – добавляет, что у Кюхельбекера были еще разные клички и вообще над ним даже в лицее многие смеялись: над тем, что он глуховатый был, вспыльчивый, с манерами странными и, как

пишет Оля, «с изогнутой фигурой».

Сэм. Бедняга! Мало того, что над ним потешались еще в детстве, так, извольте видеть, и до сих пор ваши юные слушатели ему это поминают. *(Философически.)* Нет, неудачник, доложу я вам, он всегда и во всем неудачник. Никогда из них ничего путного не выходило.

Гена. Что вы! Наоборот! Например, Сева Бодров из Волгограда говорит, что ему и книга про Кюхлю очень нравится и он сам, недаром же... Вот, слушайте: «Недаром в повести Тынянова Александр Сергеевич Грибоедов, который тоже, как и Пушкин, дружил с Кюхлей, сравнивает его с Дон Кихотом...» А Миша Степанченко из Великих Лук пишет: «Кюхля, то есть Вильгельм Карлович Кюхельбекер, был известным поэтом, а кроме того, он участвовал в восстании декабристов на Сенатской площади, и за это его потом сослали в Сибирь...» Видите? А вы говорите!.. *(Продолжает чтение письма.)* «Но скажу честно, что когда я читал книгу Тынянова, то мне не все было понятно. Ведь Кюхля был такой нелепый чудак, неудачник, над ним и над его стихами многие смеялись, и вдруг он стал героем, революционером. Как же это могло быть?»

Сэм. «Что и требовалось доказать», – сказал воришка, когда его уличили в краже... Или вы еще полагаете, что и это письмо лестно для вашего Кюхли?

Гена. Да нет. Не очень... А знаете что, мистер Уэллер? Зато я теперь точно понял, куда и зачем нам ехать надо. Давайте как раз и выясним, как получилось, что такой... в общем, действительно странный человек и вдруг настоящим героем стал. Вот только хорошо бы кого-нибудь с собой взять... Кого же это? Идея! Что, если нам Дон Кихота пригласить? Вон и Грибоедов Кюхельбекера с ним сравнил!

Сэм *(скептически)*. Оно, конечно, отчего бы и нет? Но боюсь, что тогда мы ни до чего не доедем. Сами знаете, каков этот рыцарь. То ему с мельницей приспичит сразиться, а то...

Гена. Ясно. Тогда кого?.. Стоп! Вот это действительно мысль! Мистер Уэллер! Знаете, как в Королевство Плаща и Шпаги проехать?

Сэм. Обижаете! Небось не первый день на козлах... Но позвольте полюбопытствовать: почему именно туда? Там ведь одни драчуны!

Гена. Да вот тут мне одно письмо попалось... Потом объясню!

Сэм *(покладисто)*. Потом, так потом. Будь по-вашему... Эй, любезные!

Едут в молчаниц, пока вдруг, разом их не обступает шум

разноголосой толпы.

А ну, лошадки, поживей! Ножками, ножками! А ну!.. И народу же в этом самом королевстве! Эй, господа, дорогу, дорогу! Люди по делу едут, понимать надо! Чего под колеса лезешь? Тебе, тебе говорю, шляпа! Ну да, с пером, какая же еще? Дорогу!

Сирано де Бержерак.

Покуда не треснул наш мир пополам,
Не мы уступаем дорогу, а нам!..
Дорогу, дорогу гасконцам!
Мы юга родного сыны!
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!

Сэм. Эка невидаль, гасконцы! То-то и беда: столько вас развелось, что бедной лошадке ступить некуда!

Гена. Да погодите вы! Это же он! Тот, кто нам нужен! Вот здорово!.. Простите, пожалуйста, но мне так приятно, что я вас встретил!

Сирано.

И мне, коли уж вы готовы извиниться!
Вы, сударь, вежливы. Не то что ваш возница!
Представиться позвольте: Сирано
Де Бержерак...

Гена *(от радости нечаянно угодил и в размер стиха и в рифму).* Я знаю вас! Давно! Мы как раз вас-то и ищем. Понимаете, какое дело: нам тут надо кое-что выяснить насчет одного поэта...

Сирано.

Поэта? Он, выходит, мой собрат?
Ни слова больше: я помочь вам рад!

Гена. Нет, вы все-таки послушайте. Я вам письмо прочту от Гали Трусовой из Казани. Вот: «Кюхля очень много терпел от насмешек. Во-первых, многие его не признавали за поэта. Во-вторых, злились на то, что он горячий, несдержанный. В-третьих, смеялись над его внешностью, над длинным носом...»

Сирано.

Над *носом?*

(Горько смеется.)

Как вы в хитростях неловки!
Советую вам приобресть сноровки!
Что там за Кюхля? Для чего уловки?
Меня не проведете все равно.
Мой нос велик – сие неоспоримо,
Но Бержерак живет без псевдонима,
Без маски, без убежища, без грима…
Ведь это – про меня? Про Сирано?

Гена. Так я и знал, что вы про себя подумаете! Только, честное слово, письмо не про вас. Оно про другого поэта, и мы хотим, чтобы вы…

Сирано (с *готовностью).*

Чтоб я помог? Извольте, господа!
Я в путь готов…

(Деловито.)

Когда же? И куда?

Гена. Да в книгу, где про этого поэта, про Кюхельбекера, говорится! В общем, если вы не против, садитесь в наш Дилижанс… вот тут вам поудобней будет… и… Мистер Уэллер, вперед!

Сэм. Нно, мои резвые! Красавцы!..

Лошади вовсю стараются оправдать похвалу своего кучера, и вот мы уже у цели. Даже слышим голоса двух подружек… Впрочем, нет, одной. Эта одна, Софочка Греч, персонаж повести Тынянова «Кюхля», так разговорчива, что словечка не дает вставить своей подруге, как та ни старается ее перебить.

Софочка. Ах, ма шер! Что у нас вчера было! Опять урод приходил… Ах, что же тут непонятного? Ну, Кюхельбекер этот противный, я его всегда так называю. Вообрази, стихи свои читал! Папенька нам страшные глаза делает, а он ничего не видит,

читает. Папенька совсем мало его слушал, а когда тот кончил, сказал: «Ах, это бесподобно у вас вышло!» Тот обрадовался, а папенька даже и не слушал!.. Нет, нет, молчи, я еще не все рассказала! За обедом урод задумался, я ему и говорю: «Мсье Кюхельбекер, отчего вы сегодня рассеянны?» А он, вообрази... ха-ха-ха... ох, не могу, ма шер... А он: «Мерси, говорит, мадам, я совершенно сыт!» Я со смеху умерла!..

Сирано *(мрачно)*.

Урод... Увы, и я с таким клеймом знаком...
А кто это здесь мелет языком?

Гена. Да так, ничего особенного. Дочка одного издателя...

Софочка. С этим уродом, ма шер, у нас в доме скандал за скандалом! Тант Элиз, та прямо заявила папеньке, что жить больше в доме не будет, если так будет продолжаться. Все из-за урода. Скандалит с Фаддеем Венедиктовичем... ну да, ну да, с Булгариным, я знаю, что ты его знаешь. Ты мне рта раскрыть не даешь, ма шер! Фаддею над ним подшутить вздумалось. А тот преобидчивый! Фаддей говорит: «Вы, Вильгельм Карлович, уже десять лет как не изменяетесь, ругали меня в прошлом году, а нынче опять ругаете. Юношеский пыл у вас играет». Ну и похлопал его по коленке. Урод вылупил на него глаза... вот этак... или нет, вот так... и отвечает: «И изменяться и изменять не мое ремесло»... Ну да, ну да, я знаю, что ты хочешь сказать, не перебивай меня! Ну да, про Фаддея все это потихоньку говорят, да что ж из того?.. Словом, Фаддей даже чубук уронил и хрипит ему: «На что вы намекаете?» А тот покраснел и говорит: «Не намекаю, а прямо говорю, что измена мнениям и людям – ремесло дурное». Фаддей даже заплакал, слезы у него показались, и говорит: «Неужели вы, Вильгельм Карлович, меня изменником считаете?» А тот... Да погоди же, ма шер, куда ты? Я и словечка сказать не успела! Ма шер, ма шер!..

Голос ее стремительно удаляется: подруга, вероятно, такая же говорунья, не выдержала собственного вынужденного молчания и сбежала.

Сирано.

Ого, да он к тому ж еще бретер!
Язык его, как лезвие, остер.
Как славно он разделался со вздором!
Нет, право, хват, кто что ни говори...

Совсем, как я, вы помните, с актером,
С пузатым и бездарным Монфлери...

Гена. Конечно, помню! Вы тогда этого самого Монфлери здорово отщелкали – он аж со сцены убежал от страха... Только, если правду говорить, Булгарин куда похуже вашего Монфлери будет. Вы про него еще не все знаете...

Сирано.

Не знал, скорее, но постиг мгновенно,
Едва лишь было сказано: «Измена...»

Гена. А, поняли? Ну да! Этот Булгарин, он такой негодяй! На Пушкина доносы писал, представляете? Его все хорошие люди презирали, только многие все-таки боялись, а Кюхельбекер – видали как? И вообще...

Но договорить ему не удается. Раздается быстрый звук приближающихся шагов – кажется, по нему одному можно понять, что этот человек чем-то насмерть перепуган, – и слышится дрожащий голос.

Голос. Господа! Господа! Молю вас о защите! Об убежище! Вы позволите спрятаться в вашей карете?

Сэм. Это вам, сударь, не карета! Карет – сотни тысяч, а наш Почтовый Дилижанс один!.. Да вы-то сами кто будете? И от кого же прятаться надумали?

Голос. Ах, прошу прощения! Я – Похвиснев! Чиновник для особых поручений! А скрыться мне непременно надобно от одного сумасшедшего. От Кюхельбекера. Не слыхали? И слава богу! Вообразите, сей безумец с чего-то взял, будто я распустил об нем в обществе ложный, позорящий его слух...

Сирано.

И это мне известно с давних лет!
Кто, как не я, был жертвою клевет?

Похвиснев. Одним словом, этот опасный дикарь дал мне пощечину, к счастию, наедине. Я, как благоразумный человек, смолчал, решил оставить без последствия, а он... он... *(Всхлипывает.)* Он, вообразите, меня еще и публично побил! Каков? Я и тут прибег было к начальству: дескать, поскольку

господин Кюхельбекер подвержен нервным припадкам, то не лучше ли это дело представить на рассмотрение гражданского суда? Увы! Пришлось согласиться на дуэль...

Гена. А, так вы от дуэли прячетесь? Хорош!

Похвиснев. Нет! Нет! Дуэль состоялась! Я, по несчастию, промахнулся, а он, по счастию, выстрелил в воздух!

Сирано.

Нет, ваш чудак все больше мне по нраву:
Он смел, он правду прямо говорит,
Он к подлости презрением горит,
Но он к тому ж великодушен... Браво!

Сэм. Только я не возьму в толк: чего же вы дрожите, ежели он вас пожалел?

Похвиснев. Я... Видите ли, господа... Я снова имел неосторожность сказать в обществе...

Сэм. Понятно! Ну, нет, сударь, таким мы не защита! А ну, убирайтесь, пока целы, не то я вам сам бока намну! «Одна нога здесь, другая там», – сказала лисица, угодив в капкан!

Похвиснев. Какое жестокосердие! Все против меня! *(Исчезает.)*

Сирано.

Подлец и трус!.. Но ваш поэт каков!
Жаль, не дано мне знать его стихов.

Гена. Ну, это-то как раз дело поправимое. Я сам, правда, наизусть не помню, но Архип Архипыч меня их переписать заставил. Пригодятся, говорит... Вот, например, слушайте:

«Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала...»

Или нет, лучше я вам другие прочту. Те, которые он сочинил, когда про смерть Пушкина узнал...

«Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил...».

Здорово, правда?

«А я один средь чуждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт…
И вот опять Лицея день священный,
Но уж и Пушкина меж вами нет…».

Сирано *(растроганно)*.

Мой бог! Какое сердце! Что за ум!
Как живо в нем святое чувство – дружба!..
Нет, нет, здесь объяснять совсем не нужно,
Куда его зовет полет свободных дум!
Безумец? Да! Как славный Дон Кихот,
Как я, простите мне мою нескромность…
И где ж постичь души его огромность
Тому, кто мелко мыслит и живет,
Кто в пошлости влачит свой жалкий век,
Кто сумасшедшим вслух зовет героя?..
Уверен я: поэт и человек,
Он должен был за правду стать горою,
И, видя, что вокруг царит порок,
Он в ножнах шпаги удержать не мог!

Гена. Точно! Так все и было! Кюхельбекер, он еще когда в школе учился, ну, в лицее то есть, все время о свободе мечтал. А когда декабристы на царя восстали – вот именно, как вы сказали, за правду, – то и он среди них был. Даже на самой Сенатской площади, куда они своих солдат вывели и где царь их расстрелял…

Сирано.

Их? Расстрелял? За правду?.. Черт возьми!
Хотел бы я быть с этими людьми!

Гена. Да, это здорово было бы! Только… *(Вздохнул.)* Нельзя!

Сирано.

Вот как? Вы обижаете меня!
Зачем же я тогда рожден солдатом?
С кем быть в беде мне, если не с собратом,
А он мне больше, чем собрат, – родня!
Роднее вы не сыщете вовек
На всей земле, как ни вращайте глобус...
Да, кстати. А каков был человек,
С которого и вылеплен сей образ?

Гена. То есть каким Кюхельбекер на самом деле был? Да вот таким и был, как в книге описан!

Сирано *(дружелюбно и чуть снисходительно рассмеявшись; так смеется человек, хорошо относящийся к собеседнику, но несколько сожалеющий о его, собеседника, наивности и неосведомленности).*

Простите... Здесь пристала бы серьезность,
Но, право, вы ударились в курьезность!
Читателям всех просвещенных стран
Известно: мой творец – Эдмон Ростан.
Но уж не знаю, кстати ли, не кстати ль
Напомнить вам, что я и сам писатель.
Я и творец, и я же персонаж:
Два облика в одном – слуга покорный ваш.
И двусторонне ведомо мне, как
И из какого все печется теста...
Поймите, друг мой: тот де Бержерак,
Что жил на самом деле, как известно,
Был... как сказать... похож и не похож
На то, что зрите вы перед собою.
Он был нельзя сказать, чтобы пригож,
Но уж не так носат.
Притом, не скрою,
Он не чурался дружества вельмож
И ими был, увы, пригрет порою...
Короче: он – одно. Другое – я.
И в этом участь славная моя!

Гена. Ну, что вас Ростан выдумал, это я как раз знаю... То есть не совсем выдумал, но все-таки много такого добавил, чего у настоящего Сирано де Бержерака не было. Честно говоря, сперва я

думал, что и с Кюхельбекером у Тынянова так же было. Но, оказывается, нет, ничего подобного! Архии Архипыч мне точно сказал: у настоящего, говорит, исторического писателя совсем другая задача. Для него главное – не просто из головы придумать, а все изобразить точно, как было. Какими все эти люди в действительности были. По документам, по воспоминаниям.

Сирано *(скучающе повторяет).*

Как было... И какие люди были...

(Пылко.)

О нет! Фантазия прекрасней были!

Гена. Вот и я сперва примерно то же сказал. А Архип Архипыч: эх, говорит, Геночка, легкомысленное ты существо! Если бы люди не интересовались тем, каким их прошлое было *на самом деле,* это значило бы, что они... ну, заболели, что ли. Как бы память потеряли. Конечно, говорит, восстанавливать все это очень-очень трудно, до конца даже и невозможно, но стремиться к этому совершенно необходимо. Понимаете? Я ведь потому-то вам и сказал, что нам с вами никак нельзя на Сенатской площади очутиться...

Сирано *(с острой завистью и глубокой грустью).*

Подумать только! В этакую драку
Ввязаться не дают де Бержераку!
Ужель тот случай встретить мне дано,
Когда бессильна шпага Сирано?

Гена *(утешая его)*. Вы не расстраивайтесь! Мало ли что бывает? И потом – знаете? Может, это даже и лучше. Ну, конечно, не для вас лично, а вообще для литературы. Для ее законов, как Архип Архипыч сказал. Вообще-то у нас в Стране Литературных Героев много чего невозможного происходит, но ведь восстание декабристов, оно не в книжке придумано, оно *было*...

Сэм. «Люблю красноречие», – сказал мошенник, украв кошелек во время проповеди!

Гена *(подозрительно)*. Это вы о чем?

Сэм. Успокойтесь, дорогой Гена, только о том, что вы сегодня справились со своим делом. Напрасно, выходит, я в вас сомневался. «Что поделаешь, промахнулся», – сказал охотник,

покупая в мясной лавке зайца!

И с этой, последней, шуткой Сэма Уэллера Почтовый Дилижанс уезжает, чтобы больше уже не появиться в этой книге, но зато оставляет нам для раздумья фразу, сказанную Сирано де Бержераком: «Фантазия прекрасней были!» Оставляет, чтобы мы над ней поразмыслили в третьей части.

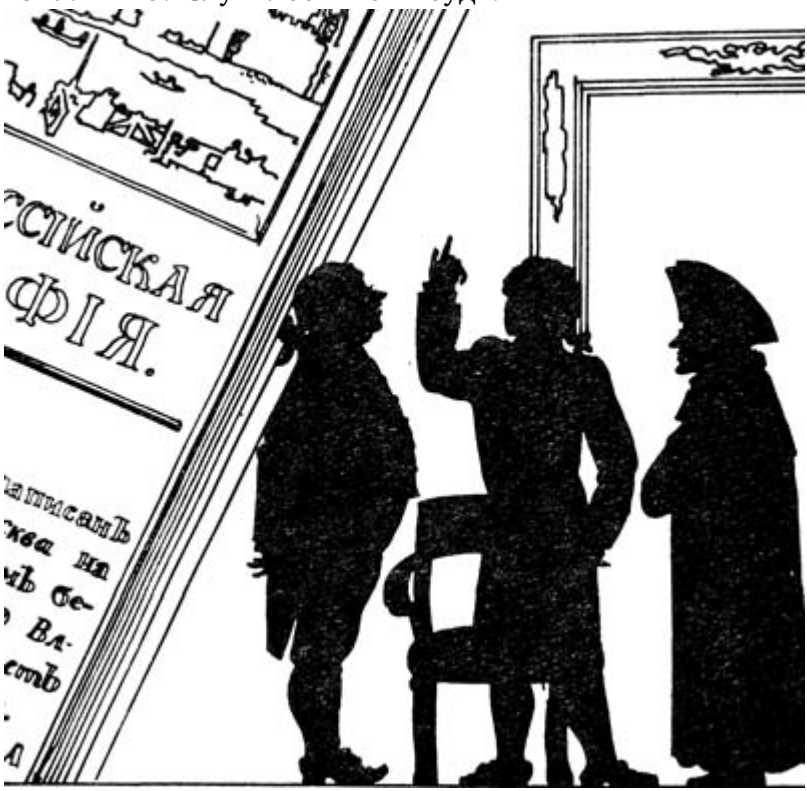
Часть третья. ТАМ ЧУДЕСА…

АДАМ АДАМОВИЧ ВРАЛЬМАН НЕДОВОЛЕН ДЕНИСОМ ИВАНОВИЧЕМ ФОНВИЗИНЫМ

Гена. Архип Архипыч! Это я! Добрый день!

Профессор *(сразу понятно, что он чем-то очень расстроен).* А, Гена?.. Входи. Хотя я вовсе не уверен, что сегодняшний день такой уж добрый.

Гена. А что? Случилось что-нибудь?



Профессор. То-то и беда... Кажется, моя замечательная машина нас подвела! Понимаешь, собрался я ее как следует отрегулировать, чтобы в нынешнем путешествии ничего непредвиденного не произошло, и вдруг... Да ты сам послушай!

Архип Архипович включает машину, и мы вместе с Геной в самом деле слышим какие-то явно неблагополучные хрипы, шумы, постукивания.

Гена. Да-а, неполадки... Сейчас поглядим! *(Очень деловито.)* Дайте-ка я к пульту стану.

Профессор *(с надеждой).* Думаешь, разберешься?

Гена *(самонадеянно).* А что особенного? Уж в чем, в чем, а в технике-то я... Та-ак! Включаю!

Те же беспокойные шумы.

Профессор *(вздыхает)*. Вот опять! Все время заедает. И все время на одном и том же месте!

Гена. Вот на этом?

Профессор. На этом самом... Видишь, по табло световые надписи скачут: «Россия... Восемнадцатый век... Литературное направление: классицизм...»

Гена. Классицизм? *(Авторитетно.)* Да, тогда плохо ваше дело.

Профессор. Ты думаешь?

Гена *(уверенно пуская в ход свои школьные познания)*. А тут и думать нечего! Если бы машину в другом месте заело – на какой-нибудь бурной эпохе, на романтизме, что ли, где всякие там страсти, терзания, метания и все такое, – тогда еще можно было бы подумать, что не в самой машине дело. Ну, скажем, в том, как вы ее настроили. А классицизм, это же гладкое место! Там все герои по струночке ходят... Нет, Архип Архипыч, ничего не выйдет. Отменяйте путешествие.

Профессор. А может, все-таки попробовать?

Гена *(довольно сухо, потому что Архип Архипович как бы поставил под сомнение его техническую подкованность)*. Пожалуйста. Как хотите. Машина ваша – вы и рискуйте.

Профессор *(размышляя вслух)*. Да, риск, конечно, есть. Но, с другой стороны, ведь уже столько ребят собралось с нами путешествовать. А вдруг обойдется?.. Была не была! Рискну!

Решившись, разом включает машину, и все те же самые малоприятные шумы и потрескивания становятся громче, громче, еще громче, пока мы не различаем: да это же не просто ворчание неисправного механизма, а человеческие голоса. В самом деле ворчащие, даже бранчливые, вздорные, злые, перебивающие один другой.

Первый голос. Ишь, какой командер нашелся! Разбойник!

Второй. Исчадье бесовское! Ирод пребеззаконный!

Третий. Слотей! Нефеша!

Первый. Я те задам таску-то по-солдатски!

Второй. Зубы грешника сокрушу!

Третий. Хосутарыне пошалуюсь!

Первый. Ишь, что надумал! Над служивым чудить! Который за престол-отечество жизни не жалел!

Второй. Духовное сословие поносить? До митрополита дойду!

Третий. Посор! Шкандаль! Истефательстфо нат шестный ушитель!

Как ни странно, но встреча с этой разъяренной компанией принесла Архипу Архиповичу облегчение.

Профессор. Ах, вот в чем дело? Слава богу! Значит, моя машина совершенно ни при чем: такую встряску не выдержать и самому исправному механизму.

Гена. Почему это, Архип Архипыч, вы решили, что ни при чем?

Профессор. А ты не понял? Может, вообще не сообразил, куда нас с тобой занесло? Протри глаза, Гена! Это же Фонвизин! «Недоросль»! *(Лукаво.)* Между прочим, та комедия, которая и побудила нас когда-то отправиться в самое первое путешествие по Стране Литературных Героев. Или ты забыл, как двойку за Фонвизина получил?

Да, все это было: и двойка и первое путешествие, чему, между прочим, есть доказательство, самое что ни на есть документальное. А именно – книга Ст. Рассадина и Б. Сарнова «В Стране Литературных Героев» («Искусство», 1979).

Гена. Ничего я не забыл. И прекрасно понял, куда мы попали. Это же Митрофанушкины учителя – вон Цыфиркин, вон Кутейкин, а этот, самый смешной, – Вральман.

Профессор. Верно. Но тогда скажи: разве тебя ничто не удивило в их поведении? Не показалось, что они как-то не так себя ведут?

Гена *(снисходительно)*. Эх, Архип Архипыч! Я-то свою двойку еще когда исправил, а вы, я вижу, «Недоросля» давно не перечитывали. Ведут они себя, как и раньше вели. Всегда такими скандальными были. Ведь Цыфиркин же с Кутейкиным этого Вральмана на дух не переносят. Один раз даже отлупить хотели. Вот и сейчас опять грызутся.

Профессор. Опять, говоришь? А по-моему, на этот раз они даже про вражду свою забыли. Сейчас-то они на кого-то совсем другого обозлены, и весьма единодушно. Ты, Гена, вслушайся!

Совету его Гене последовать не трудно: гнев учителей вскипает с новой силой.

Цыфиркин. Солдатскую лямку терпел, командиров слушался, а от сочинителя поношения терпеть не стану, хоть ты меня зарежь!

Кутейкин. Воистину так! И я не стерплю! За что сотворил он

из меня притчу во языцех?

Вральман. Та! Та! Са што? Таку слафну немеску фамилью носит, Фон-Висин просыфается, а маю петну калоушку апасорил!

Гена *(не веря своим ушам)*. Архип Архипыч! Мне что, послышалось, что ли? Это они на самого автора нападают?! На Фонвизина?!

Профессор. Ну да! А ты говоришь: ведут себя, как обычно... Нет, брат! Я еще удивляюсь, что моя машина от такой передряги вообще не взорвалась.

Гена. Да чего им от него надо-то?

Профессор. Я думаю, они тебе сейчас все сами изложат. Кутейкин, вижу, даже какую-то бумагу приготовил. Не жалобу ли?

Кутейкин *(сладким голосом)*. Изволили угадать, ваше высокородие! На господина Фонвизина челом бьем.

Гена. И в чем же вы его обвиняете?

Кутейкин. В поношении человеков.

Гена. Каких человеков?

Кутейкин. Нас, многогрешных. Да хоть бы меня взять: одна кручина у меня. Четвертый год мучу свой живот в сем дому господ Простаковых: ни доброго слова, ни полушки денег...

Цыфиркин *(подсказывает басом)*. Ни провианту...

Кутейкин. Истинно молвил, Пафнутьич Цыфиркин, ни трапезы. Ученичок таков, что по сей час, кроме задов, новой строки не разберет, – так мало того господину Фонвизину, что на муку нас мученическую обрек. Он еще и обсмеять норовит. Я, ваше высокородие, из ученых, семинарии здешней епархии, а он ни чина, ни звания не пощадил: и неучем-то я у него выхожу, и дураком, и сквалыгою, прости, господи, меня грешного. Хоть бы одно доброе словечко сказал!

Гена. Стойте, стойте! Так за что же про вас добрые словечки говорить? Вы же такой и есть: и неуч и сквалыга. Скажете, нет?

Кутейкин *(елейно)*. О, господи вседержитель, али и это поношение стерпеть велишь?.. Да кто же меня, ваше высокородие, и сделал-то таковым, как не сам господин Фонвизин? Все мы у него, у сочинителя нашего, в руках, аки в руце божией. Каким пожелает, таким и сотворит. Овладела его душа злобою окаянскою, и создал он нас себе и миру на посмеяние. Так как же нам не возроптать на него?

Гена. Ну, что вы ропщете – это понятно: вас-то Фонвизин вон каким изобразил!.. Но что вот он... простите, я вашего имени не знаю, оно ведь в комедии не указано...

Цыфиркин *(браво)*. Извольте, ваше благородие, просто Пафнутьичем именовать. Мы привыкшие!

Гена. Уж вы-то, Пафнутьич, не можете говорить, будто Фонвизин про вас ничего хорошего не сказал. Так зачем же вы против него с ними спелись?

Цыфиркин. Поём давно, ваше благородие, вот и спелись. Почитай, двести лет с лишком в одной команде маршируем. А у нас, у солдат, завсегда правило было: сам погибай, а товарища выручай!

Гена. Да разве они вам товарищи?

Цыфиркин. Ежели по несчастью смотреть, то так оно и выходит, ваше благородие. Одно у нас горе. И виновник один. Ведь и меня господин Фонвизин заставил этого дуролома арихметике обучать, не схотел сыскать ученика потолковее. А окромя того... Кхм... *(Запинается в смущении.)*

Гена. Что – кроме того? Чего ж вы замолчали?

Цыфиркин. Да уж скажу. Турку не боялся, и тут не струшу. Может, ваше благородие, обуял меня грех гордыни, но сам суди. Конечное дело, Сидорычу Кутейкину от нашего сочинителя-командера крепче выпало, однако ж скажи как на духу: от такого-то, каким меня в комедию вставили, много ли проку как от учителя? Ну, будь даже Митрофан попонятливее, что он от меня переймет? Ась?

Гена. Вообще-то да...

Цыфиркин. То-то и оно. Ну, что бы господину-то Фонвизину старого солдата уважить? Поученее меня вывести – али рука бы не повернулась? А мне бы оно и лестно... *(Тяжело вздыхает.)* Нет, ваше благородие, вот и выходит, что прав Сидорыч: поношение человеков!

Вральман. Oh, ja, ja. Та! Сафершенно так! Сакласен! Фа фсем сакласен!

Гена. Ну вот, и этот прорезался... А уж вам-то на что жаловаться? Вы-то как сыр в масле катались. Это ж надо: кучер учителем устроился! Обманщик!

Вральман *(рассудительно)*. Пакати, тфае плакаротие, сачем так кафаришь? Фа-перфых, што пыло телать? Три месеса ф Маскфе шатался пез мест, кутшер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, липо ушитель...

Гена. Знаем, читали! А во-вторых – что?

Вральман. Карашо, тфае плакаротие! Ситарыч Кутейкин ферно кафарил: герр Фон-Висин тля нас, как пох, как дер готт. Састатель! Тфарец! А как он меня сатфарил? Как насфал? Фральман! Фуй! Што ест Фральман? Фрушка, фрун! То не ест шестна фамилья, а пасорна клишка. Дас ист шендлихь шпитц-наме!

Гена. Что, что? Вы понятней говорите! А то у меня и от

акцента от вашего голова разболелась!

Вральман *(кротко).* Фот фитишь, тфае плакаротие, у тепя са тфе минуты калоушка распалелась, а я уше тфе сотни лет так кафарю. Карашо это?

Гена почему-то не отвечает.

Карашо, скаши?
Но ответа опять нет.

Тфае плакаротие! Никак ты пачифать исфолишь?.. Сафсем мой ушеник Митрофанушка са уроком!

Профессор. В самом деле, Гена, что с тобой? Что ты замолчал?

Гена *(словно возвращаясь откуда-то – так глубоко он задумался).* А знаете, Архип Архипыч, в этом что-то есть! В чем-то они все правы!

Кутейкин. Слава тебе, господи вседержитель! Нашелся заступник! Слышь, Пафнутьич, не одни мы теперь на сем свете!

Цыфиркин. Осмелюсь поблагодарить ваше благородие! *(Прослезясь.)* Я государыне служил двадцать с лишком лет, а такой ласки не видывал!

Вральман. Плакатетель! Патюшка! Та я пы са тфаи топрые слафа фею шиснь тепе кутшером слушил!

От радости они поднимают такой галдеж, в котором уже не разберешь ни одного слова и в который ни слова не вставишь. Поэтому Архип Архипович сперва пытается их урезонить, а потом, махнув рукой на эту затею, просто выключает свою машину и восстанавливает тишину.

Профессор. Да. Гена, признаюсь: удивил ты меня! Вральмана пожалел! За Кутейкина заступился! Хорош!

Гена. Вовсе я не пожалел! При чем тут жалость?

Профессор. Ах это, значит, не ты сказал, что Вральман в чем-то прав?

Гена. Я. И не собираюсь отказываться. Конечно, прав.

Профессор. Да в чем же?

Гена. Уж, конечно, не в том, что на Фонвизина обиделся. Комедия – она комедия и есть, в ней и должны быть смешные герои. Только... ведь и в комедии, наверное, надо меру знать.

Профессор. А Фонвизин, по-твоему, не знает?

Гена. Не то что не знает, а... По-моему, он в поддавки играет. Смотрите: Митрофан у него кто? Дурак? Дурак. А учителя? Тоже

болван на болване. Даже Цыфиркин – он, конечно, симпатичный, но тоже ведь... Да он и сам все про себя сказал. А уж Вральман! И кучером был, и говорит так, что непонятно, как только язык не сломал, и фамилия действительно дурацкая... Но вот если бы тот же Вральман немножко другим был? Поумнее. Поученее. Как бы у него тогда с Простаковыми обернулось?

Профессор. А по-твоему – как?

Гена. Откуда я знаю? Я ж не писатель. И даже не профессор, как вы. Но уж по крайней-то мере посложней, чем в «Недоросле». А Фонвизин – он все-таки в самом деле...

Профессор. Понятно: в поддавки играет. Что ж, давай сыграем в шахматы. Я хочу сказать: возьмем и преобразим Вральмана. Перекроим его до основания. Ведь нам ни к чему, чтобы он был кучером?

Гена. Конечно, не обязательно!

Профессор. Чудесно. Полагаю, что и акцент не нужен?.. Совсем хорошо! Ну а поскольку без акцента какой же он Вральман, то и фамилию дадим другую, верно? Назовем его, скажем... Нельстецов!

Гена. Как, как?

Профессор *(раздельно)*. Не-льсте-цов!

Гена. Да... Могли бы, конечно, и получше придумать!

Профессор. Что делать? Уж какая есть... А теперь нам остается только направить этого самого Нельстецова в гостиную госпожи Простаковой. Внимание!

Сделал, как обещал. Послушаем, что из этого выйдет.

Простакова. Прошу садиться, государь мой. А как по фамилии, я не дослышала?

Нельстецов *(с большим достоинством)*. Я называюсь Нельстецов, чтоб вы дослышали.

Простакова. Очень приятно... Вот в чем нужда-то, батюшка. За молитвы родителей наших – нам, грешным, где б и умолить – даровал нам господь Митрофанушку. Так не угодно ль тебе взять на себя труд да и выучить его хорошенько?

Нельстецов *(говорит очень церемонно)*. Сие мой священный долг воспитателя, сударыня!

Простакова. А скажи, батюшка, чему ж ты его учить будешь?

Нельстецов. Я бы думал образовать душу его, как надлежит дворянину.

Простакова. Вот это хорошо, батюшка! А с чего ж ты начать думаешь?

Нельстецов. С латинского языка!

Простакова. С лати... *(Поперхнулась.)* Да на что ж? Нешто Митрофанушке попом быть? Да еще и заморским?

Нельстецов. А разве латинский язык для попов только годен?

Простакова. Да для кого ж еще? Воля твоя, батюшка, только этот язык совсем не дворянский!

Нельстецов. А что есть титло дворянина, сударыня, сего покровителя душ, коему необходимо расчислить число жертвуемых соразмерно числу тех, для благополучия коих жертвуется?

Простакова *(понимая его с превеликим трудом и по-своему).* Расчислить? Так ты, стало, сынка моего и арихметике учить станешь?

Нельстецов. Нет, сударыня, сие политическое расчисление требует ума гораздо превосходнейшего, нежели надобно для вычисления математического. Можно полагать сто Эйлеров на одного Кольберта и тысячу Кольбертов на одного Монтескье...

Если не все, что упоенно произносит Нельстецов, вам понятно, не огорчайтесь – слушавшим эту радиопьесу было еще хуже. Потому что, чем дальше забредает этот переродившийся Вральман в свои ученые дебри, тем меньше слов можно разобрать: машина вновь начинает предательски постукивать и покрякивать, шумы становятся все постояннее.

Гена. Архип Архипыч! Слышите? Опять забарахлила!

Профессор. Еще бы! И ты не догадываешься, почему?

Нельстецов *(продолжает на этом тревожном фоне).* ...Для того, что в математике от одной известности идут к другой, так сказать, машинально, и математик имеет пред собою все откровения предшественников своих, но политика прежние откровения не поведут верною дорогою. Математик исчисляет числа, политик страстен, словом, ум политический есть и должен быть...

Простакова *(в голос).* Ой! Замучил! Убил! Ко мне! Девка! Палашка!..

А мы слышим взрыв.

Профессор. Ах ты, беда какая!

Гена. А что? Сломалась все-таки?

Профессор. Ну, конечно! И как я не рассчитал? Разве она могла выдержать такую несовместимость характеров?

Гена. Ничего, к следующему разу починим... А вообще-то сами виноваты. Зачем вы этого Нельстецова таким жутким

занудой сделали? Надо было Вральмана только немножко приукрасить.

Профессор. А ты думаешь, это сделал я? Если бы! Нет, дружок, это Денис Иванович Фонвизин!

Гена. Не может быть!

Профессор. Может, Гена. И было. Этот самый Нельстецов – кстати сказать, и фамилию ему дал не я, а Денис Иванович, – он идеальный герой комедии «Выбор гувернера». В ней Фонвизин вводит его в дом не госпожи Простаковой, конечно, но ее несомненных двойников – князей Слабоумовых... Выразительная фамилия, верно?

Гена. И что, в этой комедии все так вот и было?

Профессор. В некотором роде. Сейчас, как видишь, затрещала моя долготерпеливая машина, а тогда не выдержала сама комедия. Фонвизин даже ее не закончил. Правда, в то время он был уже тяжело болен, но главное другое: руку автора «Недоросля», его талант тут и узнать нельзя. Да, впрочем, что я тебе рассказываю? Ты же сам этого Нельстецова видел.

Гена. Не только видел, но и слышал!.. Архип Архипыч, а почему вы его идеальным героем назвали? Разве Фонвизин над ним не смеется? Ведь он же...

Профессор. Ну, ну, смелее! Ты хочешь сказать: неумен?.. Нет, дорогой! Фонвизин, наоборот, хотел возвысить своего Нельстецова. Но сам этот образ оказался художественной неправдой. В реальности ничего подобного не было, Нельстецов – всего только сухая выдумка; вот отчего он и показался тебе, мягко говоря, нелепым. И разве его поведение в самом деле не нелепо? Он мечет бисер перед свиньями, он не на месте в мире Простаковых и Слабоумовых. Скажешь ли ты это про Кутейкина или про Вральмана?

Гена. Ну, конечно, если их с Нельстецовым сравнивать... Но вообще-то я от своих слов не отказываюсь. Все-таки Фонвизин в «Недоросле» переборщил немножко. Таких, как Вральман, тоже ведь на самом деле быть не могло. Он и в литературе-то, наверное, один такой.

Профессор. Один? А вспомни-ка француза-учителя Бопре из пушкинской «Капитанской дочки»! Он также был если и не кучером, то парикмахером. И солдатом.

Гена. Значит, не один, а два. Тоже немного. А потом – и Бопре ведь выдуман! Его же не было!

Профессор. Ты так думаешь? А вот Александр Николаевич Радищев был другого мнения. В своем знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву» он рассказывает, как встретил одного француза-парикмахера, который как раз нанялся в России в

учителя. И жил-поживал не хуже Бопре и Вральмана...

Гена *(не слишком уверенно).* Может, это все-таки исключение?

Профессор. Многовато таких исключений, Геночка! Ведь и сам Радищев мальчиком учился у француза-гувернера, оказавшегося впоследствии беглым солдатом. Чем не тот же Бопре? А Гаврила Романович Державин был отдан в обучение полуграмотному немцу. Да и еще один замечательный писатель восемнадцатого века, Андрей Болотов, проходил науки у немецкого унтер-офицера, если, конечно, можно так громко выразиться: «проходил науки», потому что этот, с позволения сказать, наставник и мараковал-то в одной только арифметике... Нет, милый мой, такие учителя в тогдашней России были явлением самым обыкновенным, и Адам Адамович Вральман отнюдь не выдумка.

Гена *(он еще продолжает упорствовать).* Ну, Вральман, может, и не выдуман. А Кутейкин, Цыфиркин?

Профессор. Боже мой, да этого отечественного добра было еще больше – и не могло быть иначе на заре просвещения. Сам Николай Иванович Новиков, будущий великий просветитель, учился у дьячка, а среди учителей Державина был не только немец, который сам ничего не знал, но еще и все тот же дьячок и русский отставной солдат... Видишь, вся троица из комедии «Недоросль» перебывала в педагогах у Гаврилы Романовича! Надеюсь, в его-то реальности ты не сомневаешься?

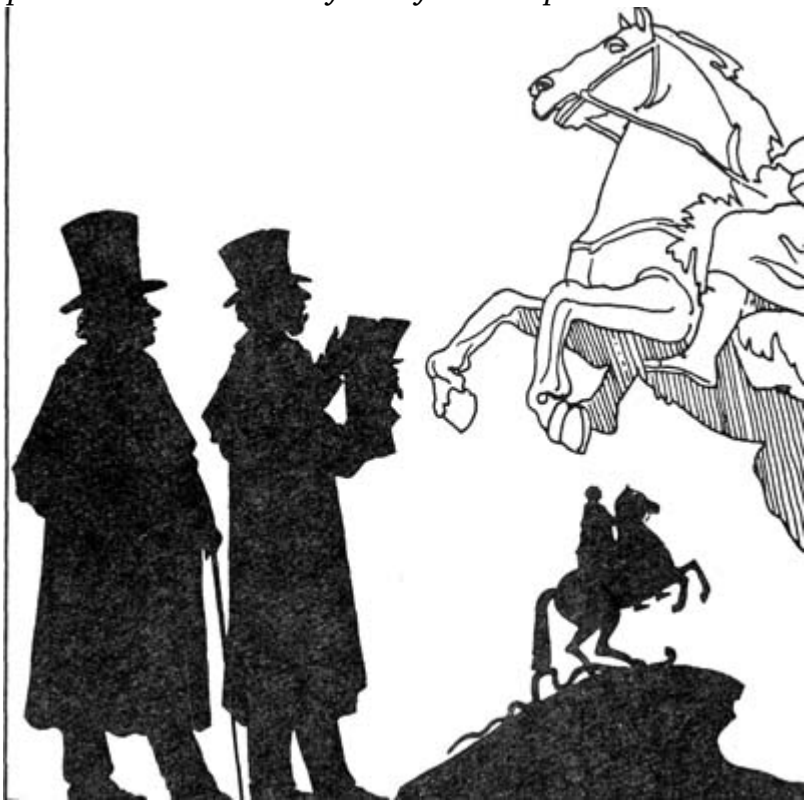
Гена *(уже не столько спрашивает, сколько утверждает).* Выходит, зря Вральман на Фонвизина обижался?

Профессор. Разумеется! Он и его комические собратья куда ближе к исторической реальности, чем тебе показалось. Недаром историк Василий Осипович Ключевский назвал фонвизинский «Недоросль» «бесподобным зеркалом эпохи». Прямым, честным, ничего не исказившим!..

МЕДНЫЙ ВСАДНИК ДАЛЕКО ОБГОНЯЕТ ВСАДНИКА БЕЗ ГОЛОВЫ

Итак, Гена, кажется, убедился: то, что порою выглядит преувеличением и даже, как он решительно выразился, утратившим всякую меру, на самом деле может быть... Да просто: может быть на самом деле. А вот как с фантастикой? С тем, чего в действительности уж точно не бывало, нет и никогда не будет? Мне почему-то кажется, что он и на это получит ответ, – возможно, даже очень скоро, потому что сам вновь подал подходящий повод. Явился к Архипу Архиповичу с просьбой, такой понятной для его возраста: совершить путешествие в книгу,

которая была бы... Однако пусть лучше говорит сам.



Гена. ...Ну, пофантастичнее, что ли! Чтоб дух захватывало!

Профессор. Может быть, что-то сугубо приключенческое? Вроде «Всадника без головы»?

Гена *(с воодушевлением).* А что? Неплохо!

Профессор. Так-то оно так, только, знаешь, там ведь всякие... Как их? Прерии, пампасы, бизоны, мустанги... Не выбрать ли нам что-нибудь другое?

Гена (иронически). Поспокойнее?

Профессор. Во всяком случае, поближе. Что если я тебе предложу другого «Всадника»? Пушкинского. «Медного». А?

Гена *(с сомнением).* Пушкинского?... *(Вдруг загоревшись.)* А что? Тоже ничего! Пушкин там так нафантазировал – дай бог! Я, помню, прямо даже испугался, когда этот памятник за Евгением поскакал... *(Как бы извиняясь за столь слабонервную реакцию, недостойную истинного мужчины.)* Правда, это давно было... Но все равно – это ж надо такое придумать! Прямо не хуже, чем у Майн Рида! *(Услышав, что профессор при этих словах – «не хуже» – как-то странно хмыкнул, истолковывает по-своему и продолжает с жаром.)* Ясно, не хуже! У Майн Рида тоже здорово страшно, когда – помните? – луна восходит и вдруг становится

видно этого самого всадника без головы. И у Пушкина – луна! *(Декламирует, так мрачно завывая, словно хочет напугать самого себя.)*

«И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним скачет»... Нет, не скачет...

Профессор *(подсказывает, не стерпев этого надругательства над стихом).*

«...За ним несется всадник медный
На звонко-скачущем коне».

Гена. Жуть! Представляю, как это тогда действовало! Ну, когда Пушкин это только что написал. Им небось этот медный всадник по ночам мерещился. Ведь это ж когда было? Когда люди еще в чудеса верили. В привидения, в чертей всяких... Правда, Архип Архипыч?

Профессор. А зачем гадать? Возьмем да и отправимся туда. На место происшествия.

Гена. Это какого? Когда Петр Первый за Евгением погнался?

Профессор. Да нет! Бери шире. Какое действительное происшествие описано в «Медном всаднике»? Петербургское наводнение 1824 года, не так ли?.. Это, конечно, пострашнее даже твоих пампасов, но не бойся: мы с тобой и ног не замочим. Настроим нашу машину так, чтобы попасть туда в тот самый момент, когда вода уже спадает, на улицу высыпал народ и, значит, мы непременно встретим в этой толпе того, кто нам нужен... Правда, кого именно, я и сам пока не знаю, но на месте разберемся. Согласен? Тогда в путь!

И вот они уже среди толпы глазеющих на последствия наводнения – мы это понимаем по гулу голосов.

Так и есть! Смотри, сколько знакомых! Вон Акакий Акакиевич ползет в своем знаменитом капоте. А вон и майор Ковалев – ух ты, какой шустрый!.. Нет, ты только глянь: даже этот тюфяк Подколесин не утерпел, вылез из берлоги! Еще бы – такое зрелище!

Гена. А это кто? Неужели Чацкий?

Профессор. Ну да, он самый. А что тебя так удивило?

Гена. Так он же вроде москвич.

Профессор. Был москвичом, Геночка! И закаялся туда ездить. Помнишь: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!»

Гена. Может, нам как раз к нему и подойти?

Профессор. Соблазнительно, но... Нет, не стоит! Давай-ка лучше протиснемся вон к тем двум – видишь? – у которых в руках свежие газеты. Вот тут я чую поживу.

Гена. А кто они?

Профессор. По правде говоря, того, кто постарше, я и сам не узнаю. А уж молодой... Вглядись: это же Хлестаков!

Гена. Хлестако-ов? Что-то он какой-то непохожий. И держится как-то не так: не Хлестаков, а прямо Молчалин!

Профессор. Так ведь это тебе не какой-нибудь уездный город, а столица! Тут его никто за важную птицу не примет. Да и беседует он, как видно, со своим начальником. Во всяком случае, с каким-то значительным лицом... Ба! Так и есть! Это и в самом деле *значительное лицо!*

Гена. Ну да. Вы уж об этом сказали.

Профессор. Нет, ты не понял. Это, если хочешь, его имя. Кличка. Именно так и никак иначе представляет его автор. Помнишь того генерала, который в гоголевской «Шинели» наорал на Акакия Акакиевича?

Гена. Вообще-то смутно.

Профессор. Ладно, не беда!.. Уф! Вот мы до них и добрались наконец. Ну, теснотища...

А раз добрались, то и слышат – совсем вблизи – два голоса: один – вальяжно-вельможный, другой – нагловато-подхалимский.

Хлестаков. А вот-с, ваше превосходительство, как о сих событиях здесь пишут: «Первые лучи солнца, озарив печальную картину разрушения, были свидетелями благотворения и сострадания. Попечительное правительство тотчас приняло меры к доставлению убежища, пищи и покрова несчастным, лишившимся своих жилищ. Дом господина военного губернатора, бывший всегда приютом сирых и злополучных, сделался надежным пристанищем всех требовавших скорой помощи...» Каков слог, не правда ли, ваше превосходительство?

Значительное лицо *(снисходя и к Хлестакову и к слогу).* Да, слог ничего, недурен. Сочинитель чувствительно изображает.

Хлестаков. Да ведь кто сочинитель-то, ваше превосходительство! Сам Булгарин! А уж он... Я с ним очень знаком, так он, бывало, положит мне руку на плечо: «Эх, скажет, Иван Александрыч! Трудно, брат! Ночей не спишь, все норовишь почувствительнее написать, а для чего? Единственно ради того,

чтобы начальство про свои благие деяния наичистейшую правду узнало!»

Лицо. Да, он ничего, он благонамерен... Однако ж, братец, читай далее!

Хлестаков. Виноват, ваше превосходительство! *(Читает торжественным тоном.)* «Множество благодетельных людей поспешило на места, претерпевшие более прочих от наводнения. Жители всех сословий с благородною неустрашимостию подвергали опасности собственную жизнь свою для спасения утопающих и их имущества...».

Гена. Смотрите, Архип Архипыч, а у Пушкина ничего этого нет!

Профессор. И быть не могло. Такие казенные восторги источали, только писаки вроде Булгарина. А в «Медном всаднике», наоборот, иная картина. Суровая. Даже беспощадная. Словом, правдивая... Помнишь?

«Уже по улицам свободным
С своим...»

Заметь, Гена!

«...бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить...».

Гена. Да уж! Совсем другое дело!

Профессор. Еще бы! Да и власти в поэме изображены совсем не так сладко, как у Булгарина. Сам царь Александр и тот представлен растерянным и бессильным...

Значительное лицо *(прислушавшись к ним, Хлестакову)*. Что за люди?

Хлестаков. Где-с? Эти? Не могу знать, ваше превосходительство!

Лицо. Ну так узнаем... Милостивый государь!

Профессор. Простите, вы меня?

Лицо. Да-с! Вас! Моего слуха коснулись ваши возмутительные речи. Как смеете вы клеветать на добродетельное

петербургское население, обвиняя оное в бесчувствии холодном, тогда как оно, все как есть, охвачено одним благонамеренным порывом?

Хлестаков. Именно так, ваше превосходительство! Охвачено! Мой, ваше превосходительство, крепостной человек Осип, уж на что, можно сказать, простой мужик, а и он охвачен!

Гена. У-у, подхалим! Небось перед городничим не так распинался!

Лицо. Кто внушил вам эти мысли, милостивый государь? И кто облек клевету в какие-то ничтожные, пасквильные стишки?

Гена. Ничтожные? Ничего себе! Это «Медный всадник» ничтожный?

Лицо. Что за «Всадник»? Хлестаков, ты не знаешь?

Хлестаков. Никак нет, ваше превосходительство! Впервые слышу!

Гена. Ну и ну! Может, вы вообще про Пушкина не слыхали?

Лицо. Отчего же? Он в юности, помнится, премилые стишки сочинял. Леда... Дорида... Киприда... «Спеши любить, о Лила, и снова изменяй!..» Этакий был шалун, хе-хе... Помнишь, Хлестаков?

Хлестаков *(обрадовавшись случаю и похвастаться и подольститься к начальству).* Как же-с, ваше превосходительство! Я ведь и с Пушкиным на дружеской ноге! Бывало, скажешь ему: «Ну что, брат Пушкин?..»

Лицо *(строго).* Не завирайся, братец! Как это на дружеской ноге? Чиновник моего департамента – и в дружбе со смутьяном, коему государем Александром Павловичем повелено находиться в ссылке безотлучно?

Хлестаков *(испугался).* Что вы, ваше превосходительство? Напротив! Совсем напротив! Я говорю, бывало, скажешь ему этак... сурово: «Ну?! Что, брат Пушкин?! А?! Смотри, брат! У меня – ни-ни! У меня – ухо востро!»

Гена. Вот врун, а? Да еще и неграмотный! Про пушкинского «Медного всадника» не слыхал!

Профессор. Что врун и невежда – спору нет. А вот что касается «Медного всадника», то, знаешь, Гена, это ведь я промахнулся. Да, да! Все эта проклятая профессорская рассеянность. У нас сейчас какой год?

Гена. Ясно, какой: 1989-й!

Профессор. Да нет! Сейчас, здесь, в этом Петербурге?

Гена. А-а... Здесь этот... 1824-й!

Профессор. То-то и оно! А ведь «Медный всадник» будет написан только через девять лет. Да его еще и не напечатают: новый царь не допустит. Так откуда же им знать эту поэму?

Гена. Да... Это вы действительно промахнулись. Что ж делать?

Профессор. Выходить из положения. Ничего! Я думаю, ты сумеешь их просветить. А если что забудешь, вот томик Пушкина. Я, как знал, прихватил его с собою.

Гена. Вот еще! Очень мне нужно их просвещать.

Профессор. Да пойми, ведь не ради них! Ради нас и наших слушателей. Мы же сами завели речь о том, как могли современники воспринимать пушкинскую фантазию, вот ты и спроси у них об этом.

Гена. Ну, ладно, так уж и быть... Послушайте! Вот вы сказали, что не знаете поэму «Медный всадник»...

Лицо. Не знаем и знать не хотим!

Гена. И зря! Там много здорово интересного. Там такая выдумка, что...

Лицо *(ядовито)*. Выдумку мы уж приметили. Только сию выдумку следовало бы почесть беспримерною клеветою, а ее автора – клеветником!

Гена. Сами вы... *(Но сдержался.)* Ладно. Не об этом речь. Я про другую выдумку говорю – про фантазию. Там, в поэме, ее герой – его Евгением зовут – как раз в это ваше наводнение угодил...

Лицо. Вот невидаль! Да в него тысячи угодили! Что ж тут за фантазия?

Гена. Нет, вы дослушайте! Этот самый Евгений не как другие угодил. Другие там на лодках спасаются, на досках, а он... Погодите, я сейчас прочту... Вот!

«Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный...».

Ну и так далее. Что, плохо придумано? Вокруг волны бушуют, а он льва оседлал!

Хлестаков. Позвольте, позвольте! Как, вы изволили сказать, его имя? Евгений? А по фамилии?

Гена. Не знаю. У Пушкина про это ничего не сказано.

Хлестаков. Так я вам скажу! Ваше превосходительство, это

же Яковлев! Наш Яковлев! Столоначальник! Душа человек и самый мой короткий приятель! Он как раз давеча прогуливался по городу, а когда вода стала прибывать, то для спасения жизни взял и залез на одного из львов, которые стоят возле дома их сиятельства князя Лобанова-Ростовского. Это о нем написано! И дом тот же самый! Верьте слову! Мне Яковлев сам божился!

Лицо. Так-то, юноша. А вы говорите – выдумка! Фантазия! Какая ж фантазия, ежели такой пустяк и тот позаимствован у натуры? Да и натура-то какова? Тьфу! Мой столоначальник, а ведь он препустейший малый! Я правду говорю, Хлестаков?

Хлестаков. Святую правду, ваше превосходительство! Препустейший! Именно – тьфу!

Лицо. Нет, измельчал Пушкин. Выдохся. Воображение уж не так играет, как в юности. «Спеши любить, о Лила...» – это я понимаю. А то вздумал лобановский дом описывать. Да на что мне его описание, когда я на прошлой неделе сам у князя на бале был?.. Фантазия!

Гена. Ну, ладно, пускай. Не в самом же Евгении дело, я о нем только так, к слову. А вот то, что за Евгением памятник Петра Первого гонится, это тоже не Пушкин выдумал?

Лицо. Памятник? Гонится? Это что-то новое.

Гена. Ага, заело? Подождите, сейчас я вам прочту... *(Листает томик, бормоча про себя.)* «Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось...». Вот!

«И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...».

Ну? Кто еще такое мог придумать, если не Пушкин?

Лицо. Кто мог придумать, говорите вы?.. Эхе-хе... Право, не следовало бы мне, верному слуге моего государя, рассказывать вам этакое, да уж ладно. Расскажу, дабы окончательно посрамить вашего кумира, этого ссылочного пиита. Хлестаков, погляди, братец, нас никто не слышит?

Хлестаков. Никто, ваше превосходительство!

Лицо. Да сам-то гляди не перенеси часом!

Хлестаков. Что вы, ваше превосходительство! Могу ли я...

Лицо. Можешь, братец, можешь. Одна надежда – побоишься, что узнаю, так в бараний рог скручу... Словом, вот. Надо вам знать, господа, что еще в двенадцатом году, когда Буонапарте вздумал пойти на нас войною, государь Александр Павлович

полагал за лучшее увезти из Санкт-Петербурга статую Петра Великого – на случай, ежели супостат захватит столицу. И вот тогда-то к князю Голицыну… князь мне это сам говорил… повадился ходить некий майор Батурин. Сей майор добился с князем свидания и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на площади Сената. Лик Петра… Как там у хваленого вашего пиита сказано про сей лик?

Гена. «…Мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось..».

Лицо. Вот-с! Стало быть, зрит этот Батурин, что лик Петра тихонько поворачивается. Всадник съезжает со скалы своей и скачет по улицам к Каменному острову, где обретался тогда государь. Батурин влечется за всадником какой-то чудной силою, бежит и слышит топот меди по мостовой. Ну-с, затем всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, навстречу выходит к нему наш государь, и император Петр будто бы говорит ему… Но тсс! Об этом никому!.. «Молодой человек, – говорит Петр Великий, – до чего довел ты мою Россию?..» Что, юноша? Вы и на сей раз станете уверять нас, будто Пушкин обладает фантазиею? Похитить жалкую выдумку какого-то полубезумного майора! Какое падение!

Хлестаков. Именно так, ваше превосходительство! Ах, какое падение! У меня есть друг, некто Тряпичкин, он пописывает в журналах, так он даже куплет сочинил:

И Пушкин стал нам скучен!
И Пушкин надоел!
И стих его не звучен!
И гений охладел!

Лицо. Без сомнения, охладел! Что ж за поэзия, ежели она все заимствует из презренной прозы?

Гена. Да как вы можете такое говорить? Это же Пушкин! Это…

Но, к сожалению, ни слов, ни аргументов ему явно не хватает. А Архип Архипович почему-то помалкивает и не торопится на защиту Гены и Пушкина.

Лицо. Любезный, с вами разговор, я полагаю, кончен. Спорить дольше не об чем… Что, Хлестаков? В газетах ничего более нет про наводнение?

Хлестаков. Газеты-с я вам уже имел честь прочитать, ваше превосходительство, а вот, ежели угодно, есть анекдот. Мне его

Тряпичкин рассказал за чистую правду. Весьма презабавно-с!

Лицо. Рассказывай, ежели вправду презабавно.

Хлестаков. Изволите ли знать графа Варфоломея Васильича Толстого?

Лицо. Того, что в Большой Морской живет? Как же, знаком.

Хлестаков. Так вот, граф имеет привычку вставать очень поздно. Так же встал он и в утро бедственного наводнения. Накинув халат, подходит к окну, и первый предмет, бросившийся ему в глаза, – шлюпка. А в шлюпке – генерал-губернатор граф Милорадович... *(Значительное лицо смеется.)* Граф Толстой, разумеется, кличет камердинера. Тот прибегает, а граф, указывая ему на окно, спрашивает: «Что ты видишь?» Тот, натурально, отвечает как есть: «Генерал-губернатор едет на шлюпке». Тут граф перекрестился и говорит: «Ну слава богу, а я уж думал, что с ума сошел».

Лицо *(смеется)*. В самом деле, братец, действительно презабавно!

Гена *(мстительно)*. Подумаешь! И ничего тут нет забавного. Вот такую ерунду Пушкин ни за что бы в свою поэму не вставил!

Профессор *(наконец подает голос, но, увы, совсем не для того, чтобы поддержать Гену)*. А знаешь, дружок, ты не прав! Пушкин как раз описал этот случай:

«Со сна идет к окну сенатор
И видит – в лодке по Морской
Плывет военный губернатор.
Сенатор обмер: «Боже мой!
Сюда, Ванюша! Стань немножко,
Гляди: что видишь ты в окошко?» –
«Я вижу-с: в лодке генерал
Плывет в ворота мимо будки». –
«Ей-богу?» – «Точно-с». – «Кроме шутки?» –
«Да так-с!» Сенатор отдохнул
И просит чаю: «Слава богу!
Ну! Граф наделал мне тревогу.
Я думал: я с ума свихнул».

Гена. Не может быть! Это не Пушкин!

Профессор. Представь себе, он.

Лицо. Ну-с, юноша? Что вы там мололи? Выдумка? Пиитическая фантазия? Полет воображения? Даже ваш более опытный сотоварищ, хоть он и заражен опасными идеями, понял, что Пушкин всего лишь жалкий копиист. Его бы ко мне в департамент, копии с бумаг снимать, в помощники вот к нему, к

Хлестакову! Что, Хлестаков, взял бы ты его?

Хлестаков. Нет-с, ваше превосходительство! Почерк небось дурен!

Хохочут дуэтом: значительное лицо бухает солидным смешком, Хлестаков подхихикивает. И насмеявшись, уходят. Архип Архипович и Гена остаются вдвоем.

Гена. Ну, Архип Архипыч, спасибо вам! Не ждал я от вас такого! Против кого меня поддержали!

Профессор *(кротко).* Но, ведь я же сказал правду, Геночка!

Гена. Правду!.. А почему ж я этих строчек не помню – про губернатора в лодке?

Профессор. Вероятно, потому, что в окончательный текст они не вошли.

Гена. Вот видите! Не вошли все-таки! А вы меня из-за них на посмешище выставили!

Профессор. Не сердись. Зато теперь ты увидел, что для современников пушкинская фантазия была неотрывна от самой что ни на есть реальной действительности. Ведь так, Геночка?

Гена. Пусть так. Но мне, Архип Архипыч, все равно обидно, что Пушкин...

Профессор. Что такое? Ты готов разочароваться в Пушкине?

Гена. Я не сказал: разочаровался. Я сказал: обидно. Зачем он даже историю со скачущим памятником у какого-то майора позаимствовал?

Профессор. Наоборот! Он ее решительно переиначил! Вспомни, что у майора Батурина. Два царя – один, основавший Петербург, и второй, способный его погубить. Вот и всё. И Петр представлен весьма однозначно и помпезно – только как символ города, как хранитель его. А у Пушкина он, этот герой и гений, вдруг оборачивается еще и жестоким деспотом, едва какой-то жалкий безумец осмелится угрожать ему. Видишь, какая полнота истории! Какая новизна мысли!

Гена. Это-то я как раз понимаю. А все-таки неужели Пушкин ничего самостоятельно придумать не мог?

Профессор. Опять ты за свое! Нет, сдается мне, ты с чем-то спутал «Медного всадника»!

Гена. С чем же это, по-вашему?

Профессор. Да хотя бы с тем же «Всадником без головы»! Что ж, по-твоему, Пушкин – Майн Рид, что ли? Может, ему вообще следовало назвать «Медного всадника» не «петербургской повестью», а «приключенческой»? И в этом духе и разворачивать сюжет?.. Нет, милый друг, по части фантазии Пушкин мало кому

уступал, а уж по части мысли за ним тем более трудно угнаться. И, как видишь, настоящая писательская фантазия, не бесцельная и не развлекательная, случается, не только не противостоит реальности или даже документу, но как бы из них и рождается... Понял? Ах, не до конца? Но конец еще и не наступил. Даже пока не предвидится!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ПУСТОГО МЕСТА

Как Архип Архипович сказал, так оно и есть: до конца мы еще не дошли – да и вообще не дойдем. То есть книга-то, конечно, закончится, и довольно скоро, но вот вопросы: вымысел и действительность (фантазия и быль, как, помнится, выразился у нас Сирано де Бержерак), сказка и правда, мир придуманный и мир взаправдашний, – они, эти вопросы, никогда не иссякнут. Как нескончаема и неиссякаема сама художественная литература. А вопрос, который захватил наших героев на этот раз, касается... Хотя нет, до него самого дело еще не дошло. Пока Гена только торопится рассказать профессору, какую странную историю он вычитал.

Гена. И книга же мне попалась! Такое напридумано, что... Представляете, один военный писарь... Да, я забыл сказать: это еще давно было, при царе Павле Первом... В общем, этот самый писарь сидел и приказ переписывал. Ему в приказе надо было перечислить, какие офицеры Преображенского полка куда назначались. А он очень торопился, все боялся, что к сроку переписать не успеет, ну и...

Профессор. И, торопясь, допустил при переписывании ошибку.

Гена. Откуда знаете? Даже две! Например, ему было нужно написать: «...подпоручики же такие-то...» Забыли, как их звали. Не важно. Предположим, так: «...подпоручики же Иванов, Петров и Сидоров назначаются туда-то и туда-то». А он, писарь то есть, взял да и написал нечаянно: «...подпоручик Киже». Понимаете? Вроде фамилия такая получилась – Киже! *(Боясь, что перебьют.)* Но это еще что! Когда приказ к императору Павлу попал, тому захотелось там хоть что-нибудь исправить – характер у него такой был. Он и приписал сверху: «Подпоручика Киже назначить... в общем, не туда, куда его назначили, а в караул». Дворец караулить. Понимаете, что произошло?

Профессор *(улыбается)*. Да понимаю, успокойся.

Гена. Тут все и началось. Получает командир полка этот приказ, самим царем подписанный, и не знает, что ему делать. Офицера-то у него такого нету! Но царю сказать побоялся: вдруг обозлится? Только посоветовался с царским адъютантом, как быть, а тот совет дал. Императору, говорит, ничего не доносите. Просто считайте подпоручика Киже в живых. И действительно назначьте в караул. Так вот и решил. Но потом...

Профессор *(ему все-таки не хватило терпения)*. Но потом этот самый несуществующий подпоручик, которого, естественно, император Павел не видел и не мог видеть в глаза, попал по случайной причине в царскую немилость и его велено было сослать в Сибирь под надзором двух гвардейцев...

Гена *(увлеченно подхватывает)*. Точно! Там это здорово написано: шагают эти гвардейцы по дороге, будто и правда кого-то ведут, а между ними пустое место!..

Профессор. Вот именно. Ну а дальше все повернулось в другую сторону. Император, вообще отличавшийся капризностью нрава, вдруг передумал и помиловал это пустое место. Стал повышать в чинах и в конце концов даже произвел в генералы...

Гена *(он только сейчас опомнился – так, значит, захватила его эта фантастическая история)*. Выходит, вы эту книжку знаете? А я-то... Ну, все равно! *(Снова загорается.)* Нет, это ж надо было придумать! Кому бы еще такое в голову пришло?

Профессор. Ты полагаешь: решительно никому?

Гена. А что? Почему вы спросили?

Профессор. Потому что, дружок... Но к чему тратить слова? Давай-ка лучше, как обычно, сразу отправимся – только нет, не в рассказ Юрия Тынянова «Подпоручик Киже». Вообще не в рассказ – в сказку!

И до нашего слуха доносится песенка двух ткачей, они напевают вполголоса, занятые своей работой. Весьма странной, судя по их же собственным словам.

Ткачи.

Уж нам-то издавна известно:
На дураках стоит земля!
И вот мы из пустого места
Кроим наряд для короля.

Второй ткач *(запевает громогласно).*

Не зря мы с тобою ткачи-ловкачи...

Первый *(шепотом остерегает его).*

Об этом, братец, промолчи!

Вместе.

Уж мы-то знаем: дело выйдет,
Поскольку нам поверил всяк,
Что если ткани не увидит,
То, значит, круглый он дурак!

Второй *(снова неосторожно громко).*

Не зря мы с тобою ткачи-ловкачи...

Первый.

О этом, братец, промолчи!

Да тише ты! Кому говорят? Старый министр идет!

Ткачи *(вместе.)* Здра-авствуйте, господин министр! Милости просим, ваше превосходительство! Как изволили почивать? Ничто дурное вам не снилось? Как аппетит? Как...

Министр. Довольно, довольно, ткачи! Не заговаривайте мне зубы! Ну-ка, показывайте вашу работу. Меня вам не провести!

Первый ткач. Как можно, ваше превосходительство? Кому же не известен ваш изысканный и строгий вкус? Вот-с, извольте! Королевские панталоны!

Второй ткач. Королевский камзол!

Первый. Королевский кафтан!

Второй. Вам оттуда хорошо видно? Надеюсь, зрение у вас в порядке?

Первый. Что ты городишь? Кто же, если не господин министр, способен увидеть и оценить наше искусство? Ведь всякому дураку известно, что наша ткань только для него, для дурака, и невидима!

Второй. Или для того, кто сидит не на своем месте!

Первый. Вот именно! А какой же гнусный клеветник посмеет сказать этакое про господина министра? Покажите мне этого клеветника! Я его в клочки изорву!

Министр *(про себя)*. Господи помилуй! Да я ничего не вижу... Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал. Упаси господь, кто-нибудь узнает! А может, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!..

Первый ткач *(нагло)*. Что вы там говорите себе под нос, ваше превосходительство? Скажите погромче, что вы думаете о нашей работе? Или, чего доброго...

Министр. Нет! Нет! *(Запинается.)* О, это премило! Какой узор! Какие краски! Какие... ну, эти самые...

Первый *(подсказывает)*. Какие благородные линии!

Министр. Да, да, совершенно верно, именно это я и хотел сказать: какие плодородные лилии! Я сию минуту доложу королю, что все готово, все красиво, все... ну и так далее. *(Громко и торжественно.)* Ваше величество! Я имел удовольствие осмотреть ваш новый наряд и имею честь доложить, что он достоин того, чтобы вы его примерили. Эй, придворные! Двери настежь! Введите его величество под руки! Музыка! Марш!

Звучит бравурный марш. Шум голосов – мужских и женских. Полу разборчивые обрывки: «Пожалуйте, ваше величество!.. Дорогу королю!.. Не наступайте мне на шлейф! Медведь... От такой слышу!..» И общее: «Ах!!!» Молчание.

Первый ткач. Ну? Господа придворные! Что же вы пораскрывали рты? Надо полагать, от восхищения?

Второй. Что за странный вопрос ты задал? От чего же еще? Ведь невозможно и предположить, чтобы эти блестящие господа ничегошеньки здесь не увидали и, стало быть, оказались круглыми...

Придворные *(наперебой).* Ах, нет, нет!.. Что до меня, то я все отлично вижу!.. А я, кажется, стала даже лучше видеть, чем прежде!.. Это что! У меня просто в глазах режет – так мне все хорошо видно!.. Какой рисунок!.. Какой покрой!..

Министр *(веско).* Добавьте: какие плодородные лилии! Не так ли, ваше величество?

Король *(он тоже говорит себе под нос).* Что за ерунда? Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего! *(Громко и очень фальшиво.)* О да, очень, очень мило! Вполне.заслуживает моего одобрения!

Ткачи *(по-солдатски).* Рады стараться, ваше величество!

Король. Да, я доволен. Только вот... как его... это...

Первый ткач. Вы хотите спросить, по мерке ли вам наряд, ваше величество?

Король. Да. Именно это. Впору ли он? *(Капризно.)* Может быть, будет узок в плечах? Или жать под мышками?

Второй ткач. О, не извольте беспокоиться: он легок, как паутина.

Первый. Что ты! Какая паутина! Паутина все-таки имеет вес, а наш наряд вы, ваше величество, даже и не почувствуете на своем теле. Будто его совсем нет!

Король *(недоверчиво).* Совсем нет?

Первый. Совсем; ваше величество! Нет как нет. Головой клянусь! Если почувствуете хоть что-нибудь, прикажите нас немедля казнить!

Второй. А теперь соблаговолите раздеться... то есть, виноват, разоблачиться... и стать вот тут, перед большим зеркалом. Разрешите, мы вам поможем. Вот та-ак... и так... и так...

Король *(хихикает).* Ай, щекотно!

Второй. Теперь приступим к церемонии одевания... то есть, пардон, облачения. Вот панталоны вашего величества! Позвольте правую ножку... так... теперь левую...

Король. А я ведь и в самом деле ничего не чувствую. Наряда как будто нет.

Первый ткач. А я что вам сказал, ваше величество? Неужели вы могли подумать, что я вас обману? Я же собственной головой поклялся!

Второй. Вот камзол... А вот и кафтан... Все, ваше величество!

Придворные *(вразбивку и хором)*. Боже, как идет!.. Как чудно сидит!.. Сшит точь-в-точь по фигуре короля!.. Я не вижу ни одной морщинки!.. А я – ни одной складки!.. Браво! Браво! Браво!

Гена *(смотрел, смотрел и не выдержал)*. Эх вы! Всё боитесь, что вас за дураков примут, а сами и доказали, что дураки!

Министр. Боже мой! Так я и знал! Уста младенца, как всегда, изрекли истину!

Гена *(обидевшись)*. Это кто же тут младенец, интересно знать? Я, что ли? Да вы знаете, сколько мне...

Профессор. Тихо, тихо, Гена! Ничего обидного про тебя не сказали, всего-навсего подтвердили, что ты прав. И вообще больше нам с тобой здесь делать нечего.

Оставляют короля, придворных и ткачей самих разбираться, что там у них произошло. Но, и оставшись наедине с Архипом Архиповичем, Гена все еще кипятится.

Гена. Младенец! Тоже нашел младенца! Сказал бы я ему, если бы...

Профессор. Говорю тебе: успокойся! Главное, что ты, я вижу, узнал эту мудрую и веселую сказку...

Гена. Конечно, узнал! Ее каждый младенец... То есть каждый дурак... В общем, это же Андерсен. «Новое платье короля».

Профессор. Да, старый добрый Андерсен. И к тому же, надеюсь, ты понял, зачем мы очутились в этой сказке?

Гена. Кажется, понял. Действительно похоже! У Тынянова в «Подпоручике Киже» – там ведь как? Все делают вид, что перед ними не пустое место, а живой человек, потому что иначе император Павел рассердится. И здесь тоже: притворяются со страху, будто что-то на самом деле видят, и опять ради того, чтобы царь... Ну, или король их не выгнал!

Профессор. Молодец! Сообразил... Да, эта тема, как видишь, давненько волнует писателей. Что касается Андерсена, то современники видели в его сказке насмешку над одним тогдашним стихотворцем, которому очень хотелось считаться королем датских поэтов...

Гена. А у самого силенок было маловато, да?

Профессор. Не то чтобы маловато, но с Андерсеном он сравнения не выдержал. Впрочем, сам-то великий сказочник говорил, что эту смешную историю он не совсем придумал. Она была рассказана в одной испанской новелле – вообрази – XIV века. Вот как давно! Да и после Андерсена ее продолжали рассказывать, конечно, всякий раз по-своему. В «Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера она тоже... Что, вижу, не

помнишь? Очень рад! *(Поправляется, стараясь казаться строгим.)* То есть это очень скверно, что ты плохо помнишь такую прекрасную книгу, но хорошо, что у нас появился повод в нее заглянуть!

Так они и сделали. Заглянули.

Мужской голос *(очень высокомерный)*. Вы – Тиль Уленшпигель?

Тиль. Он самый – к вашим услугам! Если, конечно, с ним разочтутся по заслугам!

Мужчина *(небрежно)*. Насчет расплаты не беспокойтесь!.. Итак, это вас господин ландграф Гессенский назначил своим придворным живописцем?

Тиль. Меня. Придворным или, если хотите, притворным... *(Про себя, тихо.)* Потому что если я чего и не умею в этом мире, так рисовать. *(Вслух.)* Назначил и даже заказал огромную картину, где я должен изобразить господина ландграфа в кругу его придворных. Всех до единого.

Мужчина. Значит, среди них буду и я... Эй! Что это вы так уставились на мой живот? И почему у вас текут слезы?

Тиль *(всхлипывает)*. От сердечного умиления. С тех пор, как я расстался с моим милым Ламме Гудзаком, я не встречал брюха столь жирного, круглого, бочкообразного, набитого вкусными разностями, налитого сладкими жидкостями. Брюха, столь...

Мужчина. Хватит, черт побери! Придержите свой дерзкий язык! Так вот, любезный! Вы должны на вашей картине убавить мое... мой живот ровно наполовину!

Тиль. Был бы весьма рад услужить, но, боюсь, тогда господин ландграф убавит меня самого ровно на голову. Он строго-настрого приказал изобразить всех придворных такими, каковы они на самом деле.

Мужчина. Ваша голова – это ваша забота. Но если вы не исполните моего приказания, я велю своим слугам избить вас палками. Берегитесь!

Тиль. Слава богу, убрался... Да! Кажется, я угодил в переплет и опасаюсь, что у этой книги может оказаться плачевный конец. Ибо...

Женский голос *(прерывает его размышления)*. Это вы – новый живописец?

Тиль. Увы, сударыня. Я!

Дама. Тогда слушайте меня внимательно. Перед вами придворная дама ландграфа Гессенского. А это моя спина – что вы скажете о ней?

Тиль. Если бы я был поэтом, сударыня, я нежно сравнил бы ее с изогнутым луком.

Дама. Приятно, что вы так галантны. Но, к сожалению, мир населен не одними поэтами, и оттого меня чаще называют просто горбуньей. Словом, я хочу, чтобы на вашей картине я была не изогнутой, как лук, а прямой и тонкой, как его натянутая тетива!

Тиль. Но, сударыня...

Дама. Я не приму никаких возражений! Если вы ослушаетесь, то мой поклонник не пощадит вашей галантности и посадит вас на свою шпагу, как цыпленка на вертел. Берегитесь!

Тиль *(оставшись один).* Что ж, по крайней мере я не могу пожаловаться на отсутствие выбора. Меня могут забить палками, заколоть шпагой или на худой конец отрубить голову – только выбирай! Но пока голова еще на плечах, надо задать ей работу... Думай, Уленшпигель, думай! Ты не из знатных господ, и тебе не впервой заниматься этой черной работой! Ну же, Тиль!.. Есть! Отлично, господа, будь по-вашему! Я угожу всем и всякому: и этому вислопузому и этой кривой карге. Я покажу им голую стену, пустое место и скажу: вот моя картина! Лучшая из всех картин на свете! Только, господа, у нее есть секрет: свое изображение на ней способен разглядеть лишь тот, в чьих жилах течет дворянская кровь. Если же к ней подметалась кровь простолюдина, ничего не увидите, сколько ни пяльтесь!.. Хорошую шутку сыграю я с вами, друзья мои! Вы кичитесь своим дворянством, вы не считаете нас за людей – что ж, за эту кичливость я вас и одурачу. Берегитесь!

Уленшпигель исчезает.

Гена. И что? Так все и выйдет, как у Андерсена?

Профессор. Похоже... Но так или иначе теперь ты видишь, что поразившая тебя история подпоручика Киже не одинока. В некотором смысле ее уже опередили и сказка Андерсена и «Тиль Уленшпигель» Костера.

Гена. Да, я вижу. Жалко!

Профессор. Помилуй, чего?

Гена. Ну, как же! Я-то считал, Тынянов все это сам придумал!

Профессор. Вот что тебя задело! Тогда не обессудь. Приготовься!

Сказано это так, что Гена даже слегка испугался.

Гена. К чему?

Профессор. К еще большему огорчению. Я прочту тебе одну

историю из эпохи Павла Первого, заметь, действительную, невыдуманную, рассказанную современником. Слушай. «В одном из приказов по военному ведомству писарь, когда писал: «...прапорщики ж такие-то в подпоручики», перенес на другую сторону слог «киж»...»

Гена *(он готов думать, будто ослышался)*. Что?!

Профессор *(не обращая на него внимания),* «...написав при этом большое К. Второпях, пробегая этот приказ, государь слог этот, за которым следовали фамилии прапорщиков, принял также за фамилию одного из них и тут же написал: «Подпоручик Киж в поручики»...»

Гена *(все еще не хочет поверить своим ушам)*. Здесь Киж, у Тынянова – Киже, и вся разница?!

Профессор *(продолжает невозмутимо)*. «На другой день он произвел Кижа в штабс-капитаны, а на третий – в капитаны. Никто не успел еще опомниться и разобрать, в чем дело, как государь произвел Кижа в полковники и сделал отметку: «Вызвать сейчас ко мне». Тогда бросились искать по приказам, где этот Киж, и, когда нашли первое производство Кижа, тогда только поняли, в чем дело. Между тем государь уже спрашивал, не приехал ли полковник Киж, желая сделать его генералом. Но ему доложили, что полковник Киж умер. «Жаль, – сказал Павел, – был хороший офицер».

Гена *(он убит)*. Точно... И у Тынянова он в конце тоже говорит: «У меня умирают лучшие люди». Вот это да-а-а...

Профессор. Приуныл?

Гена. Так ведь, Архип Архипыч, обидно же! Я думал...

Профессор. Помню, помню, что ты думал! Так вот, дружок. Во-первых, рассказ Тынянова, если приглядеться, весьма и весьма отличается от этого старинного анекдота и уж, во всяком случае, не повторяет его. Как тем более не повторяет ни сказку Андерсена, ни роман Костера. А во-вторых... Пойми простую и важную истину – ради нее я и прочитал тебе историю этого самого Кижа. Да, реальная жизнь порой рождает такие сюжеты, до которых додумается, пожалуй, разве что писатель с очень богатым воображением. И то, что литература оказывается чуткой к этим сюжетам, то, что она не витает мечтательно в облаках, а, так сказать, припадает ухом к земле, к подлинной жизни, к истории, учится у них, – ну разве это плохо? Разве тут огорчаться надо? Наоборот, радоваться! Понимаешь?

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ ГОСПОДИНА МАНИЛОВА

Обрадовался Гена или не обрадовался, это осталось неизвестным. Но вот в следующий раз – то есть в этот, о котором сейчас и будет рассказано, – он пришел к Архипу Архиповичу, прямо-таки лучась самодовольством. Наверное, так чувствовал бы себя, если бы только он умел чувствовать, сейф, в котором хранится документ необыкновенной важности и секретности. Оказалось, что он обдумывает сочинение, которое ему задали в школе: «Социальные корни художественных типов из поэмы Гоголя «Мертвые души» (тут и в самом деле заважничаешь, если только не затоскуешь). Но когда профессор предложил тут же, не мудрствуя и не откладывая, отправиться в эти самые «Мертвые души», Гена вдруг отказался. Почему? Разве это не лучше, чем тащиться в районную библиотеку и там выписывать разные (или, что еще хуже, однообразные) скучные мысли из скучных книг?

Что лучше, с этим-то Гена, конечно, согласился. Но...

Гена. Нет, Архип Архипыч! Спасибо. Я в библиотеку пойду. В

«Мертвые души» как попадешь, так смеху не оберешься. Уж я знаю!

Профессор. И прекрасно!

Гена. Прекрасно-то оно, может, и прекрасно, но только ведь смех, он... ну, отвлекает, что ли. Хорошо еще, если Плюшкин или Собакевич встретятся, – тогда действительно можно про крепостное право поговорить, про то, как крестьян угнетали, про суровую действительность... А если Ноздрев или Манилов? Сами видите, тема-то у меня какая!

Профессор. Погоди! Тема почтенная, что говорить, но как же это получается? Может быть, ты думаешь, что, допустим, к тому же Манилову все это уже не имеет никакого отношения?

Гена. Нет, наверное, имеет какое-то небольшое. Но главное-то в нем не это!

Профессор. А что же тогда? Растолкуй, сделай милость.

Гена. Ну, то, что он просто смешной, вот и все. Такой сентиментальный чудачок. Сидит себе и фантазирует от нечего делать. Всякую чепуху выдумывает, а этим когда угодно можно заниматься. В любое время. Хоть тебе тут крепостное право, хоть не крепостное...

Профессор. Понятно. И все-таки, Гена, прошу тебя: сделай одолжение! Если не мне, то нашим слушателям – они-то ведь ждут. Махнем в «Мертвые души», а? Ведь всего на полчаса. Не уйдет от тебя твоя библиотека.

Гена *(легко сдаваясь)*. На полчаса? Ну, ладно...

Профессор торопится закрепить свою победу: тут же включает машину, и они оказываются... Несложно догадаться, у кого именно. У Манилова, разумеется. Вернее, у Маниловых. Счастливые супруги сидят за своим расстроенным фортепьяно, барабанят по нему в четыре руки и поют необыкновенно чувствительную песенку.

Манилов.

Душеньки часок не видя,
Думал, век уж не видал...

Манилова *(подхватывает)*.

Жизнь мою возненавидя,
«Льзя ли жить мне?» – я сказал.

Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек!

Манилов. Лизанька! Ангельчик! Ммм... *(Прожевав, запевает с новым подъемом.)*

Ах, когда б я был пастушка
Вместо участи моей...

Вместе.

Я бы Лизин был подружка
И всегда играл бы с ней!

Гена *(давится со смеху)*. Ну, что я говорил? Помереть можно!

Профессор. Да, забавные голубки! Но должен тебе сказать, Гена, что... Впрочем, после! Нас уже обнаружили!

Манилов. Лизанька! У нас гости! И какие! Помнишь ли, я говорил тебе, как имел удовольствие беседовать с ними об Павле Ивановиче?

Манилова. Ах! Вы друзья Павла Ивановича? Какое счастье!

Гена. Откуда вы взяли, что мы... *(Но договорить ему, разумеется, не удается.)*

Манилов. Ни слова более! Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь! Мы с женою, право, так рады, так рады! Уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же, душенька, к нам друзья Павла Ивановича не едут?» «Погоди, говорю, душенька, приедут». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением! Уж такое доставили наслаждение!

Гена. Ну, ясно! Сейчас скажет: «Майский день! Именины сердца!»

Манилов. Майский день! Именины сердца!.. А позвольте спросить, как вам показался наш город? Приятно ли провели там время?

Профессор. Мы, видите ли... *(Его постигает та же участь, что и Гену.)*

Манилов. Не правда ли, прекрасный город? И общество – самое обходительное?

Манилова. А как вы нашли нашего губернатора?

Манилов. Не правда ли, препочтеннейший и прелюбезнейший человек?

Манилова. А вице-губернатор?

Манилов. Не правда ли, какой милый человек?

Манилова. А как вам показался полицеймейстер?

Манилов. Не правда ли, очень приятный человек?

Манилова. Ну а какого вы мнения о жене полицеймейстера?

Манилов. Не правда ли, что она предостойнейшая женщина?

Манилова. А что думаете вы о председателе палаты? Об управляющем казенными фабриками? О прокуроре? О казначее? О почтмейстере?

Оба, вместе. Не правда ли, какие они все превосходнейшие люди?!

Гена. Ну, слава богу, теперь, кажется, всех перебрали. Никого не осталось.

Манилов. А как поживает любезнейшии Павел Иванович?

Манилова. Давно ли вы с ним видались?

Манилов. В добром ли он здоровье?

Манилова. Не сочетался ли он законным браком?

Манилов. А ежели сочетался, то кто сия счастливейшая из смертных?

Профессор *(пробует прорваться)*. Видите ли, к величайшему сожалению... *(Не тут-то было.)*

Манилов. Ах! Павел Иванович! Павел Иванович! Что за человек! Что за ум! Что за сердце! Я все думаю: как было бы хорошо, если бы жить с ним этак вместе, под одною кровлею! Или под уединенной сенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь этаком, углубиться!..

Манилова. О! Это была бы райская жизнь!

Манилов. А еще бы лучше жить с ним и с Лизанькой на берегу какой-нибудь реки. А потом построить через эту реку этакий мост, на котором были бы по обеим сторонам лавки и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. И еще выстроить огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечерний чай на открытом воздухе!..

Манилова. Ах! Шарман! Шарман!

Манилов. Да-с! С бельведером! А потом... потом поехали бы с Павлом-то Ивановичем в этакое общество в хороших каретах и обворожили бы там всех приятностию обращения, и тогда государь – сам государь! – узнавши о такой нашей дружбе, пожаловал бы нас ге-не-ра-ла-ми!..

Профессор. Простите, господин Манилов, но на этот раз я вас все-таки прерву!

Манилов *(ничего не слышит в своем сладостном пареньи)*. Да! Сам государь!.. Ге-не-ра-ла-ми!..

Профессор. Очень хорошо. Генералами так генералами. Но скажите мне, не кажется ли вам, что человек с таким пылким воображением, как вы, мог бы фантазировать и посмелее?

Манилов *(очнувшись)*. А? Что? Позвольте узнать, что вы

имеете в виду?

Профессор. Охотно объясню. Вот сейчас ваше воображение не взлетает выше того, чтобы государь сделал вас генералом. А почему бы вам не вообразить себя на месте его самого?

Манилов. Кого – его? Что разумеете вы под сим местоимением?

Профессор. Естественно, государя. Императора. Царя Николая Первого.

Манилов. Как-с? Извините… Мне уже доводилось в прошлую нашу встречу изъявить вам, что я несколько туг на ухо. Мне опять послышалось престранное слово. Притом, с позволения сказать, на сей раз уж такое престранное, что…

Профессор. Оно вам не послышалось. Я его произнес.

Манилов *(полушепотом).* Как можно-с? Что вы говорите? Да кто я такой, чтобы сметь…

Профессор. Ну, ну, не скромничайте, господин Манилов! Поверьте мне, вы очень знаменитый человек. Вы известны всему миру. А ваша способность вот этак… э-э… безудержно фантазировать даже породила целое понятие – маниловщина!

Манилов. О! Не могу поверить! Вы мне льстите!

Профессор. Не сказал бы, что льщу. Так что решайтесь! Вообразите, что из владельца вот этой Маниловки, главным украшением которой является деревянная беседка с пышным названием «Храм уединенного размышления», вы превратились… да, да!.. в государя всея России. Какой размах тогда приняло бы ваше исполнение желаний? Ну же, фантазируйте!

Манилов. Ах, право, разве из уважения к такому образованному гостю… Ну, хорошо. Ежели вы обещаете мне, что никто об этом не узнает, я, пожалуй, так и быть, поддамся искушению.

Профессор. Обещаю: никто. Ну, разумеется, кроме тех, кто нас сейчас слушает.

Манилов. Отлично-с! Итак… Боже, у меня голова идет кругом от просторов, кои открываются предо мной! Какие богатства! Какая свобода для фантазии!.. Ну, слушайте же! *(Вдохновенно.)* Первым делом я сыщу в Петергофе этакую какую-нибудь уединенную сень, чтобы можно было пофилософствовать, углубиться…

Гена. Опять? Да вы это уже говорили!

Профессор. Не мешай ему, Гена!

Манилов. Да-с, пофилософствовать… Углубиться… Я всенепременно усею весь Петергоф и его окрестности уединенными увеселительными павильонами, голландскими этакими мельницами, швейцарскими этакими шале, китайскими

киосками, русскими избами, итальянскими виллами, греческими храмами, чтобы, вообразите, утренний чай пить на мельнице, обедать в избе, а вечерний чай пить в храме!

Гена. И это все, что вы нафантазировали?

Манилов. Отнюдь! Это только начало! Представьте себе: в Царском Селе или в Петергофе вы видите пред собою этакий большой запряженный фургон, нагруженный кипящим самоваром и корзинами с посудою и булками. Дан сигнал – и фургон мчится во весь опор к павильону, назначенному для встречи. Ездовые с развевающимися на ветру черными плюмажами скачут туда, скачут сюда, дабы предупредить великих князей и великих княгинь, что ее величество императрица будет кушать кофе в «Храме уединенного размышления», или на мельнице, или в хижине, или в русской избе – словом, в одном из тысячи причудливых павильонов, который создал для нее ее любезный супруг... То есть я!

Манилова. Ах! Как это мило!

Гена. Да-а... Стоило ради этого себя царем воображать!

Манилов *(распалясь)*. И сверх того! Я возведу в Петергофе бельведер!

Гена. Опять бельведер? Еще один? И тоже такой, чтобы с него Москва видна была?

Манилов. Да-с! Такой точно! Только на сей раз с него можно будет видеть Петербург! И пить чай на открытом воздухе!

Гена. Нет, Архип Архипыч, вы как хотите, а мне это уже поднадоело!

Профессор. Как тебе угодно. Давай откланяемся.

И Манилов с его – оказывается, такими однообразными – бреднями остается где-то вдали.

Гена. Что это с ним случилось? Такой вроде был фантазер – и вдруг завел одно и то же!

Профессор. А он ничего другого и не мог завести, потому что сама историческая действительность ограничила полет его фантазии. Как говорится, снизила ее потолок. Да, именно действительность, хоть ты и уверял меня, будто Манилов всего лишь забавная фигура, ничуть не зависящая от того, в какое время она возникла. Больше того! Во всем, что он сейчас наговорил, вообразив себя могущественным владыкой, вообще нет фантазии. Ни капельки! Удивлен? А между тем весь его последний монолог – это самое что ни на есть точное, даже документальное описание того, как устроил свои владения царь Николай Первый. Это у него был типично *маниловский* вкус, у

него было пристрастие ко всем этим «Храмам уединенного размышления», беседкам, хижинам, бельведерам...

Гена. И к бельведерам тоже?

Профессор. Конечно! Манилов только мечтал построить пышный бельведер, то есть такую возвышенную беседку или башенку, чтобы можно было за чаепитием любоваться видом далекой столицы. А Николай это его желание исполнил, только и всего. Возвел для себя такой – или, как сказал бы Манилов, этакий – бельведер... Да разве только в совпадениях дело? Надо тебе сказать, что вообще эта мода на сентиментальность, на показное кокетство дружескими чувствами, на хвастовство своими семейными добродетелями, то есть на все то, что мы обычно связываем с именем гоголевского Манилова, насаждалось именно Николаем Первым.

Гена. Вы что хотите сказать? Что Манилов – это вроде бы намек на самого царя?

Профессор. Видишь ли... По правде говоря, есть соблазн подумать именно так. Например, находили, что внешность Манилова несколько напоминает внешность императора. Или... Скажи, ты помнишь, как звали маниловских сыновей?

Гена. Как-то по-гречески... А, вспомнил! Фемистоклюс и этот... Алкид!

Профессор. А сыновей Николая Первого звали Константин и Михаил. Тебе это ничего не говорит?

Гена. Честно говоря, нет.

Профессор. Тогда объясню. Эти имена даны совсем неспроста. Дело в том, что у русского двора был большой интерес... ну, не к Греции самой по себе, а к бывшей Византийской империи, куда прежде входила и Греция. Цари давно мечтали восстановить эту империю и посадить на ее трон своих детей. Вот почему и появились эти имена: Константин, потому что так звали самого первого и самого последнего императоров Византии, и Михаил, потому что пророчества предсказывали, будто в свое время появится византийский император с таким именем.

Гена. Ну, Архип Архипыч! Если уж и это совпадает, значит, точно Гоголь в Манилове царя изобразил!

Профессор. Нет, Гена. Понимаю, тебе очень хочется, чтобы так все и было, но дело обстоит не столь просто. И сходство тут гораздо шире, чем сходство двух людей. Шире и глубже. Возьмем уже не самого царя, а, скажем, двух его приближенных. Двух едва ли не самых страшных и жестоких людей, двух жандармов, Бенкендорфа и Дубельта. Заметь, какими чертами они больше всего любили хвастаться и кокетничать. Дубельт называл своего

начальника Бенкендорфа не иначе как «человеком ангельской доброты». А когда тот уезжал за границу, Дубельт прямо-таки рыдал и говорил своей жене: «Ты знаешь, душенька, как я люблю моего графа, и бог видит, что за каждый год его жизни я отдал бы год своей...»

Гена. Как Манилов про Чичикова!

Профессор. А я тебе что говорю? И притом все это действительно было показным – тоже, между прочим, по-маниловски. Ты, надеюсь, помнишь, что от ангельской доброты Манилова, разумеется, гоголевского, *настоящего,* его крестьянам отнюдь не легче жить. Деревня бедна, порядка нету, приказчик что хочет, то и делает... Так вот, точно так же и Бенкендорф изо всех сил старался казаться сентиментальным добряком, но многие ли ему верили? Даже из близких к нему людей? Один мемуарист той эпохи писал: «Зная графа, мы хорошо знали всю бесполезность приемов его. Он слушал ласково просителя, ничего не понимая...»

Гена. Как Манилов своего приказчика!

Профессор. Совершенно точно! Так что... если уж и искать прототипов Манилова, то по всей николаевской империи. Их там было великое множество. И именно в этом, если хочешь, те самые *социальные корни* гоголевского образа.

Гена. Да, это вы интересно все объяснили. А я-то думал...

Профессор. Что ты думал, мне известно. Но вот похвалы твоей принять не могу. Потому что на сей раз я всего лишь старался изложить тебе мысли одного замечательного ученого, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Видишь эту книгу? «Литература – реальность – литература» – так она называется. А одна из ее глав озаглавлена... на-ка, взгляни!

Гена. «Социальные корни типа Манилова»? Вот здорово! Архип Архипыч, дадите почитать?

Профессор. С превеликой охотой. Но пока погоди, я хочу тебе кое-что процитировать. «Гоголь, – пишет академик Лихачев, – боялся, конечно, прямо указать на ту среду, для которой маниловщина была наиболее характерна и которой подражал Манилов. И тут следует сказать: маниловщина больше самого Манилова. Маниловщина, если ее рассматривать не только как общечеловеческое явление, а как явление определенной эпохи и определенной среды, была в высшей степени свойственна высшему чиновничье-бюрократическому слою России. Провинциальный помещик Манилов подражал «первому помещику России» – Николаю Первому и его окружению». Короче говоря, заключает автор книги, «Гоголь указывал на эпигонов, имея в виду и «самого» и «самих».

Гена. «Самого» – это значит царя?

Профессор. Конечно.

Гена. Да... Это Гоголю здорово повезло, что Николай не догадался.

Профессор. Пожалуй! Но догадались «сами». По крайней мере многие из них. Не зря же по выходе «Мертвых душ» раздавались злобные голоса о клевете на Россию. Корни-то, выходит, – и именно те самые, о которых ты собрался писать сочинение, – глубоко вошли и далеко протянулись...

КАК «ПИЛИГРИМ» СТАЛ «ЗАБИЯКОЙ»

Гена *(сегодня он вновь очень деловит)*. Ну, Архип Архипыч! Куда сегодня направимся? Придумали что-нибудь интересненькое?

Профессор *(с добродушным смешком)*. Интересненькое, говоришь? Надеюсь, что да. Придумал. Сегодня я хочу тебе предложить путешествие по книгам одного русского писателя конца прошлого века. Прекрасного писателя, хотя, к сожалению, многие его знают гораздо меньше, чем он того заслуживает.

Гена *(он почему-то не разделяет воодушевления профессора, вяло принимая его предложение, скорее уж, как неизбежность).* Ну, ладно. Все равно.

Профессор. Что значит – все равно? Ты даже имени этого писателя не спросил, а уже как будто разочаровался.

Гена. Да нет. Я ничего. Только если уж честно говорить...

Профессор. Ну, ну! Что ж ты запнулся? Говори, как и пообещал, честно.

Гена. И скажу! Мы ведь с вами не просто в кабинете сидим и книжки читаем, верно? Мы путешествуем, да? А настоящее путешествие – это... это... в общем, что-то особенное. Далекое! В какие-нибудь джунгли непроходимые. Или в море...

Профессор. В море? Что ж, это меня вполне устраивает!

Гена *(обрадовался).* Правда? Тогда чего ж мы ждем? Давайте сразу и отправимся... Только вот куда? Может, в какую-нибудь книгу Жюля Верна, а?

Профессор *(с сомнением).* Жюля Верна?.. Собственно говоря, я-то собирался...

Гена. Ну, вот, так я и знал!

Профессор. Ладно, ладно, не падай духом. Что с тобой поделаешь? Начнем с Жюля Верна, а уж там... Словом, становись к пульту – ведь маршрут-то выбрал ты, а не я. Или еще не решил, какой именно?

Гена. Не решил, так решу... Минуточку... Ага! Ясно! *(Торжественно.)* Включаю двигатель перемещения в пространстве! Уточняю направление! Все! Пуск!

И нас обступают шумы, шорохи, далекие звериные голоса – точно такие, какие, судя по книгам Жюля Верна, бывают в африканских джунглях.

Ой! Где это мы?

Профессор. Вот тебе раз! Вероятно, там, куда ты и стремился попасть. Позволь узнать, какую из жюльверновских книг ты выбрал в конце концов?

Гена. «Пятнадцатилетнего капитана»... А это что? Это ж не море, это лес какой-то! Я вроде все правильно рассчитал, чтобы сразу с Диком Сэндом встретиться. На корабле... как его?

Профессор *(терпеливо).* Ты хочешь сказать: на борту китобойной шхуны-брига «Пилигрим»?

Гена. Точно, на нем! На «Пилигриме». А получилось – видите что?

Профессор. Вижу. Но не убивайся. Немного сбился с курса,

только и всего. Книга-то ведь та же самая, «Пятнадцатилетний капитан». А что до леса, то есть до джунглей, так тебе же и в них не терпелось попутешествовать. Вот ты и... Но тише, Гена! Ни слова больше!

Да, самое время прикусить язык, потому что раздаются два несомненно злодейских голоса; то, что их обладатели именно злодеи, только злодеи и никем, кроме как злодеями, быть не могут, совершенно очевидно.

Первый злодей *(как скоро выяснится, Негоро)*. Итак, Гэррис, тебе не удается завлечь еще дальше в глубь африканского континента отряд «капитана» Дика Сэнда...

Как известно, кавычки только пишутся, услышать их как будто нельзя, но только не в этом случае. Всякий раз, когда Негоро или его собеседник произносят что-нибудь иронически, они словно бы, по выражению одного поэта, поднимают над головой деревянные кавычки.

Второй злодей *(как уже выяснилось, Гэррис)*. Увы, ты прав, Негоро! Дальше я их затащить не могу. Хорошо еще, что мне удалось заманить их на сотню миль от побережья. Последние дни мой «юный друг» Дик Сэнд не спускал с меня глаз. Я читал в его взгляде горячее желание послать мне полный заряд свинца прямо в грудь, а надо тебе сказать, я совершенно не перевариваю сливовых косточек, которые отпускают в оружейных лавках по двенадцати штук на фунт.

Негоро. Понятно! У меня самого счеты с этим юнцом, и будь покоен, Гэррис, я уплачу по ним сполна и даже с процентами! Ха-ха!

Гена *(очень тихо)*. А! Я их узнал! Это же Негоро с Гэррисом... ну, те самые работорговцы, которые...

Профессор. Тсс!

Негоро. Гэррис!! Мне послышался какой-то шорох в зарослях папируса! Где мое ружье?

Слышно, как он взводит курок. Молчание.

Гэррис. Ничего нет, это тебе почудилось. За те два года, что мы не виделись, ты, приятель, отвык от лесных шумов. Но это не беда, скоро опять привыкнешь. Расскажи-ка лучше о своих приключениях.

Негоро. Ты называешь это приключениями, Гэррис? Да будет

тебе известно, что меня арестовали по обвинению в работорговле и приговорили к пожизненному заключению на каторге в Сан-Паоло-де-Луанда.

Гэррис. Тысяча чертей! Готов поклясться, я предпочел бы виселицу!

Негоро. Повешенный не может бежать, Гэррис, тогда как мне это удалось, после чего я полтора года прозябал в Окленде без единого доллара. Чтобы не умереть с голоду, мне пришлось браться за любую работу...

Гэррис. Работу? Неужели ты работал, словно какой-нибудь честный человек?

Негоро. Работал, Гэррис, пока мне не представился счастливый случай. В Оклендский порт пришло китобойное судно «Пилигрим», и я сумел устроиться на него судовым коком. За неимением лучшего капитан Гуль согласился нанять меня. Спустя несколько дней «Пилигрим» отчалил от берегов Новой Зеландии...

Гэррис. Но, насколько я понял из слов моего «юного друга» Дика Сэнда, корабль вовсе не намеревался плыть к берегам Африки. Каким же непонятным образом судно попало сюда?

Негоро. Клянусь черным флагом наших коллег пиратов, ты угодил в самую точку, Гэррис! Я проявил поистине дьявольскую хитрость. «Пилигрим» действительно направлялся совсем не в Африку, куда было нужно мне, а в Вальпараисо. Но через три недели после выхода из Окленда капитан Гуль и все матросы, по счастью, погибли во время охоты на кита. На борту «Пилигрима» остались беспомощные пассажиры, пятеро негров – все пятеро отменные силачи и, вообрази только, Гэррис, свободные люди – да два моряка. Молодой матрос Дик Сэнд и судовой кок Негоро.

Гэррис. Понимаю! И судовой кок вступил в должность капитана!

Негоро. Нет, Гэррис. Я рассудил, что мне это не удастся. Но я понял и то, что твой «юный друг» – сущий младенец в мореходстве: он умел определять место своего корабля в открытом море только при посредстве компаса. И вот в один прекрасный день, вернее, в одну прекрасную ночь я подложил под компас железный брусок и тем отклонил стрелку. «Пилигрим», подхваченный сильной бурей, сбился с курса. Дик Сэнд и не подозревал, что мы обогнули мыс Горн, но я, Гэррис, я видел его в тумане. Вскоре после этого я убрал брусок, и стрелка компаса приняла нормальное положение. Судно, гонимое ураганом, стремглав понеслось на северо-восток и разбилось у африканского берега, как раз в тех местах, куда я хотел попасть.

Гэррис. И как раз в это время случай привел меня на берег –

словно нарочно, чтобы встретить тебя и послужить проводником твоим «симпатичным» спутникам... *(Хохочут оба.)* А теперь скажи, как ты собираешься с ними разделаться?

Негоро. Одних продам в рабство, а уж других...

Гэррис. Понятно. Кого ты собираешься продать?

Негоро. Негров. За старика, пожалуй, немного выручишь, но остальные четверо – крепкие молодцы, и на невольничьем рынке за них дадут хорошую цену.

Гэррис. Еще бы! Негр, родившийся в моей родной Америке, – о, это редкий товар на африканских рынках! Молодец, Негоро! Узнаю прежнюю хватку коммерсанта, знающего толк в черном товаре!

Гена *(все-таки он не выдержал).* Вот подлецы! Правда, Архип Архипыч? Надо же – людьми торгуют! И еще хвалятся!

Профессор. Гена! Я же предупреждал!..

Но поздно.

Негоро. Слышишь, Гэррис? А ты уверял, будто я разучился понимать шум джунглей! Нас подслушивают, и я знаю, кто именно: твой «юный друг», этот проклятый пятнадцатилетний «капитан»! Ну, постой же! *(Стреляет.)*

Гена *(в панике).* Архип Архипыч! Бежим!

Топот ног, треск раздвигаемых и ломаемых веток и сучьев – словом, шум бегства и погони, сопровождаемый еще и выстрелами, пока Архип Архипович не остановится, задохнувшись.

Профессор. Да погоди ты, Гена! Кажется, мы от них оторвались. А главное, совершенно незачем было мчаться сломя голову! Ты позабыл, что у меня всегда с собой дистанционное управление нашей машиной и я в любой миг могу перенести нас с тобой куда угодно... Ффу... *(Отдувается.)* Но я вижу, джунгли не пришлись тебе по нраву?

Гена. Да уж! На море как-то лучше!

Профессор. Если так, будь наконец по-твоему!

В один миг исчезают все шорохи и шумы джунглей. Слышны плеск волн о корабельный борт и скрип снастей под ветром.

Гена. Море! Паруса! Вот здорово-то!.. Архип Архипыч, это мы на «Пилигриме», да? И Дик Сэнд здесь?

Профессор. Нет уж! На сей раз наступила моя очередь выбирать маршрут, и это совсем не «Пилигрим». Это... «Забияка»!

Гена. Кто-кто? Забияка? В каком смысле?

Профессор. В переносном, разумеется. И не «кто», а «что». Так называется это судно, или, точнее говоря, паровой клипер, – «Забияка». Он принадлежит русскому флоту и в некотором смысле русскому писателю – Константину Михайловичу Станюковичу. Ведь это про него я...

Но профессора перебивает и заглушает матросский говор.

Молодой матрос. ...А вот что еще, братцы, мичман рассказывал про арапчонка-то, которого намедни в океане спасли. Он, мичман-то, стало быть, по-ихнему понимает, так арапчонок сам сказывал. Капитан-мериканец, у которого тот в услужении состоял, он, братцы, его каждый день мучил. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь! Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра. У бедняги и посейчас вся спина исполосована. Доктор сказывал: страсть поглядеть!

Старый матрос. Ишь, дьявол! Небось у нас уже объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть?

Молодой. То-то есть!

Старый. Чудно что-то... Вольный народ, а поди ж ты!

Молодой. Ей-бо, есть! Сам слыхал, как господа офицеры в кают-кампании рассуждали. У их арапы быдто вроде крепостных. Из-за этого самого у их промеж себя и война идет. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны – это те, которые крепостных арапов имеют, – ну и жарят друг дружку, страсть!

Старый. Скажи на милость! Да-а, братец ты мой! И птица клетки не любит, а человек и подавно... Слава те господи, хоть наш-то арапчонок небось теперь вольный будет. Или как?

Молодой. Беспременно вольный! Черт хозяин к рыбам пошел, так какой тут разговор! Надо ему новый пачпорт выправить да и...

Свист боцманской дудки.

Одначе, Захарыч, обед свистят.

Старый *(встает, кряхтя).* И то пора...

Общий оживленный шум, топот, звяканье оловянных мисок.

Гена. Архип Архипыч, я догадался! Это мы туда попали, где про Максимку рассказывается? Да?

Профессор. Правильно. И я очень рад, что ты читал этот рассказ.

Гена. Ну, не то чтобы читал – я кино видел. По телевизору.

Профессор. Ах, всего лишь? А я-то подумал... *(Назидательно.)* Нет, дорогой, если уж ты хочешь...

Но договорить ему не дают снова.

Голос матроса Лучкина. Хлеб да соль, братцы! А что, примете в артель Максимку?

Молодой. Это какого такого Максимку? Арапчонка, что ль?

Лучкин. Его.

Старый. Ишь! А с чего это ты, Лучкин, его Максимкой прозвал?

Лучкин. А как еще прозвать? Его в какой день из окияна спасли? В день святого угодника Максима, вот он и выходит Максимка, значит. Опять же имени у арапчонка нет, а надо же как-нибудь звать... Так что, братцы, принимаете нас?

Старый. Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком!

Лучкин *(медлит)*. Может, другие которые... Сказывай, ребята!

Молодой. Да чего ты, Лучкин? Садись, говорят! Небось не объест твой Максимка! И солонины нам оставит! *(Заливисто смеется собственной нехитрой шутке.)*

Старый. На вот! Ему тут и ложка припасена, арапчонку твоему!

Лучкин *(оправдываясь)*. Да я, братцы, по той причине, что он негра... некрещеный, значит... Но только, я полагаю, на земле все равны. Всем хлебушка хочется.

Старый. А то как же! Ешь, Максимка! Не пужайся! Российские матросы, брат, не забидят!

Гена. Вот это по-нашему! Ведь это, Архип Архипыч, еще когда было, правда?

Профессор. Да, давненько. В России только-только крепостное право отменили. А в Америке, ты сам слышал, идет Гражданская война между Севером и Югом.

Гена. Я и говорю! А они, глядите, всё уже, прямо как мы, понимают! Не то что те двое... *(С мстительной мечтательностью.)* Эх, вот их бы сюда! Уж здесь бы им показали, как неграми торговать!..

Профессор *(вдруг задорно)*. А что? Неплохая мысль! Ну-ка...

И они с Геной, а также мы с вами слышим потрясенный голос Гэрриса.

Гэррис. Тысяча чертей! Негоро! Где мы?

Негоро. Гэррис! Мне кажется, я сошел с ума!

Лучкин *(не видя и пока даже не слыша их, приговаривает любовно и мирно).* Ты что же не ешь, Максимка? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Бон шти!

Старый матрос. Эка пужливый какой! Видать, застращал арапчонка дьявол этот мериканец! Накось, покушай из моей ложки! Ну? Во-от! Так-то.

Лучкин *(удовлетворенно).* Вот это бон, Максимка! Вери гуд, братец ты мой! Ешь себе на здоровье!

Гэррис. Пусть я буду трижды проклят, Негоро, пусть сам Вельзевул потащит меня в геену огненную, но я не возьму в толк, каким растреклятым образом мы очутились на этом судне, среди людей... или кто они? Призраки?.. которые – ты видишь, Негоро! – якшаются с черномазым паршивцем, как с подобным себе!

Негоро. Сейчас не время рассуждать, Гэррис, как и что с нами произошло. Положись на меня. Я сбежал с каторги в Сан-Паоло-де-Луанда; я обвел вокруг пальца Дика Сэнда и его спутников; надеюсь и здесь не ударить в грязь лицом. Держу пари на целый караван черного товара: мы выберемся отсюда и еще прихватим в придачу этого мальчишку-негра, – он хоть чего-нибудь да стоит на рынках Африки, не будь я старый работорговец Негоро!

Гена *(он находится в сладостном предвкушении).* Ага! Ух, сейчас и влепят же им за Максимку!

Но по совершенно непонятной причине русские матросы, хотя и услышали чужие голоса, однако вовсе не торопятся оправдать ожидание Гены.

Старый матрос. Эвон! Никак к нам на «Забияку» гости пожаловали? Откуда, господа хорошие?

Гэррис. Слышишь, Негоро? Сдается мне, что эти люди или призраки обращаются не к кому иному, как к нам с тобой!

Старый матрос. Ишь ты, быдто бы не по-нашему, не по-российски балакают. Ну, да ничего! Хлеб-соль, она не разбирает, кто чей. Милости просим матросских штей отведать! Артюшка, подай две ложки!

Молодой матрос. Пожалуйте!

Лучкин. Садись, ребята! Шти на ять! Самолучшие шти!

Гэррис. Черт побери, Негоро, что они там болтают? Может быть, угрожают нам? Я не разберу ни словечка из их дикарского или бесовского наречия!

Негоро. Вообрази, Гэррис, я также никогда не слыхал – ни в море, ни на каторге – этого диковинного языка!

Гена *(несколько разочарован отсутствием немедленного возмездия).* Вот это да! Что это, Архип Архипыч? Почему они друг дружку понять не могут?.. А-а! Ясно!

Профессор. В самом деле? И что же тебе ясно, Геночка?

Гена. Ну, как же! Эти... Гэррис с Негоро, они откуда? Из французской книжки! Жюль Берн по-французски писал! Вот и...

Профессор *(даже рассмеялся).* Нет, Гена, это ты не очень ловко сообразил. Насколько я знаю, ты у нас с французским языком тоже не слишком в ладах, а между тем все и всех отлично понимаешь. Вообще запомни, дружок: *таких* барьеров для взаимного непонимания не существует в единой и общей Стране Литературных Героев! Тут дело...

Но и на этот раз объяснить ему не удается.

Лучкин. Слышь, Захарыч, кажись, они всамделе по-нашему ни в зуб ногой. Их зовешь, а они ни в какую! Того гляди, голодные останутся.

Старый матрос. И то, братец ты мой! Эй, господа! Того... этого... ну, по-вашему сказать, вали манже с нами!

Лучкин *(искренне переживая).* Нет, не понимают... Вот мы сейчас! Эй, Максимка! Беги, волоки дорогих гостей к матросскому угощению!

Гэррис. Что такое, Негоро? Этот черномазый так обнаглел, что смеет хватать меня за руку?

Негоро. Давно не пробовал бича, обезьяна? Пошел прочь! Прочь! Ах, так?.. На тебе! *(Жалобный крик негритенка.)*

Лучкин (в *смятении и гневе).* Братцы! Что ж это? Гляди, он арапчонка забижает!

Молодой матрос. Ишь, размахался! Совсем как тот мериканец!

Старый. Ну, господа, мы с вами по-хорошему, всей душой, значит, а вы эдак? Стало быть, на себя пеняйте! Держись!!!

Профессор. Вот теперь, Гена, мы смело можем покинуть паровой клипер «Забияка»!..

Они вновь одни.

Гена. Эх, чего ж вы? На самом интересном месте!

Профессор. Ты полагаешь, на самом? Вряд ли. Все ясно: справедливость восторжествует, потому что уж теперь-то русские матросы отлично *поняли* этих негодяев.

Гена. Представляю, как они им... А кстати, Архип Архипыч, чего же раньше-то не понимали?

Профессор. Да потому, что здесь, если угодно, встретились два совершенно разных, непонятных один другому мира... Нет, я сейчас имею в виду не два различных и даже противоположных отношения к человеку, в данном случае к негритенку Максимке. Это само собой. Но тут еще и два разных *художественных* мира. Понимаешь? Два разных способа изображения жизни и человека. Ну, подумай сам: разве герои Жюля Верна, хотя бы те же Гэррис и Негоро, написаны как живые, взаправдашние, самые что ни на есть достоверные люди? Нет, конечно! Они вполне условные персонажи, и с них даже спрашивать нечего, чтобы они были наделены живыми, неповторимыми человеческими характерами...

Гена. Вы что же хотите сказать? Что Жюль Верн, по-вашему...

Профессор. Успокойся, успокойся! Никому и в голову не приходит обижать твоего Жюля Верна. Я ведь сказал: «...и спрашивать нечего...» Не надо, несправедливо спрашивать! То есть в приключенческих романах замечательного французского писателя, весьма благородных по мыслям и чувствам, насыщенных разного рода познавательными сведениями, такие условные персонажи вполне на своем месте. Это *такая* литература, вот и все!

Гена. А у вашего Станюковича?

Профессор. У «вашего»... Ишь, какой! Словно и тебе не пришлись по душе его герои. Ну, ладно... А у моего Станюковича все по-другому. Он тоже рассказывает о морских путешествиях, о происшествиях на море и на суше, тем более что сам был моряком и вообще повидал немало. В одиннадцать лет был, представь себе, награжден двумя медалями за участие в знаменитой Севастопольской обороне, а взрослым человеком изведал сибирскую ссылку по обвинению в революционной деятельности. Но я не о том. Я хочу сказать, что в его книгах главное не сами по себе приключения, как бы увлекательны порою они ни были, не сведения о разных землях и океанах, а человек. Очень живой, настоящий, который живет в совершенно определенное время, в совершенно определенной стране... Впрочем, послушай лучше, как сказал современный исторический писатель Юрий Давыдов, сам бывший моряк. По-моему, хорошо сказал: «Судовую оснастку, прочности ради, пропитывали *тиром,* особым смолистым составом. «Русский элемент» был таким тиром лучших героев Станюковича. С их повседневным мужеством, удалью и сердечностью, грустью по родным берегам и чувством равенства со всеми, кто жив в подлунном мире, чувством, отвергающим то, что ныне зовут расизмом...» А? Не правда ли, в

точности про тех матросов, с которыми ты сейчас встретился?

Гена *(убежденно)*. Точно про них!

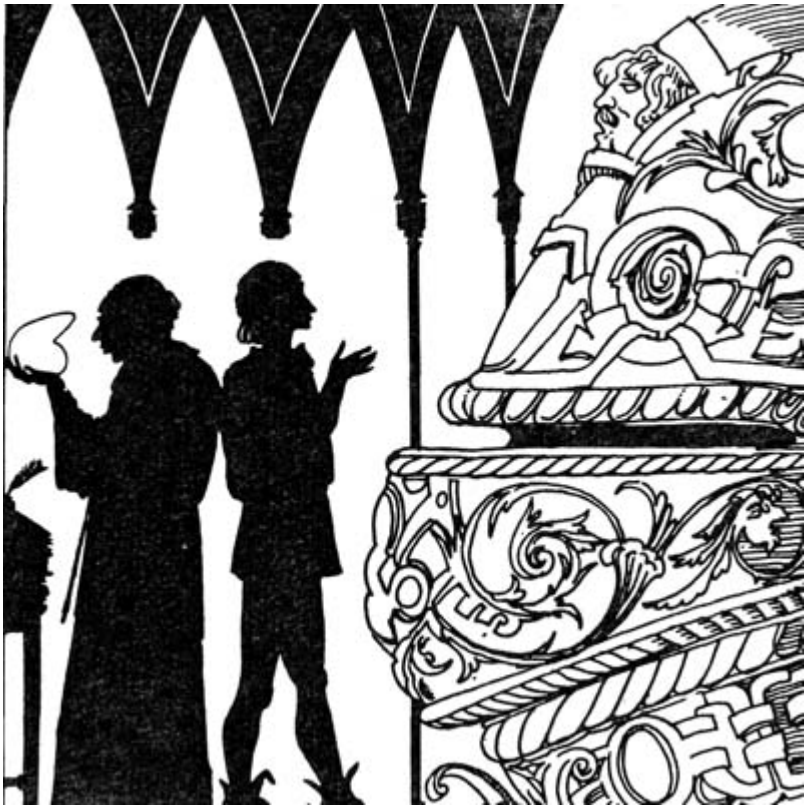
Профессор. Короче говоря, я не зову тебя разлюбить Жюля Верна. Я зову тебя узнать и полюбить книги Константина Михайловича Станюковича. Отличного русского писателя, настоящего *реалиста* в той области литературы, которую зовут маринистикой.

Гена. Это в которой про море говорится?

Профессор. Да, про море… Вообще я не собираюсь ссорить не только Станюковича с Жюлем Верном, но даже и два этих мира: условный, придуманный, иногда и попросту сказочный и совершенно реальный, взаправдашний, исторический. Они могут сосуществовать, дружить, помогать один другому, а как это происходит, мы с тобой, может быть, попробуем понять уже в следующий раз. Не откладывая.

СКАЗКА ПРО ПОЭТА, РЫЦАРЯ И МОНАХА

Как нам известно, у Архипа Архиповича обещанного три года не ждут, но тут он, кажется, превзошел самого себя. Еще даже и Гена не успел заявиться, а в квартире профессора – голоса. Вернее, пока всего один, горячий и возбужденный голос некоего молодого человека.



Молодой человек. Черт побери наше состояние!.. Отец у меня богат, а мне какое дело! Дворянин, у которого нет ничего, кроме зазубренного меча да заржавленного шлема, счастливее и почетнее отца моего. Отец мой сымает перед ним шляпу, а тот и не смотрит на него... Деньги! Потому что деньги достались ему не дешево, так он и думает, что в деньгах вся и сила – как не так! Если он так силен, попробуй отец ввести меня в баронский замок! Деньги! Деньги рыцарю не нужны – на то есть мещане. Как прижмет их, так и забрызжет кровь червонцами!..

Профессор *(он считает своим долгом возразить).* И вы считаете, что рыцарь очень хорошо делает, таким манером добывая свои... да какие там свои! Чужие деньги! А ваш отец, которого все считают честным купцом, он, стало быть...

Молодой человек *(перебивает его с горячностью, горечью и насмешкой – со всем сразу).* Купцом? Честным?.. Купец, сидя за своими книгами, считает, считает, клянется, хитрит перед всяким покупщиком. «Ей-богу, сударь, самый лучший товар, дешевле нигде не найдете». – «Врешь...» – «Никак нет, честию вас уверяю»... Честью!.. Хороша честь! А рыцарь – он волен, как сокол... Он никогда не горбился над счетами, он идет прямо и

гордо, он скажет слово, ему верят... Нет, по мне лучше быть последним минстрелем – этого по крайней мере в замке принимают... *(Мечтательно, так, что становится ясно: в слове «госпожа», которое он сейчас произнесет, для него особый, потаенный, сладостный смысл.)* Госпожа слушает его песни, наливает ему чашу и подносит из своих рук... Черт добери наше состояние! Пойду лучше в минстрели!

Профессор не отзывается на эти его слова, зато возникает еще один голос – монаха Бертольда.

Бертольд. Здравствуй, Франц! О чем ты?..

Молодой человек *(или, как выяснилось, Франц)*. Сейчас отец грозился меня выгнать и лишить наследства.

Бертольд. За что же?

Франц. За то, что я знакомство веду с рыцарями.

Бертольд *(рассудительно)*. Он не совсем прав и не совсем виноват.

Франц. А я? Виноват ли я в том, что не люблю своего состояния? Что честь для меня дороже денег?

Бертольд. Всякое состояние имеет свою честь и свою выгоду. Дворянин воюет и красуется. Мещанин трудится и богатеет. Почтен дворянин за решеткою своей башни, а купец – в своей лавке. Да взять хоть твоего отца...

Франц *(с трудом слушавший эти разумные рассуждения, тут и вовсе взрывается)*. Отец? Он за копейку удавится!

Бертольд. Не говори так, мой добрый Франц! Не говори! Спору нет, отец твой бережлив, скупенек и сперва даже слушать не хотел, чтобы ссудить мне полтораста гульденов для моего последнего опыта. «Эх, отец Бертольд! – пенял он мне с досадою. – Коли бы ты не побросал в алхимический огонь всех денег, которые прошли через твои руки, то был бы богат». Однако ж, когда я уверил его, что на сей раз мой опыт непременно удастся, и посулил ему за то наконец расчесться с ним, а сверх того, открыть великую тайну, он раскошелился и даже...

Вот тут наконец появляется запыхавшийся Гена.

Гена. Здрасте, Архип Архипыч! Простите, я опоздал на минутку, потому что... Ой, у вас кто-то есть? Кто это?

Профессор. Не узнал? Что ж, придется знакомить заново. Это Франц, молодой поэт. А это монах Бертольд, ученый, алхимик...

Гена *(церемонно)*. Очень приятно. Гена. *(Шепотом.)* А кто они? Из какой книги?

Профессор. Как? Я-то решил, что ты их просто впопыхах не признал, а ты, брат... Нет, надо объясниться, и наедине, без этих господ, – я не хочу краснеть за тебя перед ними...

Остаются одни.

Что же это такое, Гена? Мало того, что ты опоздал... *(Грозно.)* Кстати: чтобы это было в последний раз! Обещаешь?

Гена. Слово даю! *(Честно подумав.)* Ну, в крайнем случае – в предпоследний.

Неизвестно, говорит ли он искренне или хитрит, но как бы то ни было, давая свое слово, он ничем не рискует (как, между прочим, казалось еще одному участнику этого путешествия, но уж о нем, о его слове и заодно о том, почему всего лишь «казалось», вы узнаете чуть позже), ведь путешествие, которое совершают сейчас Архип Архипович и Гена, именно предпоследнее в этой книге.

Профессор. Смотри!.. Словом, мало того, что ты опоздал и я был вынужден начать один, без тебя, так ты еще вдобавок Пушкина плохо знаешь!

Гена. Я? Пушкина? А он тут при чем?

Профессор. При том, что и Франц и Бертольд – герои одной из его пьес. Правда, неоконченной, однако...

Гена *(облегченно)*. Ах, неоконченной? Тогда чего же вы от меня хотите? Я ведь не ученый какой-нибудь вроде вас, я всякие там черновики и комментарии не изучал!

Профессор. Ну, ну, не отговаривайся! Эта пьеса давным-давно входит во все собрания сочинений. И, кстати сказать, считается замечательнейшим произведением. Знаешь, как оценил его еще Чернышевский?

Гена *(угрюмо)*. Издеваетесь, да? Откуда ж мне знать, если я самой этой пьесы не читал?

Профессор *(рассмеявшись)*. Ах, извини меня, Гена, за то, что я хорошо подумал о твоих знаниях!.. Что ж, тогда послушай. Видишь ли, один из исследователей Пушкина выразил мнение, что эта его пьеса – «не настоящее произведение, а только остов произведения...»

Гена. Ну? Видите? Исследователь – и то вон что сказал! А вы хотите, чтобы я...

Профессор. Сейчас я хочу одного: чтобы ты дослушал... А Чернышевский возразил: «Решаемся даже сказать, что не жалеем о том, что «остов произведения» не был обработан, не подвергся перекраиванию, развитию и распространению в объеме... Не

укажи нам на мысль о необработанности сам Пушкин, мы должны были бы думать, что даже он сам не мог бы ни прибавить, ни изменить тут ни одного слова, не испортив или не ослабив своей прекрасной драмы»... Видишь, как высоко оценил Николай Гаврилович пушкинские «Сцены из рыцарских времен»!

Гена *(встрепенулся).* Как вы сказали? «Из рыцарских»?

Профессор. Ну да. Именно так называется последняя и неоконченная драма Пушкина. Вернее, так ее потом назвали издатели – сам Пушкин не успел ее и озаглавить... А собственно, чему ты так обрадовался?

Гена. Вы еще спрашиваете! Я же вот как люблю про рыцарей читать! Про Айвенго там... Про Ричарда Львиное Сердце...

Профессор. Добавь: про Дон Кихота!

Гена. А что? Хоть бы и про него тоже! Эти рыцари – они такие смелые были! Такие благородные!

Профессор *(с не очень понятной Гене иронией).* Такие учтивые!

Гена *(с вызовом).* Да! И учтивые! Вежливые. Или, по-вашему, Айвенго и Дон Кихот грубияны какие-то?

Профессор. Нет, Геночка, конечно, нет... Но знаешь, что я подумал? Раз уж тебе, как я понял, хочется встречи именно с *такими* рыцарями, то не лучше ли просто-напросто вновь стать к пульту, повернуть рычаг исполнения желаний и – пожалуйста! Все будет так, как тебе хочется и как нравится!

Гена. А можно? Тогда спасибо! *(Орудует у пульта.)* Значит, так... Так... И так!

Звонко поют трубы герольдов. И звучит песенка рыцарей.

Рыцари.

Труба нас собрала,
Позвала в седло.
Опустим забрало,
Закроем чело.
Ты слышишь, нас кличут,
Сзывая в поход,
Айвенго, и Ричард,
И сам Дон Кихот.
Лишь имя любимой
У нас на устах,
И чист голубиный
Наш рыцарский стяг.
Кто любит вернее,

К тем слава придет.
Сияй, Дульцинея!
Живи, Дон Кихот!

Первый рыцарь. Благородный сэр! Осмелюсь ли я просить вас принять мой вызов?

Второй рыцарь. О, это слишком большая честь для меня, благородный сеньор! Но я не смею огорчить вас отказом!

Первый. В таком случае, достопочтенный рыцарь Незакатной Луны, я предоставляю вам право первого удара!

Второй. Никоим образом, преславнейший рыцарь Розы Без Шипов! Соблаговолите напасть первым вы!

Второй. Нет, вы!..

В общем, стараются перелюбезничать друг друга – совсем как Манилов и Чичиков, уступающие один другому право первым пройти в дверь. Возможно, это сравнение пришло в голову и Гене: иначе с чего бы он сам выключил машину и прекратил эту сцену?

Профессор *(не без иронии)*. Ах, ты уже насладился зрелищем учтивости и благородства? Чудесно! А уж теперь, извини, будет не по-твоему. По-пушкински. И рыцари предстанут несколько иными...

Вновь появляется Франц.

Франц. Да разве это жизнь? Черт ее побери!.. Однако что это давеча сказал мне Бертольд? У герцога будет турнир... Ах, боже мой! там будет и Клотильда! Дамы обсядут кругом, трепеща за своих рыцарей, – трубы затрубят – выступят герольды – рыцари объедут поле, преклоняя копья перед балконом своих красавиц... – трубы опять затрубят – рыцари разъедутся – помчатся друг на друга... дамы ахнут... боже мой! – никогда не подыму я пыли на турнире, никогда герольды не возгласят моего имени, презренного мещанского имени, никогда Клотильда не ахнет...

Гена. Архип Архипыч, это же опять Франц! А рыцари где же?

Профессор. Не торопи событий. Будут. Все будет.

Франц. Деньги! Кабы знал отец, как рыцари презирают нас, несмотря на наши деньги...

Альбер. А, это Франц! На кого ты так раскричался?

Профессор. Ну, вот тебе и рыцарь. Альбер! Прошу любить и жаловать... Если, конечно, захочется.

Франц. Ах, сударь, вы меня слышали... я сам с собою

рассуждал...

Альбер. А о чем рассуждал ты сам с собою?

Франц. Я думал, как бы мне попасть на турнир.

Альбер. Ты хочешь попасть на турнир?

Франц. Точно так.

Альбер. Ничего нет легче.

Гена. Здорово! Молодец этот Альбер! Видите, Архип Архипыч, прямо как в сказке! Стоило Францу пожелать – и готово, как на тарелочке!

Профессор. Браво, Гена!.. То есть насколько сбудутся желания Франца, это еще поглядим и увидим, но вот слово «сказка» ты произнес удивительно к месту. В этой пушкинской пьесе в самом деле очень много похожего на сказку: и речь героев, и стремительность, с какой движется действие, и еще кое-что... Но давай-ка именно ей, стремительности, как раз и не будем мешать.

Альбер. Да, ничего нет легче: у меня умер мой конюший – хочешь ли на его место?

Франц. Как! Бедный ваш Яков умер? Отчего ж он умер?

Альбер. Ей-богу, не знаю – в пятницу он был здоровешенек; вечером воротился я поздно (я был в гостях у Ремона и порядочно подпил) – Яков сказал мне что-то... я рассердился и ударил его, – помнится, по щеке, а может быть, и в висок, – однако нет: точно по щеке; Яков повалился – да уж и не встал; я лег не раздевшись, а на другой день узнаю, что мой бедный Яков – умр*е*.

Гена *(озадаченно и неприязненно)*. Ничего себе!

Профессор (в *тон ему)*. Да, благородства и тем более учтивости здесь, кажется, действительно маловато!

Франц. Ай, рыцарь! Видно, пощечины ваши тяжелы.

Альбер. На мне была железная рукавица. Ну что же, хочешь быть моим конюшим?

Франц *(в нерешительности; у Пушкина сказано: «почесывается»)*. Вашим конюшим?

Альбер. Что ж ты почесываешься? Соглашайся. Я возьму тебя на турнир; ты будешь жить у меня в замке. Быть оруженосцем у такого рыцаря, как я, не шутка: ведь уж это ступень.

Франц. А вы не будете давать мне пощечин?

Альбер. Нет, нет, не бойся; а хоть и случится такой грех – что за беда? – не все ж конюшие убиты до смерти.

Франц. И то правда: коли случится такой грех – посмотрим, кто кого...

Альбер. Что? что ты говоришь, я тебя не понял?

Франц. Так, я думал сам про себя.

Альбер. Ну, что ж – соглашайся...

Франц. Извольте – согласен.

Альбер. Нечего было и думать. Достань-ка себе лошадь и приходи ко мне.

Архип Архипович выключает машину.

Гена. Да-а... Это вам действительно не Айвенго... И зачем только Франц согласился к нему пойти? Тем более вы говорили: он поэт. Гордый, значит.

Профессор. Ну, это-то как раз очень понятно. Во-первых, он стремится из своего мира, из своей среды, из сословия мещан – так тогда называли весь вообще городской люд, купцов, ремесленников... Это я на тот случай, чтоб ты не подумал, будто слово «мещанин» здесь ругательное... Стремится в узкий круг дворян, рыцарей. Во-вторых, как ты и сам мог бы догадаться по его словам, Франц влюблен в некую прекрасную Клотильду, а она – сестра Альбера. Но, в общем, твои сомнения оправдались. Ничего хорошего из этой службы не вышло. Франц не сдержался и однажды на хамство своего хозяина ответил дерзостью. Его, естественно, выгнали, он подговорил крестьян взбунтоваться против рыцарей, но бунт, увы, был подавлен, а самого Франца победители порешили казнить...

Гена (с *ужасом).* И казнили?

Профессор. Опять-таки не торопи событий. Лучше убедись своими глазами, какой поворот получился в судьбе Франца...

Опять «Сцены из рыцарских времен». Замок. Веселый, грубый шум пира. Крики, хохот.

Первый рыцарь. Ротенфельд! праздник ваш прекрасен; но ему чего-то недостает...

Второй рыцарь *(он-то и есть граф Ротенфельд).* Знаю, кипрского вина; что делать – все вышло на прошлой неделе.

Первый рыцарь. Нет, не кипрского вина; недостает песен миннезингера...

Ротенфельд. Правда, правда... *(Слугам.)* Нет ли в соседстве миннезингера; ступайте-ка в гостиницу...

Альбер. Да чего ж нам лучше? Ведь Франц еще не повешен – кликнуть его сюда...

Ротенфельд. В самом деле, кликнуть сюда Франца!

Первый рыцарь. Кто этот Франц?

Ротенфельд. Да тот самый негодяй, которого вы взяли сегодня в плен.

Первый рыцарь. Так он и миннезингер?

Альбер. О! все, что вам угодно. Вот он.

Ротенфельд. Франц! рыцари хотят послушать твоих песен, коли страх не отшиб у тебя памяти, а голос еще не пропал.

Франц. Чего мне бояться? Пожалуй, я вам спою песню моего сочинения. Голос мой не задрожит, и язык не отнялся.

Гена *(тихо, чтоб не услышали)*. Здорово держится, правда, Архип Архипыч?

Ротенфельд. Посмотрим, посмотрим. Ну начинай...

Франц.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
A. M. D. своею кровью
Начертал он на щите...

Гена (гак *же тихо)*. Архип Архипыч! Он тут на любовь к этой девушке... ну к Клотильде, намекает, верно? Видите, как она покраснела?

Профессор. Вероятно... Во всяком случае, в одном ты прав: уж она-то действительно приняла его слова на свой счет.

Первый рыцарь *(не скрывая разочарования)*. Славная песня; да она слишком заунывна. Нет ли чего повеселее?

Гена. Вот дураки! Такие стихи услышать и... Ведь это же Пушкин Францу свои собственные как бы подарил?

Профессор. Да, хотя и несколько переделал для этого свое знаменитое стихотворение о бедном рыцаре. Так сказать, подредактировал его, чтоб оно уместнее прозвучало в устах средневекового поэта – менестреля или миннезингера, как их

называли...

Ротенфельд. А все-таки я тебя повешу.

Первый рыцарь. Конечно, песня песнею, а веревка веревкою. Одно другому не мешает. *(Хохочет.)*

Клотильда *(решается наконец подать голос).* Господа рыцари! я имею просьбу до вас – обещайтесь не отказать.

Ротенфельд. Что изволите приказать?

Первый рыцарь. Мы готовы во всем повиноваться.

Клотильда. Нельзя ли помиловать этого бедного человека?.. он уже довольно наказан и раной и страхом виселицы.

Ротенфельд. Помиловать его!.. Да вы не знаете подлого народа. Если не пугнуть их порядком да пощадить их предводителя, то они завтра же взбунтуются опять.

Клотильда. Нет, я ручаюсь за Франца. Франц! Не правда ли, что если тебя помилуют, то уже более бунтовать не станешь?

Франц *(он «в чрезвычайном смущении», как говорит Пушкин; еще бы: перед ним выбор между жизнью и смертью, да еще к нему впервые участливо обращается дама, которую он любит).* Сударыня... Сударыня...

Первый рыцарь. Ну, Ротенфельд... что дама требует, в том рыцарь не может отказать. Надобно его помиловать.

Ротенфельд, конечно, попал в трудное положение. Франца он ненавидит: тот не только взбунтовал вассалов, но еще имеет наглость (а Ротенфельд вряд ли этого не замечает) быть влюбленным в красавицу Клотильду, которую граф сам прочит себе в жены. Да и Клотильда... Что, черт побери, значит ее нежданное заступничество за этого мастера сладостных песен?

Но просьба дамы для рыцаря в самом деле закон: не исполнишь, осудят, а то и накажут презрением. И Ротенфельд находит лазейку.

Ротенфельд. Так и быть: мы его не повесим...

Гена *(шепотом).* Ура!.. Я знал, что она его выручит!

Ротенфельд. ...Не повесим – но запрем его в тюрьму, и даю мое честное слово, что он до тех пор из нее не выйдет, пока стены замка моего не подымутся на воздух и не разлетятся...

Клотильда. Однако...

Ротенфельд. Сударыня, я дал честное слово.

Можно себе представить, с каким внутренним торжеством он это произносит: вывернулся! Честное слово рыцарю нарушить и вовсе неприлично, так что бедняга Франц ничего не выиграл.

Франц. Как, вечное заключение! Да по мне лучше умереть.

Ротенфельд. Твоего мнения не спрашивают – отведите его в башню...

Гена *(вот тут он не выдерживает и взрывается)*. Стойте! Это вы что же такое делаете? Отпустите человека! А еще рыцари называются...

Но не успевают эти средневековые люди оторопеть от ужаса и, может быть, принять Гену за призрак, как Архип Архипович отключает машину.

Эх! Зачем же вы? Я бы им...

Профессор. Что «ты бы им»? Может быть, разнес в пух и прах каменный замок?

Гена. Ну, хоть сказал бы все, что я о них думаю!

Профессор. Этим таких солдафонов не проймешь. А вообще-то не убивайся.

Гена. Почему? Жалко ведь Франца. Тем более – такой поэт!

Профессор. Я не говорю, что не жалко, но... Как там Ротенфельд поклялся?

Гена (с *ненавистью)*. Будет, говорит, до тех пор сидеть, пока стены моего замка на воздух не взлетят.

Профессор. Вот именно. А помнишь монаха Бертольда? Алхимика? Так вот он-то как раз и сумел сделать так, что стены замка поднялись в воздух и разлетелись в пух и прах.

Гена (с *большим сомнением)*. Это что же, как в сказке? Не понимаю.

Профессор. А мог бы понять. Но ты у нас, как видно, пороху не выдумаешь. В отличие от Бертольда.

Гена *(недовольно)*. Ладно вам! И при чем тут вообще Бертольд? Почему – в отличие?

Профессор. Потому, что именно он, если верить легенде, которую использовал и Пушкин, выдумал порох.

Гена. Постойте, постойте... А-а! Ну, конечно! Ведь порох-то, говорят, монах Бертольд Шварц изобрел! Бертольд! Значит, это он и есть?

Профессор. Разумеется! Так что на помощь Францу пришла вовсе не Клотильда, а он, Бертольд. Он, если помнишь, брал для своих опытов деньги у отца Франца, но тот умер, поэтому Бертольд считал себя уже должником сына. Вот он и... Но лучше послушай, что на этот счет задумывал сам Пушкин. Это план окончания его последней пьесы: «Брата Бертольда хватают и сажают в тюрьму»...

Гена. Значит, и его тоже?

Профессор. И его – рыцари церемониться не любят. Но «Бертольд в тюрьме занимается алхимией – он изобретает порох. – Бунт крестьян... Осада замка. Бертольд взрывает его. Рыцарь убит пулей...».

Гена. Это какой рыцарь? Ротенфельд?

Профессор. По-видимому, он, главный соперник и единственный тюремщик Франца. Но ты вслушайся вот в какое слово: «пулей». Понимаешь, пулей, которая наконец оказалась способна пробить рыцарские латы! Между прочим, в той сцене, где происходит крестьянский бунт под предводительством Франца, Пушкин словно нарочно исподволь подготавливает появление этой маленькой подробности и этого огромного исторического события. Крестьяне вовсю лупят рыцарей дубинами, секут их косами, те падают. Ну, думаешь, все, победа! Не тут-то было: как только появляется подкрепление, сраженные рыцари оказываются целехоньки, ибо что могут дубина и коса против железных лат! И тем более каменных стен? А тут пуля!.. Порох!..

Гена. Понятно... Значит, все точно как в настоящей истории произошло. Как на самом деле было. А я-то сказал, что стены только в сказке разлететься могли. Да, это я недодумал!

Профессор. Что ты! Напротив! Ты очень проницательно – и заметь, уже не в первый раз – вспомнил о сказке.

Гена *(недоверчиво)*. Шутите небось?

Профессор. Ничуть! Ведь именно в сказке бывает, что ее герой поможет кому-то в беде – человеку, серому волку или даже щуке, – а тот или та ему скажут: «Я тебе пригожусь!» И действительно окажутся благодарными должниками: помогут стать царем или на красной девице жениться. И в ней же, в сказке, какой-нибудь Кащей Бессмертный, случается, произнесет заклятие: дескать, никто не сможет проникнуть в мои владения, никто не разрушит моего замка и так далее, пока... Ну, словом, пока не свершится что-то невероятное и невообразимое, то, чего по здравой логике уж никак не может случиться...

Гена *(подхватывает понятливо)*. А это невероятное возьмет да и произойдет!

Профессор. Конечно... Да, Александр Сергеевич Пушкин написал – или, точнее, недописал, к сожалению, – произведение серьезное, мудрое. Он решал в своей пьесе чрезвычайно важные для себя вопросы: чести, независимости. Он размышлял и о том, какими путями идет человеческая цивилизация, способна ли наука – сама по себе – нести человеку счастье. Да что говорить! Он доверил своему герою Францу...

Гена. Стихи собственные! И еще какие!

Профессор. Да, и стихи. Но не только их. Он подарил Францу немало своих, личных мыслей и чувств, которые мучили его, пушкинский, мозг и раздирали его, пушкинскую, душу. И в то же время, как и ты заметил, в «Сценах из рыцарских времен» многое напоминает сказку, причем вовсе не по случайному совпадению. Пушкин вообще очень ценил это великое создание народа, сказку то есть. И учился у нее...

Гена. Да он и сам их писал!

Профессор. Разумеется, но я сейчас не о том. Не о «Сказке о мертвой царевне» и не о «Царе Салтане». Пушкин учился у народной сказки даже тогда, когда сочинял произведения, казалось бы, прямо, а то и совсем к ней не относящиеся. «Русалку», например, или вот – «Сцены из рыцарских времен». Учился свободному взгляду сказки, ее удивительному умению пренебречь подробностями быта, в которых может увязнуть мысль, и ухватить самую суть – человека, жизни, любви, счастья... *(Спохватившись.)* Впрочем, если уж заводить этот непростой разговор, то, как говорится, в другом месте и в других условиях: когда ты сам прочтешь наконец «Сцены из рыцарских времен». А сейчас заметь себе хотя бы вот что: оказывается, и сказка, этот вроде бы наичистейший вымысел, «ложь», как сказал сам Пушкин, способна преподать...

Гена *(не может удержаться, чтобы не выскочить с цитатой).* «Добрым молодцам урок».

Профессор. Да, урок. На этот раз – даже урок истории.

Д'АРТАНЬЯН ПРОТИВ НИКОЛАЯ ПЕРВОГО

Все-таки Архип Архипович наивный человек. Последние путешествия так его настроили, что он, наверное, думал, будто и Гена придет и прямо-таки потребует от него направиться непременно куда-нибудь... Ну, мало ли на свете серьезных книг? Но уж, во всяком случае, не по столь легкомысленному и накатанному маршруту.

Профессор. Что? Опять Александр Дюма? Не надоело? Неужели я недостаточно уступал твоим просьбам?

Достаточно или недостаточно, это уж решать Гене. Но что правда, то правда: даже самое первое их путешествие, называвшееся «Королевство Плаща и Шпаги», было в страну Дюма, да и потом они ее не забывали. Кто не верит, смотри книгу Ст. Рассадина и Б. Сарнова «В Стране Литературных Героев». Однако сейчас Архип Архипович сгоряча наговаривает на Гену: как же «надоело», если в книге, которую вы держите в руках, к Александру Дюма они не наведались ни единого раза?

Тем не менее...

Снова, значит, три мушкетера? Или граф Монте-Кристо? Или какая-нибудь там графиня де Монсоро? Или... *(Вдруг прерывает самого себя.)* Постой, постой! Минуточку... *(Ему явно что-то пришло в голову.)* Хорошо! Будет тебе Дюма! Если угодно, это даже счастливая мысль!

Гена. Вот видите! Всегда вы так: сперва ругаетесь, а потом...

Профессор. Ладно, ладно. Не ворчи. Считай, что я погорячился. Главное – не терять времени. В путь, Гена!

Гена. А куда?

Профессор. Разумеется, в Королевство Плаща и Шпаги. Куда же еще?

Гена. Это-то понятно. Но конкретно – куда? В какую книгу Дюма?

Профессор. Там увидишь...

Почему он сказал это так загадочно, пока остается непонятным ни нам, ни тем более Гене, который сразу же столкнулся в Королевстве Плаща и Шпаги со своими старинными знакомыми. Да и нам трудно их не узнать по одной только песенке, звучавшей еще в том, первом путешествии.

Мы крепко помним свою присягу.
Идем в сраженье, как на парад.
Назад ни шагу!
На плащ и шпагу
Пусть трусы с трепетом глядят!

Гена. Чего ж вы темнили, Архип Архипыч? Неужели думали, я их сразу не узнаю? Вот же они, все трое... то есть четверо.

Портос. Ба! Взгляните, д'Артаньян! Не будь я Портосом, это наши давние знакомцы! Тот ученый старик, чье варварское имя мне не выговорить даже после славного обеда с отменным бургундским, и задира мальчуган, с которым у нас когда-то чуть не вышло дуэли!

Представьте себе, было и такое.

Приветствую тебя на границе нашего Королевства, малыш! Я вижу, ты подрос с тех пор, как мы не видались. Может быть, поэтому у тебя вновь явилась охота помериться со мной силой? *(Гулко хохочет, как и должен хохотать этот силач и добряк, а его друзья подхватывают шутку и запевают новый куплет своей старой песенки.)*

Мушкетеры.

А коль найдется у вас отвага,
Мы спор решаем в один момент.
Держись, бедняга!
Нам служит шпага,

Как самый острый аргумент!

Д'Артаньян. Боюсь, Портос, нашим гостям не до шуток – даже таких изысканных, как ваши. Не так ли, сударь? Вы чем-то озабочены, и вид у вас таков, словно вы спешите за кем-то в погоню или, напротив, погоня спешит за вами. Уж не шпионы ли это кардинала? Если так, то клянусь святым для меня именем Констанции Бонасье, четыре лучшие шпаги Франции к вашим услугам!

Мушкетеры *(вместе)*. Все за одного, один за всех!

Профессор. Нет, нет, господин д'Артаньян! Благодарю вас. В защите мы не нуждаемся. Но вы правы: мы с моим юным другом действительно очень спешим. Спешим углубиться в ваше Королевство Плаща и Шпаги.

Гена *(просительно)*. А куда спешить-то, Архип Архипыч? Может, мы лучше тут, с ними побудем?

Профессор. Увы, это невозможно. Не забывай, что на все длинное путешествие, которое мы должны совершить, нам отпущено всего-навсего полчаса.

Д'Артаньян. Полчаса? На длинное путешествие? Признаюсь, даже я не успел бы за этот срок не то что доставить подвески королевы, но и...

Портос. Но и как следует пообедать! *(Хохочет.)*

Профессор. Что ж, тем более нам приходится торопиться. До свидания!

Он почти бежит, таща за собой Гену, – а насколько быстро, можно судить уже по тому, как стремительно отдаляется, становясь почти неслышной, песенка, которую продолжают распевать мушкетеры.

Мушкетеры.

Порой окутан весь мир туманом,
Но в нем светлеет, когда без виз
Идут по странам
За д'Артаньяном
Атос, Портос и Арамис.

И с этой песенкой, которая свидетельствует, что мушкетеры ощущают себя не только героями Дюма, но и гражданами Страны Литературных Героев, они, едва появившись в этой книге, навсегда

уходят из нее.

Гена *(он расстроен).* Ну вот! Наконец-то я опять с д'Артаньяном встретился, а вы...

Профессор. Да что это ты сегодня разворчался? Успокойся! Надеюсь, тебе не придется жалеть о расставании со своим любимцем. Лучше поживее поворачивайся, а то мы пропустим очень важное свидание.

Гена. Какое?

Профессор. Свидание одного гвардейца с одной прекрасной дамой.

Гена. Гвардейца кардинала?

Профессор. Н-нет. Скорее, гвардейца императора.

Гена. А это удобно, Архип Архипыч? Ну, то, что мы при этом свидании присутствовать будем? Мы же там, наверное, третьим лишним... даже третьим и четвертым окажемся!

Профессор. Хвалю за деликатность, но не волнуйся. При их свидании уже присутствовали миллионы и миллионы свидетелей. Потому что дом, то есть я хотел сказать – роман, куда мы спешим, издан огромными тиражами.

Гена. Да роман-то чей? Александра Дюма? Как обещали?

Профессор. Когда ж я тебя обманывал? Разыгрывал – это было, а чтоб обманывать... Всё! Успели! Теперь, как говорится, ни слова, о друг мой, ни вздоха! Все-таки это и в самом деле свидание...

Звук открываемой двери. Шаги... твердо ступают ботфорты мужчины, и шелестит длинное женское платье.

Граф. Входите, мадемуазель. И не тревожьтесь: здесь вас никто не побеспокоит.

Луиза. Благодарю вас, граф... Но боже! Что это? Вы меня обманули! Вы привезли меня в собственный дом! Это подло!

Граф. Простите меня, я не хотел упустить такой случай. В другой раз он уже не представится. Позвольте мне хоть раз в жизни сказать вам, что...

Луиза. Вы не скажете ни одного слова, граф! И сию же минуту велите отвезти меня домой. Иначе вы поступите как бесчестный человек!

Граф. Ради бога!..

Луиза. Нет, нет и нет!

Граф. Я хочу только сказать вам... Я вас так давно не видел, так давно не говорил с вами... Неужели моя любовь и мои просьбы...

Луиза. Я ничего не хочу слышать!

Граф. Вижу, что вы меня не любите и никогда не полюбите. Ваше письмо мне подало было надежду, но и она меня обманула. Я выслушал ваш приговор и подчинюсь ему. Я прошу только дать мне пять минут – и вы будете свободны.

Луиза. Вы даете слово, что через пять минут я буду свободна?

Граф. Клянусь вам! Клянусь вашим, самым святым для меня именем!

Гена *(тихо-тихо)*. Слышите, Архип Архипыч? Прямо как д'Артаньян выражается! И вообще...

Надо полагать, профессор толкнул его локтем или сделал какой-то иной знак. Так или иначе, Гена, поперхнувшись собственным словом, замолчал.

Луиза *(после колебания)*. Что ж... В таком случае – говорите.

Граф. Выслушайте меня, Луиза! Я богат. Я знатного происхождения. У меня мать, которая обожает меня. С раннего детства я был окружен людьми, которые были обязаны повиноваться мне. И, несмотря на это, я тяжко болен...

Луиза *(с участием)*. Вы больны, граф?

Граф. Да! Болен той болезнью, которою страдает большинство моих соотечественников в двадцать лет, – я утомлен жизнью. Я скучаю.

Луиза. И только?

Граф. Не смейтесь, Луиза! Эта болезнь – мой злой гений. Ни балы, ни празднества, ни удовольствия не сняли с моих глаз тот серый, тусклый налет, который заслоняет от меня жизнь. Я думал, что, быть может, война с ее приключениями и опасностями излечит мой дух, но теперь в Европе установился мир. И вдруг я встретил вас! То, что я почувствовал к вам, не было любовным капризом. Я написал вам, полагая, что достаточно этого письма, чтобы растопить ваше сердце. Но, против ожидания, вы мне не ответили. Я настаивал, ибо ваша холодность меня задевала, но вскоре убедился, что питаю к вам истинную, глубокую любовь. И оттого истинно, глубоко несчастлив!

Луиза. Бедный... *(Спохватилась.)* Но, может быть, граф, если даже вы не обманываете меня, то обманываете себя? И ваша страсть пронесется, как мгновенный порыв ветра?

Граф *(мрачно)*. Нет, Луиза. Ветер скоро преобразится в губительный ураган. Знайте! Как только я отчаялся вызвать в вашей душе ответную любовь, я случайно встретил старых

друзей. Они нашли меня мрачным, скучным и попытались развлечь. Но это им не удалось. Тогда они предложили мне вступить в тайное общество, направленное против императора.

Луиза *(в ужасе)*. Боже мой! Надеюсь, вы отказались?

Граф. Я вам писал, что мое решение будет зависеть от вашего ответа. Если бы вы любили меня, жизнь моя принадлежала бы не мне, а вам, и я не имел бы права распоряжаться ею. Когда же вы мне не ответили, доказав этим, что не любите меня, жизнь потеряла для меня всякий смысл. Заговор? Пусть. Это хотя бы послужит мне развлечением.

Луиза. А если он будет раскрыт?

Граф. Ну что ж... мы погибнем на эшафоте. Я часто думал о самоубийстве, в этом же случае все разрешится само собой: мне не придется накладывать на себя руки.

Луиза. Неужели вы говорите правду? Граф, вы сумасшедший! Или вы... герой?

Граф. Ни то ни другое, Луиза. Я просто скучающий человек. И я люблю вас!..

Архип Архипович и Гена уже оставили этот дом и шагают по городским улицам, а Гена все не может успокоиться.

Гена. Ну и ну! Ничего себе революционер! Заговорщик! В тайное общество только из-за любви да со скуки вступил! Я бы лично такого ни за что не принял. И вот им-то, Архип Архипыч, вы мне д'Артаньяна заменить хотели?

Профессор. Нет, ничего подобного я не хотел и не обещал. А впрочем... Ну, вот скажи, положа руку на сердце: разве между ними нет ничего общего? Разве и д'Артаньян решительно вмешивается в политическую борьбу своей страны и своего времени не из любви к мадам Бонасье?

Гена. Ну и пусть! Зато д'Артаньян, он... он... прямо как пружина! Как сталь! Он...

Профессор. Очень красноречиво!

Гена. Ладно вам смеяться! А про этого даже и не поймешь, кто он. Не то и правда что-то вроде д'Артаньяна, не то какой-то Евгений Онегин скучающий... Интересно, а где все это происходит? В какой книге? И в какой стране? Я что-то не понял.

Профессор. В какой стране? А ты оглянись вокруг. Посмотри на площадь, по которой мы идем.

Гена *(потрясен неожиданностью)*. Это что ж такое, Архип Архипыч? Где это мы? В Ленинграде, что ли?

Профессор. Почему ты так решил?

Гена. Как – почему? Опять смеетесь? А это что, по-вашему, не

Медный всадник? Точно, Ленинград!.. Только в нем что-то такое... странное. Не хватает чего-то.

Профессор. Может быть, троллейбусов или автобусов?

Гена. Ну да! Верно! Значит, это не Ленинград, а пока еще Петербург, да?

Профессор. Выражаясь торжественнее, Санкт-Петербург.

Гена. Ясно. Значит, давно было дело... И все равно я не понимаю! Это... что ж, и есть то длинное путешествие, про которое вы говорили? Это у вас и называется: углубиться? А главное, при чем тут Королевство Плаща и Шпаги? При чем тут Дюма?.. Эх, Архип Архипыч! Разыграли меня, да? Пообещали и обманули? И теперь радуетесь?

Профессор *(смеется)*. Я не радуюсь, Геночка. Меня просто рассмешил твой обличительный тон. Видишь ли, когда я произнес слово «углубиться», я меньше всего имел в виду географическое расстояние. А что касается Плаща и Шпаги, то уверяю тебя, мы действительно в романе Александра Дюма «Учитель фехтования». Только действие его на сей раз происходит в Санкт-Петербурге. В 1825 году.

Гена. Когда, значит, декабристы восстали?

Профессор. Именно! И речь в романе как раз об этом восстании.

Гена. Не может быть!

Профессор. Но почему же?

Гена. Потому, что когда Дюма историю описывает, ему всегда веришь. Я, например, эту самую Францию, которая в «Трех мушкетерах», прямо так и вижу. Людовик, кардинал Ришелье – они же как живые! А тут? Вы ж сами слышали, как тут вступление в тайное общество изображено. Просто смех! Кто в это поверит?

Профессор. Ну, положим, тот, кто знаком с *настоящей* историей Франции, тот и автору «Трех мушкетеров» не поверит так уж безоговорочно. А уж русскую-то историю Дюма и вовсе знал, скажем мягко, не досконально, что тебе и бросилось в глаза. Хотя, между прочим, в тех персонажах, которых ты только что видел и слышал, он изобразил или пытался изобразить самых что ни на есть реальных людей.

Гена. Вы серьезно? Каких?

Профессор. Во-первых, подлинный прототип был у этого скучающего графа, который в романе носит фамилию Ваненков...

Гена. Ну и фамилия!

Профессор. Да, для русского, уха она звучит диковато – не зря советские переводчики вернули герою фамилию Анненков.

Гена. Что значит – вернули?

Профессор. Да я же тебе сказал: в основу истории этого

самого графа положена судьба декабриста Ивана Александровича Анненкова. Правда, он-то никаким графом не был, да и вообще многое выглядело совсем иначе. Скажем, любвеобильная мамаша, которая, по словам героя Дюма, его прямо-таки обожала, на деле была знаменитой московской самодуркой, к тому же вполне равнодушной и к делу и к трагической участи своего сына. Главное же, ты прав: настоящий Анненков вступил в общество декабристов, уж конечно, не из любви или скуки. Он отличался умом, образованностью, истинной глубиной своих воззрений, и, как писал о нем один современник, «то был достойнейший в нравственном и умственном отношении представитель блестящего общества гвардейских офицеров».

Гена. А эта… Луиза? Она что, тоже была?

Профессор. Ты хочешь спросить: тоже имела реальный прототип? О да! Дюма изобразил в ней свою соотечественницу, модистку-француженку Полину Гебль, возлюбленную Анненкова, которая, подобно Волконской, Трубецкой, Фонвизиной и другим декабристкам, поехала за ним в Сибирь и там стала его женой. Верной, мужественной, можно сказать – героической!

Гена. Выходит, Дюма все выдумал?

Профессор. Ну, зачем же так? Ведь роман «Учитель фехтования» рассказывает как раз о том, как Полина Гебль… виноват, Луиза Дюпюи поехала за своим любимым, сосланным на каторгу, и разделила его судьбу. Да и что значит: выдумал? Ты это произнес так, словно вынес обвинительный приговор. Выдумка – это законное право писателя, и речь должна идти не о том, что он, дескать, что-то там выдумал или додумал, а *как* выдумал. *Что именно* домыслил. И вот с этой точки зрения я могу сказать о романе «Учитель фехтования»: да, по-моему, в жизни, в истории все было не только сложнее, серьезнее, значительнее – это понятно! – но увлекательнее. Чудеснее… Помнишь, у Пушкина, во вступлении к «Руслану и Людмиле»: «Там чудеса…»

Гена *(подхватывает)*. «Там леший бродит, русалка на ветвях сидит…».

Профессор. Так вот, на сей раз можно сказать: «Здесь чудеса». Не там, а здесь!

Гена *(недоверчиво)*. Ну уж… Как-то не верится… Чтоб увлекательнее, чем у Дюма?

Профессор. Да! Увлекательнее, чем у некоронованного короля увлекательных сюжетов. И собственно, чему удивляться? Не ты ли первый заметил, что вступление в тайное общество – поступок, перевернувший всю жизнь Анненкова, – в романе выглядит, если даже опять-таки выразиться с предельной мягкостью… ну, несколько упрощенно? А разве упрощенность,

наивность, схематизм могут быть интереснее полноты и многообразия, которые присуши самой жизни? Только представь себе, что вместо простенькой любовной интриги Дюма взялся бы рассказать о самом обществе декабристов, действительно *тайном,* полном таких загадок и превратностей судьбы, каких никакому романисту не сочинить. Да и с Полиной Гебль то же самое. Не знаю, как у кого, а у меня особое уважение… да что я говорю! особый интерес вызывает не та интрига между неприступной красавицей и скучающим гвардейцем, но подлинная история этой удивительной женщины. Вообрази! Французская дворянка из старинного рода, обеднев, становится модисткой, можно сказать, простой работницей. Едет в Россию в надежде избавиться от бедности. Встречает Анненкова. Влюбляется, но отказывается стать его женой…

Гена. Отказывается? Значит, все-таки как у Дюма?

Профессор. Пожалуй, но по причине самой суровой и прозаической: Полина знает, что без благословения старухи самодурки счастью их не бывать. Но дальше! Без колебания устремляется за Анненковым, едва он попадает в беду, едет, вырвав разрешение у царя Николая. Становится женой, подругой, нянькой мужа, человека, ох, какого непростого и нелегкого. Поддерживает и спасает его. Рожает ему восемнадцать раз…

Гена *(даже охнул).* Восемнадцать?

Профессор. Да, хотя, конечно, в то время, да еще в тех условиях далеко не все дети могли выжить. Стойко, даже, представь себе, весело переносит все тяготы, отчего многие декабристы воспринимали Полину Гебль, вернее, теперь уже Прасковью Егоровну Анненкову, как она стала зваться в замужестве, драгоценным лучиком света и надежды…

Гена *(на него, судя по всему, патетический монолог Архипа Архиповича произвел-таки впечатление).* Да-а… Если про такую женщину всю правду написать, наверное, действительно здорово бы вышло!

Профессор. Я думаю! Впрочем, она сама оставила замечательные воспоминания. Очень советую прочитать.

Гена. Теперь-то уж прочту!.. А знаете, Архип Архипыч, что мне сейчас в голову пришло? Вот если представить, будто Анненков с Полиной могли прочесть, как про них Дюма написал, – интересно, что бы они сказали?

Профессор. Да, интересно. Только и представлять незачем. Потому что роман «Учитель фехтования», вышедший в свет в 1840 году, попал и в Россию. Правда, император Николай запретил его читать, но с запретом считались далеко не все. Он, как это обычно и бывает, даже подогревал интерес к книге. В

конце концов ее прочли и супруги Анненковы.

Гена. И обиделись? Или им все-таки приятно было, что такой знаменитый писатель их на весь свет прославил?

Профессор. Ну, на этот счет есть свидетельство самого Дюма. В 1858 году – обрати внимание, только после смерти императора Николая, который не простил ему как раз романа о декабристах, – Дюма совершал путешествие по России. И в Нижнем Новгороде встретил Ивана Александровича и Прасковью Егоровну, к тому времени вернувшихся из ссылки.

Гена *(жадно)*. И что?

Профессор. Дюма уверял, что они просто кинулись ему в объятия.

Гена. Ага! Значит, все-таки им приятно было!

Профессор. Как тебе сказать... Сама-то Прасковья Егоровна говорит другое. В своих воспоминаниях она не раз иронически и даже сердито поминает роман Дюма. А кроме того, сохранилось письмо Ивана Ивановича Пущина, и он там сообщает, что Анненкова непременно хочет писать письмо в Париж своей матери, дабы в тамошнем журнале был напечатан ответ, точнее сказать, отпор вымыслам Дюма.

Гена. Понятно. Значит, Дюма и про встречу в Нижнем Новгороде все придумал?

Профессор. Почему же? Необязательно. Я думаю, просто преувеличил. К тому же Анненковы были воспитанные люди, а Дюма – гость России. И наконец, разве в романе «Учитель фехтования» не было искреннего сочувствия декабристам?

Гена. Погодите, Архип Архипыч! Запутали вы меня! В конце-то концов: хорошо Дюма сделал, что этот роман написал, или нет?

Профессор. Боюсь, дружок, это ты сам запутался, а я тут ни при чем. Я твержу все время одно и то же или по крайней мере не изменяю себе. Да, изучать историю – тем более русскую историю – по романам Дюма наивно. Просто глупо. Но как же забыть о благородстве автора? О его живом интересе к трагическому и прекраснейшему событию русской истории? Да и о том, что не зря же его роман вызвал гнев главного врага декабристов, который не простил Дюма как раз того, что он отдал свое сочувствие поверженным и попавшим в беду?..

Гена *(вдруг и, может быть, даже неожиданно для самого себя)*. «И милость к падшим призывал»...

Профессор *(удивился и обрадовался)*. Вот! В самую точку! Молодец, Геночка! Ибо, что бы мы с тобой ни говорили о литературе и литераторах, в какие бы дебри их и нашей Страны ни забирались, именно это – больше многого иного и, возможно,

вообще прежде всего – составляет драгоценное и необходимое свойство настоящего искусства...

НЕ НАДОЕЛ ЛИ ВАМ ЭТОТ ПРОФЕССОР? Послесловие для детей

Ах, надоел?

И даже очень?

Зануда, говорите?

Тогда смиренно прошу прощения.

Хотя, если подумать, раз уж вы дочитали книгу до конца (отпереться вам трудновато: вы вот уже и послесловие читаете), может быть, все не так страшно?

Так или иначе попробуем извинить существование профессора тем, что кто иначе согласился бы брать с собой в путешествия Гену? Тут ведь терпение нужно: Гена у нас, согласитесь, не сахар. Кого угодно своими вопросами замучит. А уж по части воспитанности... В общем, что и говорить!

Поэтому если я прощаюсь и с чувством вины, то не очень большой.

Ваш Станислав Рассадин

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЭТОТ ГЕНА?
Послесловие для взрослых

Готовя книгу к печати, я заметил: речь героев что-то уж больно пестрит восклицательными знаками. И еще многоточиями.

Переизбыток – он и в мелочах переизбыток. Излишество. Я попробовал пройтись по рукописи, заменяя эмоциональность этих знаков скромным достоинством точек. Почему-то не получилось. Ни взбудораженный восклицательный, ни многоточие, знак незаконченности и недоговоренности, не хотели повиноваться моей властительной руке.

Почему?

Я пригляделся и понял: потому что герои, в первую голову, конечно, профессор и Гена... ну, если и не кричат друг на друга (со стороны Архипа Архиповича это было бы, простите за каламбур, архинепедагогично, а со стороны Гены – просто нахальством), то разговаривают в повышенном тоне. Горячатся. И часто перебивают один другого, опять-таки не из высокомерия одного или невежливости другого, а оттого, что торопятся высказать каждый свое мнение и на ходу угадать мнение собеседника, вернее, соспорщика. К обстоятельным монологам у обоих нет ни охоты, ни почтения – разве только Архип Архипович согрешит иной раз, но с него что возьмешь? Профессорская привычка...

Как известно, диалоги – древнейший род философических и критических размышлений; они были приняты как удобнейший способ высказывания разных мнений, хотя на самом-то деле обычно одного, господствующего, авторского, которое, в лоб встречая другие, подсобные, сторонние, победно разбивало их и утверждалось за счет разбитых.

Этому ли классическому примеру пробовал следовать здесь и я?

Нет.

Конечно, та истина или истины, которые разделяю я сам, вложены в основном в уста профессора, но я бы ни за что не решился признать его единолично ведущим персонажем радиопьес. Во всяком случае, надеюсь, что это не так.

Ничего не поделаешь, по правилам игры Гене суждено исполнять роль Незнайки; его форма участия в ней – незнание и высказывание опрометчивых предположений. Но Гена *не знает* как раз того, что, мне кажется, совершенно необходимо знать.

Иногда даже в первую очередь.

Самуил Яковлевич Маршак когда-то сердито и печально заметил следующее. Ребенок приходит в школу, заранее снаряженный самыми разнообразными вопросами, ответа на которые жаждет всей жадной незаполненностью своего опыта. И школа отвечает. Отвечает на то и на это – только не на его незаданные и незакрытые вопросы.

Мне хотелось, чтобы Архип Архипович оказался в положении более естественном и более трудном, чем те, кто начинает отвечать, не выслушав вопроса и даже не заинтересовавшись, есть ли он вообще.

Получилось ли это – другой, вечный вопрос (тоже вопрос!), связанный с неспособностью и нежеланием любого нормального автора ставить себе оценки, но, как бы то ни было, Гена, такой, каков он есть, нужен своему победоносному собеседнику для того, чтобы тому не скучно было побеждать.

Он не может, не должен «умнеть» от путешествия к путешествию – точно так же, как удивительным образом ухитрился не повзрослеть за те два десятилетия, на протяжении которых выходит в эфир. Сколько ни внушай ему интересных и полезных сведений, сам он не станет «профессором», как называют в ребячьих компаниях невыносимо умных мальчиков (называют далеко не всегда с уважением и уж тем более с симпатией). Да и стали бы вы читать диалог двух профессоров – профессоров не только по уровню осведомленности, но и по характеру? «Позвольте, уважаемый коллега, высказать то неоспоримое суждение...». – «Совершенно согласен с вами, коллега, и более того...».

Не стали бы. Не смогли. В данном случае хотя бы и потому, что я этого писать не захотел бы.

(Замечая в сторону, а возможно, и не совсем в сторону, ведь и Незнайка пришелся к слову не зря, хоть и ненароком. Именно он, а не многомудрый и сверхправильный Знайка – истинный герой трилогии Николая Носова, и не именно ли потому, что *не знает!* Он – ребенок в своем наиболее последовательном воплощении, как и – еще одна аналогия – житковский Алеша Почемучка.)

Гена терпит поражение в финале каждого путешествия, но в начале следующего опять является непобежденным. Пусть даже эта непобежденность – отвага незнания, не боящегося признаться, что оно незнание. Или упрямая готовность ошибаться.

Он не побежден и в самом конце книги, когда, казалось бы, напичканный множеством сведений, которыми его, как младенца, с ложки норовит кормить профессор, приходит и требует встречи не с кем-нибудь, а с героями легкомысленного и великолепного

Александра Дюма. И Архип Архипович, сперва приходящий в благородное негодование и в священный ужас, пусть по-своему, хитроумно, полуобманно, но соглашается с ним, уступает ему, и если они добиваются какого-то результата в этом путешествии, то сообща.

Как и во всех их путешествиях, которые вошли сюда в считанном количестве, которые вообще когда-нибудь оборвутся, перестав идти и на радио, – именно оборвутся, потому что подытоживающего финала, абсолютной точки тут быть не может.

Между прочим, я предполагаю, что и вышеупомянутые многоточия в разговорах героев так обильны именно поэтому. Сколько ни говори, договорить все равно не удастся. Путешествия в Страну Литературных Героев поистине не имеют конца. Разговор, в который только вступи, окончить не сумеешь за всю свою жизнь.